

БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ СТРАН

ГЕНРИ В. МОРТОН

ОТ КАИРА ДО СТАМБУЛА

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ

ГЕНРИ
В. МОРТОН

ОТ КАИРА ДО СТАМБУЛА
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ



Annotation

На Ближнем Востоке Генри В. Мортону доводилось бывать неоднократно. И именно он — проницательный наблюдатель, прирожденный и неизменно доброжелательный рассказчик — открыл тем, кто никогда не бывал в этих краях, ничуть не поблекшую в веках красоту Египта, суровое очарование берегов Мертвого моря, выжженные солнцем просторы Малой Азии и буйство красок на берегах Босфора... Повторяя пути библейских апостолов, он исколесил Израиль и Палестину, побывал в Сирии и Иордании, своими глазами видел ливанские кедры и саронские лилии — словом, воочию наблюдал жизнь на долгой дороге от Каира до Стамбула.

- [Генри В. Мортон](#)
 -
 -
 - [Введение](#)
 - [ЕГИПЕТ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [ПАЛЕСТИНА](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)

- [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
- [ИРАК](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
- [ТУРЦИЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
- [ГРЕЦИЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
- [Иллюстрации](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)

- [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
-

Генри В. Мортон

От Каира до Стамбула

Путешествие по Ближнему Востоку

Известный журналист, прославившийся репортажами о раскопках гробницы Тутанхамона, Мортон много путешествовал по миру и из каждой поездки возвращался с материалами и наблюдениями, ложившимися в основу новой книги. Репортерская наблюдательность вкупе с культурным багажом, полученным благодаря безупречному классическому образованию, отменным чувством стиля и отточенным слогом, — вот те особенности произведений Мортонa, которые принесли им заслуженную популярность у читателей и сделали их автора признанным классиком travel writing-литературы о путешествиях.

Книга «От Каира до Стамбула. Путешествие по Ближнему Востоку» станет верным спутником или спутницей, гарантией ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Ни

*самый квалифицированный гид, ни
самый подробный путеводитель не
сделают для вас большего.*



*Путь был нелегок, долог и лежал
Через владенья всех владык
Востока.
Но не одним лишь золотом богат
Восток.
Богат он и гостеприимством...*

Т. Мур. Лалла Рук^{[\[1\]](#)}



Введение

Самые интересные письма, полученные мною с начала этой войны, были от солдат, которые служат в наших войсках на Среднем Востоке. Корреспонденты сообщают мне, что в минуты досуга они обращаются к моим книгам о Ближнем и Среднем Востоке, и я рад был узнать, что мои сочинения стимулировали их интерес к истории и местным обычаям. Однако многие авторы писем горько сетуют на то, что книги слишком громоздкие, и настойчиво просят переиздать их на тонкой бумаге, — чтобы можно было носить их в ранце. Вероятно, в военное время такая роскошь непозволительна.

Тем не менее я постарался, как мог, решить эту проблему, выбрав из трех книг главы, дающие представление о моих путешествиях по Египту, Палестине, Ираку, Турции и Греции, и составив из них книгу. И это больше, чем могла бы нам дать самая тонкая бумага. Таким образом в «Ближнем Востоке» вы найдете отрывки из книг «От Иерусалима до Рима. По следам святого Павла» и «Святая Земля. Путешествие по библейским местам», а также впервые публикуемые впечатления о героической и прекрасной Греции и о древней столице Турции Стамбуле.

Я воспользовался случаем, чтобы переработать и переписать значительную часть текста, прежде чем включить его в эту книгу.

Г. В. Мортон

Апрель 1941 г.

ЕГИПЕТ

Глава первая Мерса Матру

По дороге из Александрии в оазис Сива я останавливаюсь в местечке Мерса Матру, готовлюсь к путешествию по пустыне и знакомлюсь с ловцами губок.



1

Теплым весенним утром я ехал в поезде, который следовал по Западной пустыне Египта в город под названием Мерса Матру. Сезон дождей уже кончился, но участки пути, которые раз в год размывает, починили так недавно, что наш локомотив продвигался очень осторожно, со скоростью не выше двадцати миль в час.

Я был единственным европейцем в поезде, и мои попутчики предпочитали сидеть на полу, а не на сидениях в купе. Они галдели и свистели, поезд время

от времени останавливался на какой-нибудь убогой станции, и крестьяне с объемным багажом — покупками, сделанными в Александрии, — выходили и отправлялись через пустыню к невзрачным маленьким деревушкам, построенным из ржавых жестянок из-под керосина.

Отъехав около двадцати миль от Александрии, полупустой поезд следовал дальше как будто уже по территории другого государства. Немногочисленные станции становились все беднее и бесцветнее, и уже не феллахи, а берберы, потомки древних жителей Ливии, выходили бросить скорбный взгляд на проходящий поезд. Вместо тарбуша и галабии, принятых у египтян, эти люди носят маленькие синие фески с красными кисточками и белую одежду под названием джурд, с большим достоинством забрасывая один ее конец на плечо, как римляне край своей тоги.

Пейзаж становился все более однообразным, и лишь присущее мне любопытство удерживало от того, чтобы закрыть ставни из планок, которыми снабжены окна в египетских железнодорожных вагонах. Коричневая пыль, мелкая как тальк, проникает в любую щель, она пробралась даже в мой пакет с бутербродами. Взгляду не за что зацепиться — каменистая, невыразительная, дикая местность, не обещающая даже скучного антисептического уединения.

Египет, размышлял я, самая удобная для осмотра достопримечательностей страна, пока ты в долине Нила, которая словно нарочно устроена Природой и Томасом Куком для того, чтобы состоятельным и любознательным легко было добраться до определенных, хорошо обустроенных развалин. Только и требуется, что сесть на пароход, курсирующий по Нилу до Луксора или Асуана, и не заснуть, когда древние цивилизации, сменяя друг друга через приблизительно равные промежутки времени, поплывут мимо. Но путешественник, который не желает довольствоваться

маршрутом, намеченным еще в «Географии» Страбона, и захочет свернуть с наезженной колеи, тут же столкнется с рядом трудностей; и не последней из них будет недоумение египетского чиновника, не способного взять в толк, как это человек в здравом уме может предпочесть скитания по выжженной пустыне прогулке по Нилу в комфортабельном плавучем отеле. Однако к чести египетского чиновника надо сказать, что, встретив человека, утвердившегося в своем намерении избежать комфорта, хоть чиновная гордость и уязвлена, он, безнадежно пожав плечами, отпустит безумца в пустыню, вверив его заботам администраторов на местах, которые уж точно сумеют продемонстрировать путешественнику, что египетские пустыни содержатся в образцовом порядке. И это действительно так.

Когда я выразил желание посетить оазис Сива, мое решение произвело на соответствующий департамент такое же впечатление, как если бы в отеле «Риц» постоялец раздраженно оттолкнул от себя изысканное меню и велел принести тарелку улиток или заливного угря. Притом что есть долина Нила с ее великолепными сокровищами и в ней все как нельзя лучше приспособлено для приема туристов, находится некто с извращенным вкусом, которому подавай оазис в глуши, куда всякий разумный человек счел бы за благо не соваться. Тем не менее для меня составили программу. Мне предстояло отметить в Мерса Матру, в двухстах милях к западу от Александрии, откуда губернатор Западной пустыни отправит меня патрульной машиной на юг, в оазис. Такой план вполне меня устроил. День медленно тянулся, пустыня раскалялась, я лежал и повторял себе, что все это не сон и я действительно еду в одно из самых таинственных и романтических мест в мире.

Оазис Сива был знаменит за несколько веков до Рождества Христова как местопребывание оракула

Юпитера-Амона. Далекое, загадочное, скрытое в густой пальмовой роще, окруженное милями и милями раскаленного песка святилище притягивало к себе одиноких паломников и целые делегации желавших узнать будущее.

Потом, после 20 года н. э., когда римский историк Диодор Сикул описал этот оазис, Сива исчезает из истории примерно на семнадцать веков, пока в 1792 году туда не отправляется, переодевшись арабом, англичанин Уильям Джордж Браун. Он был первым европейцем с римских времен, который воочию увидел Амониум. Браун вынужден был прервать свое пребывание в оазисе, когда местные жители, разгадав его маскарад, вознамерились убить его. Но он нанес точные контуры оазиса Сива на карту. Древность места, его непростая история, труднодоступность, опасность, исходящая от диких и фанатичных туземцев таят особое очарование для немногочисленных смельчаков.

С 1792 по 1914-1918 годы в Сиве побывало не более двадцати европейцев, и скучать им не приходилось, а некоторые были вынуждены спасаться бегством. Кое-кому удавалось забаррикадироваться в глинобитных домах и выдерживать осаду, иногда длившуюся месяцами, пока из Каира не подойдет отряд турецких войск. Странно, что во время Первой мировой войны укрощать Сиву выпало Великобритании. В то время здесь жили сенусситы, суровая секта магометан, основанная столетие назад Мохаммедом бен Али эль-Сенусси, ведущим свой род от самого Пророка. К началу войны численность секты, возглавляемой потомком основателя, именовавшим себя Великий Сенусси, достигала миллиона, но общины были разбросаны по отдаленным ливийским оазисам — Сива, Кофра и Джарабуб — и весьма разобщены.

Члены секты доставили много неприятностей Италии, воспротивившись ее попытке колонизации

Триполи, из которого Турция в 1912 году эвакуировала свое население. Естественно, Германия сильно рассчитывала на них, готовя операцию «Буря в пустыне», которая в случае успешного исхода вымела бы нас из Египта. Поэтому немецкая агентура, работая с сенусситами, настраивала сектантов против наших союзников-итальянцев, а немецкие офицеры, не желая встречаться с итальянским флотом, прибывали сюда на субмаринах из Константинополя. Сенусситы не заставили себя долго ждать.

Планировалось пройти вплотную к Египту узкой прибрежной полосой Западной пустыни к дельте, а затем, через оазисы — Сиву, Бахарию, Фарафру и Харгу — выйти в долину Нила. Англичане вывели население из Соллума и Сиди Баррани и обосновались своим небольшим смешанным военным контингентом, состоявшим из конницы, территориальных войск, австралийцев, новозеландцев, индийцев и египтян, в Мерса Матру. Мы одержали убедительную победу под Рождество 1915 года.

Сенусситы, возглавляемые способным, германской выучки турецким офицером Джафаром Пашой, полагали, что в Рождество британцы будут праздновать и пить в Мерса Матру, и потому его ничего не стоит захватить. Доподлинно известно, что в гарнизоне в то Рождество не было даже бутылки пива и никто и не думал праздновать. Накануне Рождества британские войска скрытно вышли из Мерса Матру и, под прикрытием самолетов — это было нечто совершенно новое в военных действиях в пустыне — и артиллерии военных кораблей, разгромили лагерь сенусситов. К сожалению, достигнутый успех не удалось закрепить из-за недостатка живой силы, транспорта, а также дождей.

Только в феврале мы смогли одержать еще одну победу в столкновении неподалеку от Сиди Баррани. Дорсетский конный полк предпринял стремительную

атаку, и Джафар Паша был захвачен в плен. С этого момента история кампании становится историей отступления секты сенусситов из оазиса в оазис. Они оставляли после себя граммофоны, будильники, никелированные кровати, женщин из своих гаремов. В последующие месяцы немногочисленные обитатели Ливийской пустыни, которые в ту войну впервые увидели пикирующий бомбардировщик, с ужасом наблюдали использование мотомеханизированных войск в военных действиях. Бронемашины вселяли ужас в сердца врагов. После выдающегося марш-броска длиной в двести миль через пустыню бронемашины захватили Сиву и закончили войну. Сенусситы бежали в Константинополь, в изгнание.

С тех пор Сива больше не бунтовала против египетского правительства, а сделалась более-менее законопослушной частью провинции Западная пустыня.

Весь долгий знойный день поезд постепенно избавлялся от пассажиров, высаживая их в маленьких пустынных деревушках, и, уже полупустой, шел дальше по пескам. Когда сгустились сумерки, мне стало казаться, что я один путешествую в безлунной звездной ночи. За сотни миль от Средиземного моря все равно чувствовалось его прохладное свежее дыхание. Я ощущал запах моря. И наконец, низкий, скорбный, и в то же время торжественный победный свисток известил о том, что мы прибыли на конечную железнодорожную станцию Мерса Матру.

2

Я вышел в темноту маленькой станции. От неопрятной толпы арабов и берберов отделилась ладная фигурка суданского солдата. Он вытянулся по стойке

смирно и отдал честь. Итак, часы, проведенные мною в приемных каирских чиновников, бесконечные собеседования, которые, казалось, не принесут мне ничего, кроме разочарования, к моему удивлению, дали свои плоды. Солдат взял у меня багаж, посадил меня в автомобиль военного образца, и скоро мы уже тряслись по песчаной дороге. Мой водитель сказал, что едем в «отель», и я сразу стал предполагать самое худшее.

Я повидал гостиницы в сирийской, турецкой и греческой глубинке и думал, что ни один «отель» меня больше не удивит. Однако, когда мы остановились около белого здания, торчавшего из песка у моря, я все же удивился: как будто этот отель перенесли откуда-нибудь с юга Франции и поставили на краю Ливийской пустыни. И кто-то понимающий дал ему название «Лидо».

Войдя, я обнаружил, что постояльцев нет, однако за стойкой торчал египтянин в белой куртке, а официант курсировал по обеденному залу, уставленному столами с белоснежными скатертями. Мне отвели комнату наверху, с маленьким балконом, выходящим на бухту. В номере имелась ванная. На краны я поначалу смотрел с недоверием, но, к моему удивлению, из них потекли тонкие струйки воды. Имелось электричество — я слышал жужжание двигателя, который его вырабатывал.

Всегда очень трогательно обнаружить бледный, но тем более выразительный европейский штрих на скучной глади пустыни. Трудно себе даже представить, как этот «Лидо» занесло в Мерса Матру. Позже я узнал, что летом его посещают богатые греки, ища здесь отдыха от Александрийского зноя. А когда сезон кончался, это заведение начинало напоминать Страну Чудес, куда попала Алиса, настолько все это было неправдоподобно.

Вечером, сидя в холле, я узнал, что отель вовсе не пустует: есть еще два гостя, оба англичане. Один из них оказался энергичным пожилым мужчиной со слуховой трубкой. Его спутник приближал свой рот к раструбу этого приспособления и кричал что было мочи. Если сообщение не интересовало глухого, он просто отнимал инструмент от уха и тем самым прекращал общение — окончательно и бесповоротно.

Так как их переговоры было слышно в любом месте гостиницы, я, не подслушивая нарочно, узнал, что оба они геологи и участвуют в правительственных изысканиях, связанных с водоснабжением Ливийской пустыни. Поскольку войска Муссолини находились совсем рядом с Триполи, в Египте с периода санкций и нападения на Абиссинию говорили об угрозе войны и возможной попытке итальянцев пройти по Египту через пустыню. Мерса Матру был военным стратегическим пунктом еще во время кампании против сенусситов. В Каире я встречал людей, встревоженных тем, что они называли итальянской «угрозой» Египту, и рад был обнаружить в этом одиноком аванпосте двух опытных геологов, занятых решением столь важной задачи. Я удивился еще больше, когда дверь открылась и вошли четверо мужчин в шортах цвета хаки — летчики Королевских ВВС. Перед обедом военные, геологи и я разговорились, и от одного из летчиков я узнал, что они покинули Каир сегодня днем, переночуют в Мерса Матру, а завтра к вечеру полетят в Сиву.

За обедом офицеры уверяли, что этот забытый богом Мерса Матру может стать пунктом огромной стратегической важности, если «дадут сигнал к началу». Мне было очень невесело обсуждать подобную возможность в 1937 году, ведь последняя война закончилась так недавно.

Командир авиационного крыла был интересным человеком. Он участвовал в боевых действиях, а потом

служил в Индии. Этот офицер рассказал мне, как его в свое время потрясло, что Лоуренс Аравийский и авиамеханик Шоу — одно и то же лицо. Шоу решительно отказывался от любых привилегий, даже самых незначительных, которые мог бы получить в знак уважения к воинскому званию и прошлым заслугам. Однажды командир все же не удержался от попытки оказать Шоу услугу и очень тактично предложил ему спокойное место для работы над книгой.

— Это было, когда он переводил прозой «Одиссею», — объяснил мне офицер. — Он работал в простом бараке, где насвистывали, заводили граммофон, чистили оружие, травили байки. Сидит, бывало, обложившись книгами и словарями, а рядом кто-нибудь пишет письмо жене или матери и то и дело отвлекает его, спрашивает, как пишется то или иное слово. Лоуренс откладывал ручку, отвечал на вопрос, потом снова брался за перевод. Я просто не мог себе представить, как он работает в этом сарае, и однажды сказал ему: «Послушайте, Шоу, я могу предоставить вам пустой барак. Там вас не будут отвлекать шумом и разговорами. Что скажете?» Он сурово и упрямо взглянул мне в глаза и коротко ответил: «Нет, спасибо, никакие поблажки мне не нужны. Я предпочитаю работать там, где шумно». И все, разговор окончен! Трудно с ним было...

Перед сном, стоя на балконе, я слушал, как морские волны разбиваются о песок. На черном, бархатном египетском небе висели сияющие звезды. Казалось, в этом городке больше и нет ничего, кроме гостиницы в песках и мечети, чей минарет белой свечой высился неподалеку.

В древности Мерса Матру назывался Паратонием. Город славился хорошей гаванью, только вот войти в нее было непросто. Это был обычный порт, куда прибывали корабли с паломниками, стремящимися в оазис Амона. Во времена Птолемеев Клеопатра построила здесь летний дворец, где, подобно современным грекам, бегущим из Александрии в «Лидо», укрывалась от городского зноя.

После того, как период гражданских войн в Риме завершился битвой у Актия, Антоний и Клеопатра прибыли в Паратоний первым же кораблем, принесшим в Египет весть о поражении. Антоний совсем пал духом и помышлял о самоубийстве, но Клеопатра держалась стойко. Украсив корабль, как для празднования победы, она велела взять курс на Александрию, и судно под музыку и пение вошло в гавань. Захватив гарнизон, она позволила распространиться вести об исходе сражения при Актии.

Римляне разместили в Паратонии свои войска. А в более поздний период император Юстиниан построил здесь одну из своих пограничных крепостей, которая должна была защищать город от ливийских племен...

Я знал, что приехал в уединенное и романтическое место, но никто не сказал мне, что Мерса Матру — еще и одно из самых красивых мест в Египте. Утром, подняв жалюзи, я увидел пейзаж, заставивший меня вспомнить книгу Роберта Баллантайна «Коралловый остров» и фильм Стэкпула «Голубая лагуна». Это была идеальная декорация для романтической беллетристики: пенные гребни на волнах, искрящиеся в утреннем свете, золотой полумесяц, белые как снег барханы, поднимающиеся над синей, как гиацинт, лагуной; а восточнее небольшой гавани — несколько старых кораблей на якоре.

Лагуна простиралась ярдах в двадцати от моего балкона. Даже на Айоне, в Шотландии, мне не случилось видеть таких удивительных красок. Свет,

пронизывающий лагуну, окрашивает воду на глубине в изумрудный цвет, а на мелководье — придает ей нежнейший яблочно-зеленоватый оттенок. Были и другие цвета: внезапные прожилки розовато-лилового и пурпурного там, где стелятся по дну водоросли; удивительные мазки аметистового; и даже янтарные участки. Казалось, кто-то вылил в воду краски. А за разноцветным мелководьем и белыми холмами берлинской лазурью провели четкую линию — глубокие воды Средиземного моря.

ОТЕЛЬ стоит обособленно, приблизительно в миле от города. Это я выяснил, предприняв вылазку после завтрака. Сторожевой пост примостился у самой кромки воды, съезжившись под ярким солнцем. Он напомнил мне поселения на Диком Западе из старых фильмов — с лошадьми, привязанными к столбам в ожидании хозяев, которые, поправляя кобуру на поясе, неверной походкой выходят из салуна. Но кто-то имеет виды на Мерса Матру. Тут и там проложены широкие вселяющие оптимизм дороги, к которым робко жмутся три-четыре бунгало.

САМЫМИ долговечными кажутся греческие бакалейные лавки. Предприимчивый улисс торгует мылом, печеньем, шоколадом, чайниками, неизменными анисовой водкой узо и белым вином рециной в таких местах, где даже еврей умер бы от голода. Он был здесь во времена эллинизма, он и сейчас тут как тут, этот неутомимый авантюрист. На дверях в некоторые греческие магазины я заметил полустертые надписи на английском — «вход военнослужащим воспрещен» — память об Абиссинском конфликте, когда в Мерса Матру, находящемся всего лишь в двухстах милях от итальянской колонии Триполи, стояли британские войска.

Я удивился, увидев маленькую современную греческую церковь и греческое кладбище, и решил, что,

должно быть, полдюжины здешних бакалейщиков очень набожны, если выстроили себе храм. Я заглянул в греческую лавку и не успел опомниться, как приобрел шоколад, жестяную коробку с печеньем, солидный запас спичек и мухобойку. Эти греки из глухомани — лучшие торговцы на свете: не удивительно, что они умудряются разбогатеть даже в пустыне. Хозяином магазинчика был плотный маленький загорелый мужчина из Андроса в фетровой шляпе, сдвинутой на затылок, и в рубашке с короткими рукавами. Его товары были разложены не только на прилавке и полках, но и свисали с потолка подобно чучелам крокодилов, которые держат у себя астрологи. Грек внимательно оглядел меня пронизательными карими глазами. Он явно был рад блеснуть своим английским.

— Вот эта церковь, — сказал я. — Как она здесь оказалась?

— А-а! — ответил он. — Это церковь ловцов губок. Мерса Матру — место, знаменитое добычей губок. Греки каждый год приезжают с островов, много-много лодок, и добывают губки, аж до Соллума. Здесь самые лучшие губки на свете, не маленькие бурые губки, какими торгуют в Афинах, а большие мягкие губки, за которые в Англии можно выручить большие деньги.

— У вас есть такие в продаже?

Он наклонил голову, прикрыл глаза и поднял руку так, что ладонь оказалась на уровне плеча, что на греческом языке жестов, понятном всем на Ближнем Востоке, означает «нет» — но не грубое «нет», а мягкое, извиняющееся «нет», грустное, полное искреннего сожаления «нет».

— Здесь продавать запрещено, — объяснил он. — Торговцы приезжают, скупают все губки и увозят их в Александрию.

Он также рассказал мне, что те несколько кораблей, которые я видел, — это единственные сейчас в городе

суда, предназначенные для промысла губок. Вообще-то сезон кончился.

— А кладбище? — спросил я. — Оно только для греков?

— Эх, — вздохнул хозяин магазинчика, — добыча губок — очень опасный промысел. Многие погибают.

И последовал еще один жест, принятый у греков всего мира. Он поджал губы, а ладонью помахал, как бы гоня воздух к лицу. Это означает в зависимости от контекста: изобилие, богатство, много, очень много, а в данном конкретном случае — много погибших ловцов губок. Когда я выходил из магазинчика, торговец, преисполненный почтительной благодарности, поклонился, согнувшись до самого прилавка.

Самое большое здание в городе — резиденция губернатора провинции Западная пустыня. Этот департамент в пустыне — и сторож, и полицейский, и нянька, и врач. Когда-то он был британским учреждением, но теперь, с обретением Египтом нового статуса, здесь распоряжаются египтяне. Если у бедуина издох верблюд, сбежала жена, погиб урожай, если кто-то наслал порчу на его осла или верблюда, он иногда за сотни миль идет на погранзаставу, чтобы рассказать об этом. Все скажет, только имени человека, убившего его лучшего друга, не назовет. Оно может быть известно узкому кругу, но полиция должна найти преступника самостоятельно.

Будучи наслышан о благотворительной деятельности губернатора, я не удивился, увидев около его резиденции сотни бедуинов, ожидавших бесплатной порции ячменя. Они пришли сюда издалека.

Офицер, оделявший собравшихся людей зерном, рассказал печальную историю. Дождя не было шесть лет. Племена вымирали. Лошади и верблюды пали от бескормицы и жажды. От людей остались кожа да кости, и в этом я сам мог убедиться. Недавно благословенный

дождь все-таки выпал, и со всей пустыни собрались бедуины, умоляя о горстке ячменя, чтобы было что бросить в землю. Скоро, если дожди будут продолжаться, окраины пустыни зазеленеют. Племена дождутся на побережье апреля-мая, когда созревает ячмень, и, собрав свой скудный урожай, уйдут на юг, затеряются в сером мареве зноя.

Я отправился засвидетельствовать почтение губернатору Западной пустыни. Это был недавно назначенный на должность египетский полковник. Он только позавчера прибыл и принял дела, однако успел получить письмо с уведомлением о моих намерениях посетить Сиву. На стене висела карта подведомственного ему района — площадь, по размерам приблизительно равная Уэльсу. Слуга-суданец принес две чашки кофе, и мы заговорили о моем путешествии.

Я объяснил, что со дня на день ожидаю машину из Каира и на ней поеду дальше. Губернатор одобрил мой план и сказал, что пошлет патрульную машину сопровождать меня и показывать дорогу, потому что таково правило, установленное здешней администрацией — никто не должен пересекать пустыню в одиночестве.

Губернатор предложил мне выехать в пять утра, если к тому времени придет ожидаемая мною машина, и вызвал молодого офицера-египтянина, который бывал в Сиве. Юноша сказал, что если все сложится хорошо и не случится какой-нибудь поломки, то мы доберемся за один день. Это меня озадачило — я, признаться, рассчитывал переночевать на открытом воздухе хоть одну ночь.

Расстояние, покрываемое теперь автомобилем за один день, верблюды проходят дней за восемь-десять.

Днем я прогулялся до гавани — посмотреть на ловцов губок. По дороге к морю, на склонах низких известняковых холмов я заметил подобие террас, на

которых когда-то росли виноград и оливы. В лагуне и в белых песчаных дюнах откопали множество греческих мраморных колонн. Вот и все, что осталось от маленького греческого порта Паратоний.

Еще год или два тому назад воду в Мерса Матру доставляли морем в огромных танкерах. Возникает вопрос: как выживал этот город во времена Птолемеев? Тайна была раскрыта, когда недавно под землей обнаружили каналы длиной в полмили, полные пресной воды. 78 000 тонн пресной воды хранились под землей. Водопровод имел двадцать пять люков. Эта древняя система водоснабжения сейчас опять используется, вода все еще бежит по старым каналам.

Я нанял гребной ялик и отправился взглянуть на корабли. Картина вполне могла бы служить иллюстрацией к «Острову сокровищ». Корабли стояли в защищенной бухте, словно покоились на голубой глади стекла. Вода была так чиста и прозрачна, что я мог различать рыб, кораллы, живых губок, лежавших в песке и на камнях на глубине почти тридцати футов. Четыре деревянных парусника, снасти, которые команда украсила гирляндами, — трогательный штрих: пираты, войдя наконец в защищенную бухту, любили побаловать себя, пожить «по-домашнему». Подплыв ближе, я увидел людей, которые могли бы, наверно, бороздить моря с капитаном Киддом, — волосатых, полуголых, выбритых до синевы. Кто спал, кто слонялся по палубе. Я заметил, что корабли, в основном, с Родоса или Эгины.

Мужчины, отвечая на мои расспросы, держались хмуро и подозрительно. Я чувствовал, как их греческие головы пытаются сообразить, зачем понадобилось мне в жаркий день грести, чтобы добраться до них. Мне сказали, что сейчас уже не сезон и что большинство кораблей ушли.

Промысел губок — опасное занятие. Добытки губок редко живут дольше сорока лет, но сто фунтов за

несколько месяцев — это приличные деньги на греческих островах. Если не подведет шлем (а капитаны и сами ловцы, как правило, преступно небрежны), то однажды разобьет паралич — следствие кессонной болезни из-за длительного пребывания под водой.

Самый примитивный способ добычи губок и, возможно, более безопасный, чем плохой водолазный костюм, — это нырять голым в воду, привязав к себе веревкой тяжелый камень. Ныряльщик проводит на дне несколько секунд, за которые успевает взять пару губок, а потом, отпустив веревку, всплывает на поверхность. Некоторые ныряльщики способны находиться под водой несколько минут.

Другой способ — бросать гарпун или трезубец, но это часто портит губки. Третий — погружаться в водолажном костюме, но мне рассказали несколько ужасных историй о плохо пригнанных шлемах и неполадках в подаче кислорода.

Кладбище ловцов губок в Мерса Матру достаточно красноречиво. Каждое лето оно принимает пополнение. Кого акулы растерзают, кого паралич разобьет или погубят болезни сердца и легких, вызванные давлением огромной массы воды.

Стоя на уединенном маленьком кладбище, я вспомнил маленьких смуглых мальчиков, ныряющих за монетками в прибрежные воды чудесных греческих островов. Они плавают под водой, как тюлени, выныривают с монетками, зажатыми между белыми зубами, отряхиваются, протирают глаза и радостно хохочут. Таково начало короткой и опасной жизни ныряльщиков за губками.

Ближе к вечеру из Каира пришла машина. Привел ее запыленный и измученный армянин по имени Михаил. За свою жизнь он изрядно поколесил по пустыне. Михаил из тех армян, которые, дай им новенький американский

лимузин, готовы ехать на нем хоть в пекло. Я оценил предусмотрительность водителя: он прихватил с собой кирки, лопаты и сэндборды. Когда я велел ему загнать машину в гараж для техосмотра, потому что завтра в пять мы выезжаем, он слегка поклонился и ответил: «Как скажете».

Глава вторая

По Западной пустыне в Сиву

Я пересекаю пустыню в направлении оазиса, вижу, что осталось от храма Юпитера-Амона, посещаю источник Солнца и завожу новых друзей. Я пью зеленый чай, присутствую на празднике с танцами и возвращаюсь в Александрию.

1

Утром слуга принес мне в номер чашку чая. Сияли звезды. Казалось, волны бьются о песчаный берег под самым моим окном. Было холодно, вставать не хотелось.

Две машины ждали в темноте, чтобы отправиться в путь через пустыню: моя и патрульная — с водителем суданцем. Я различил в полумраке еще две фигуры, закутанные по самые глаза, — повар-суданец и молодой слуга-египтянин.

Мне очень понравилось, что повар, слуга и Михаил были не меньше моего взволнованы предстоящим путешествием в Сиву. Видимо, этот пустынный оазис казался им столь же таинственным, как и мне.

— Вы когда-нибудь бывали там раньше? — спросил я водителя-суданца.

Он взял винтовку «на плечо», подставив ладонь под приклад, и ответил:

— Да, сэр. Я бывать один раз.

— Как вы думаете, когда мы туда доберемся?

— Если нет поломка, — сказал он, бросив неодобрительный взгляд на машину Михаила, — мы прибыть сегодня вечером.

— Хорошо. Поехали!

Мотор патрульной машины взревел в темноте, и мы, ориентируясь по свету ее задних фар, отправились в путь. Через два часа встало солнце: перед нами расстилалось высокое плато — голое и ровное, как морская гладь.

Ливийская пустыня или, точнее сказать, эта ее небольшая часть между побережьем и Сивой, — вероятно, один из самых монотонных участков земной поверхности. Он не соответствует традиционным представлениям о пустыне. Нет живописных, волнистых холмов золотого песка. Силуэты пальм не оживляют горизонт. В пределах видимости нет ничего, кроме коричневой равнины, напоминающей океанское дно, усеянное миллионами камней. Лишь земля грязноватого цвета хаки.

Сначала мы увидели верблюдов, обгладывавших колючий кустарник; потом, когда углубились в пустыню, всякая жизнь прекратилась, — не осталось ничего, кроме палящего солнца да тысяч миль коричневой выжженной земли.

Дорогой была просто колея, оставленная колесами грузовиков. Она крутила и петляла, огибая крупные камни, а иногда вдруг резко сворачивала и шла вдоль сухого русла, куда в сезон дождей стекала вода. Через более-менее равные промежутки времени случались участки плотно утрамбованного песка, ровные, как гоночный трек. Здесь, примерно минуту, можно было ехать со скоростью около шестидесяти миль в час, а потом снова начиналась «дорога», опять трясло и подбрасывало.

Сначала мы ждали, когда доберемся до гряды, надеялись, что там перед нами откроется другой вид, что будет на чем отдохнуть глазу, но все было то же — каменистая безжизненная равнина цвета хаки, ни деревца, ни кустика.

Страшно даже подумать о судьбе пятидесяти тысяч персов, которым суждено было погибнуть в этой пустыне на пути в оазис. Царь Камбиз в 525 г. до н. э. послал их разрушить святилище и разграбить Сиву. Они не дошли до места — просто исчезли, и никто никогда больше о них не слышал. Предполагается, что либо не выдержали песчаной бури, либо, сбившись с дороги, плутали по пустыне, пока не обезумели от жары и не умерли от жажды.

Найдется ли когда-нибудь удачливый археолог, который откроет тайну этого пропавшего войска? Где-то по дороге в Сиву под слоем песка лежат пятьдесят тысяч персов в полном боевом вооружении — они полегли здесь за пять веков до Рождества Христова.

Полдень, час дня, два часа, три часа... Местность, по которой мы ехали, по-прежнему напоминала пейзаж кошмарных снов. Я предложил остановиться у одного из пяти колодцев, расположенных приблизительно в пятидесяти метрах друг от друга, и съесть взятые с собой бутерброды. Вода-то здесь есть, но нет растительности.

Выйдя из машины, Михаил вдруг завопил от ужаса. Он едва не наступил на самую смертоносную змею в Египте — рогатую гадюку. Она длинная и тонкая, по цвету почти сливается с песком, с маленькой плоской головкой и бледной точкой на хвосте. Мне говорили, что укушенный ею человек умирает через двадцать минут. Это одна из немногих змей, которая сама нападает на человека, а другая ее страшная особенность — огромная скорость, с которой она перемещается, причем не только назад и вперед, но и в стороны.

К счастью для Михаила, змея выползла из своей норы, все еще пребывая в спячке, то есть находилась в коматозном состоянии. Мы крикнули солдату, чтобы тащил винтовку, но он нас не понял. Так что, схватив первое, что попало под руку, а именно штатив от

фотоаппарата, я собрался с духом и убил гадюку, после чего мы поздравили Михаила с тем, что он жив, и съели свой скудный ланч в тени наших автомобилей.

Поехали дальше. Пока меня болтало из стороны в сторону, патрульная машина, у которой рессоры были получше, развила приличную скорость и вырвалась вперед. Птиц не было. Это невероятно, но не было даже мух. Мертвая зона.

Приблизительно в тридцати пяти милях к востоку от нашей колеи находится невысокий холм, который бедуины называют Джебел Искандер, то есть Гора Александра. Они не знают, что проводники Александра сбились с пути, направляясь в Сиву, это название просто веками передается из уст в уста. После войны один британский офицер, узнав от арабов, что здесь находили глиняные сосуды, отправился на холм и откопал восемь великолепных амфор периода эллинизма. Я видел одну из них в Мерса Матру. Она была из красной глины, около четырех футов в высоту, яйцеобразная, с заостренным дном, длинным горлом и двумя ручками. Если предположить, что это сосуд для воды, взятый в дорогу людьми Александра, а похоже, что так и есть, остается только догадываться, какие еще бесценные реликвии можно найти, если устроить настоящие раскопки.

Когда солнце уже садилось, мы проехали равнину и оказались среди одного из самых фантастических на свете ландшафтов. Думаю, примерно так должны выглядеть горы на Луне. Кажется, природа, понимая, как тоскливы и бесцветны были предыдущие двести миль, вложила всю свою фантазию в этот маленький клочок земли. Долина со всех сторон окружена причудливыми холмами самых невообразимых очертаний: конус, куб, пирамида, нечто, издали напоминающее укрепленный замок с башенками. Некоторые холмы были похожи на руины древних

городов. Здесь, в этой удивительной долине, кто-то из нас впервые воскликнул:

— Смотрите! Птица!

Это была первая птица, которую мы увидели с раннего утра. Значит, Сива уже близко.

Примерно час мы спускались с холма, любуясь лунным пейзажем, и уже внизу, в ущелье, вдруг увидели множество финиковых пальм на розовом фоне заката.

Чем дальше, тем удивительнее проявляла себя неподражаемая фантазия создателя Сивы: скалы, усеянные мазанками, громоздились подобно небоскрегам. Этаким африканский Манхэттен. Из моря финиковых пальм поднимался к небу холм, облепленный маленькими домиками.

Уже оказавшись в тени этого холма, мы поняли, что есть в нем нечто странное. Люди не выходили на крыши посмотреть на нас. За маленькими квадратными окошками в стенах не было заметно никакой жизни.

Позже мы узнали, что старый город признали опасным для проживания и люди ушли из него несколько лет назад. Они построили неподалеку новую деревню — скопление низких, с плоскими крышами белых глинобитных домиков, крытых пальмовыми ветками.

Я отправился в полицейский участок, где меня ожидал Мамур, чиновник, представляющий здесь египетское правительство. Мамур, врач и начальник местного отряда верблюжьего корпуса, все трое египтяне, — единственные здесь официальные лица. В Сиве нет европейцев.

Мамур сказал, что он открыл пустующую правительственную гостиницу, чтобы принять меня в ней, что она находится в миле отсюда, в пальмовой роще. Это оказалась мрачная постройка с белеными стенами, одиноко торчащая на холме. Окна были тщательно затянуты москитной сеткой, чему я от души

порадовался, потому что принадлежу к людям, на которых москиты нападают в любое время года.

В доме царила печальная атмосфера былого величия. Здесь останавливался покойный король Фуад, когда посетил оазис, и память о прикосновении королевской руки хранят перила на лестнице, обитые синим бархатом, несколько потертым, правда. Имеется также ванная — вот уж чего меньше всего можно было бы ожидать в Сиве, но насчет ее комфортабельности не обманется и самый неопытный или оптимистично настроенный путешественник.

Мне предоставили королевскую спальню с широкой кроватью под латунным балдахином на возвышении. Спустившись на одну ступеньку, из этой комнаты можно было выйти в очень приятную гостиную, где стояли деревянный стол и два стула с обитыми полотном сиденьями. Со стены, как это принято, смотрел портрет покойного монарха в тарбуше и сюртуке. Из длинного окна, затянутого сеткой, открывался великолепный вид на оазис Сива, простиравшийся за пальмовой рощей.

Со двора доносились полные отчаяния голоса — повар, слуга, Михаил и водитель патрульной машины пытались разжечь капризную керосинку. Выглянув в окно, я увидел повара, который нес петуха. Скоро до меня донеслась причудливая симфония запахов, свидетельствующая о том, что повар со страстью и пылом профессионала, которому никто не мешает, готовит нам грандиозный пир.

Солнце село, и тьма опустилась на наше одинокое жилище. Над пальмами зажглись звезды, проснулись летучие мыши; а в миле от нас виднелись таинственные очертания мертвого города на холме, серого и призрачного.

Вошел слуга с керосиновой лампой, и подали обед, который в такой глуши мог приготовить разве что повар-суданец: суп, омлет, рыба из Мерса Матру, жареный

цыпленок, консервированные груши, пикантный сыр, апельсины.

Укладываясь спать в ту ночь, я видел, как большая золотая луна, проплыв по небу, повисла над темной рощей. Собака не залает, шакал не завоет, птица не закричит. Оазис дремал в зеленоватом свете, укрытый тишиной, точно снегом.

2

Ранним утром Сива похожа на картину Гогена или Ван Гога. Бесконечные вариации теплых тонов: коричневая охра холмов, золотистый песок, яркая зелень деревьев, плотная синева неба без единого облачка. На открытых участках зной просто пульсирует. Козы бегут сквозь ослепительный свет в спасительную тень пальмовой рощи. Голуби вспархивают с вершин деревьев, и белое оперение загорается в солнечных лучах. Звуки же — напротив, неяркие, приглушенные: колокольчик на шее у козы, ленивая песня мужчины, работающего в саду, пощелкивание ослиных копыт и мерный стук верблюжьих.

Из окна гостиницы, если посмотреть на запад, видна узкая полоска озера с ярко-синей водой, исчерканной снежно-белыми штрихами — лиман пересыхает летом, так что можно перейти его по сгусткам сверкающей соли. В древние времена жрецы Амона поставляли соль в храмы Египта и Персии. Здесь жители говорят, что на острове посреди озера лежат меч, печать и кольцо Соломона. Один из первых исследователей Сивы, французский инженер, полковник Бутен хотел на складной парусиновой лодке доплыть до этого острова, но местные не позволили ему даже спустить ее на воду. А приехал бы летом — легко добрался бы куда надо по соленой дороге.

Обрабатывая укусы москита нашатырным спиртом, я размышлял, приходит ли людям в голову, что они поминают Амона всякий раз, когда просят в аптеке аммонизированный хинин или этот самый нашатырь — хлорид аммония. Кстати, считается, что именно здесь, недалеко от святилища Амона, он был впервые получен из верблюжьих экскрементов. И еще я подумал, поднеся бутылочку поближе к носу, не использовал ли оракул удушливый запах этого химического соединения. Треножник дельфийской пифии, помнится, стоял прямо над пропастью, из которой поднимались испарения, и Плутарх полагал, что именно благодаря им пифия впадала в пророческий транс. А, например, прорицатели одного из племен, живущих на Гиндукуше, с той же целью вдыхают дым горящей древесины кедра.

Мамур приехал, когда я завтракал. Это был крупный мужчина в тиковом костюме цвета хаки и тропическом шлеме. Мы заговорили о Сиве.

Население — около пяти тысяч человек, мужчин больше, чем женщин. Многобрачие не практикуется, но разводы так часты, что некоторая часть женского населения, подобно денежным знакам, находится в постоянном обращении. Один житель Сивы сменил сорок жен. Здесь все еще придерживаются учения Сенусси, но фанатизма и ненависти к чужим после войны поубавилось. Каир теперь не кажется таким далеким. Самолетом до оазиса можно долететь за несколько часов, а машина из Мерса Матру доезжает сюда за день — не то, что прежде, когда до Сивы добирались неделю, а то и десять дней. Но с туземцами по-прежнему трудно. К тому же, они всегда готовы передрались друг с другом.

Головы их начинены суевериями. Искренне верят во всякое колдовство. Врачу, присланному сюда правительством, нелегко убедить людей, что его

познания помогают лучше, чем заклинания колдунов и припарки знахарок. Работают, в основном, потомки суданских рабов и беднейшие сиванцы, которым платят не деньгами, а продуктами. Оплата выдается через каждые шесть месяцев, исходя из расценок 3 шиллинга в неделю, считается, что это щедро. В Сиве не на что потратить деньги, разве что на зеленый чай — единственную здешнюю роскошь.

Кофе приверженцам Сенусси запрещен, поэтому жители Сивы пристрастились к чаю, который пьют в огромных количествах и по любому поводу. Еще одна возможная статья расхода — покупка жены. Цены давно стабилизировались: жена стоит 120 пиастров, то есть около двадцати четырех шиллингов. Поскольку женщин меньше и они-то всегда найдут себе пару, а многие мужчины зарабатывают так мало, что им никогда не скопить двадцати четырех шиллингов, значительная часть мужского населения обречена на холостую жизнь.

Правят Сивой шейхи, владеющие большими плантациями финиковых пальм. В оазисе 600 000 финиковых пальм, на которых зреют лучшие финики в Египте. Каждое дерево облагается налогом, так что оазис ежегодно выплачивает правительству Египта две тысячи фунтов. Из-за этого в прошлом доходило до кровопролития, но, как многие народы под влиянием цивилизации, жители Сивы теперь смирились с необходимостью платить налоги.

Финики продают на здешнем рынке или увозят грузовиками. Прежних финиковых караванов, которые когда-то каждый год приходили в Сиву из Египта, больше не видно, хотя из Триполи караваны иногда приходят. Более редкое теперь использование верблюда как транспортного средства любопытным образом отразилось на экономике Сивы. Одной из главных статей дохода был верблюжий помет, остающийся на рыночной площади после ухода каравана. Отсутствие верблюдов

— существенный удар по бюджету оазиса. Единственное промышленное предприятие в Сиве — недавно построенная государственная фабрика переработки фиников, где их сушат, моют, упаковывают в ящики, а после отправляют в Каир или Александрию.

Отсутствие в Сиве собак и кошек объясняется тем, что жители их едят. В пищу употребляют и тушканчиков, и крыс, и мышей. Очень популярен пьянящий напиток под названием лубчи — из сока пальмового дерева. От него местные жители становятся просто бешеными, и в прежние времена жители восточной и западной частей города, которые вечно враждовали, напившись лубчи, устраивали настоящие побоища на главной площади, после чего численность населения существенно сокращалась.

Мамур повел меня осмотреть чудеса оазиса. Когда мы шли по узким улочкам мимо глинобитных домиков, я спросил его, почему здесь часто замуровывают в стены или вешают над входом черепа, кости, горшки.

— Все верят в сглаз, — ответил он, — и думают: пусть лучше сглазят ослиный череп, а не живущих в этом доме людей.

Мы вышли на широкую главную площадь, над которой высится древняя Сива. Более нелепых и несуразных сооружений свет не видывал. Многие сотни лет дома строили на крышах других домов, наугад, как попало, пока не оказалось, что самые верхние находятся на высоте двухсот футов. Улицы этого человеческого муравейника, петляя в полной темноте, доползают до вершины. И в какой-нибудь случайно открывшейся отдушине вдруг возникает на секунду яркий образ окружающего мира.

Когда старый город был еще обитаем, как, должно быть, жутко было на ощупь пробираться по узким улицам, больше похожим на угольные шахты, слыша в

темноте только скрип жерновов, которыми женщины растирают зерно, да приглушенные стенами голоса.

Я слышал, что утром все в городе оживились — пришел караван из Триполи, впервые за много месяцев. Звучало это очень романтично, и я ожидал яркого зрелища. Но подойдя к небольшому рынку, крытому пальмовыми стволами и ветвями, я увидел лишь четырех бедуинов, сидевших на корточках на земле. Перед ними лежали узелки из носовых платков. Мне объяснили, что это и есть караван из Триполи. Бедуины развязали свои узлы, и в них оказались жалкие серебряные побрякушки. Эти люди шли по пустыне дни и ночи, от колодца к колодцу, вставали лагерем, отдыхали и снова шли — и все для того, чтобы принести эти ничтожные вещицы в оазис. Я подумал: вот она, непреклонная, тупая энергия примитивной торговли. Археологи часто ломают головы, как случилось, что какое-нибудь серебряное колечко оказалось в том или ином месте, строят сложные и хитрые теории, чтобы объяснить, как тот или иной предмет попадает туда, куда не должен был попасть. Думаю, причина в том, что всегда существовали люди, подобные этим торговцам из Триполи, готовые нести пару колец через весь мир просто ради удовольствия выпить чашку чая и обменяться последними сплетнями, когда дойдут до места. Сам рынок служил наглядным примером простоты жизни в оазисе. Всего десяток торговцев, все они сидели, скрестив ноги, перед каждым стояло по мешку. В одном было четыре фунта сахарного песка, в другом — три фунта чая; в третьем — кажется, бобы или чечевица. Без сомнения, людям, привыкшим к столь скудному рынку, узелки бедуинов из Триполи казались витринами магазина «Картье» на Бонд-стрит.

Мы отправились на финиковый рынок неподалеку. Там все было завалено сушившимися на солнце финиками — насыщенно золотистыми, желтыми, цвета конских каштанов. Мамур объяснил, что финики бывают

разных сортов, каждый имеет свое название. В Сиве есть знатоки этой культуры, способные сразу определить, из какого сада, а то и с какого дерева тот или иной финик.

По обычаю любой может прийти на этот рынок в сезон сбора урожая и съесть сколько угодно фиников. Но не дай бог положить хоть один в карман.

Финиковые пальмы для жителей Сивы — все равно что оливы для жителей Средиземноморья. Беднота питается почти исключительно финиками. Стволы финиковых пальм — строительный материал. Древесина также используется в качестве топлива. Из ветвей финиковых пальм делают изгороди, кроют ими крыши домов и хижин. Из пальмового волокна женщины плетут красивые циновки и корзины. Плетение такое тугое, что сосуды не пропускают воду.

Здесь ослы, говорят, обязаны своими особо крупными размерами и силой финиковой диете, и я сам наблюдал, как в углу рынка ослик с аппетитом завтракает этими плодами.

Мы снова прошли по улицам Сивы. Смуглые девочки лет десяти-двенадцати, похожие на древние египетские статуэтки, завидев нас, замирали от любопытства и, только когда между нами оставалось всего несколько ярдов, опрометью бежали прочь. Местные красавицы. У них лица вполне взрослых женщин, а тела — детские. Из-за множества косичек они выглядят несколько архаично — как будто надели праздничные парики женщин древнего Египта. Принято заплетать волосы в тугие косички и оставлять прямую длинную челку. Волосы умащают маслянистой пахучей мазью, в состав которой входят листья фиго.

У каждой из девочек на шее серебряный обруч. У некоторых к нему еще подвешен диск размером с блюдце. Это «диски девственности», которые девушки носят до замужества. Накануне свадьбы невеста в

сопровождении подруг совершает омовение в одном из источников Сивы. Сначала она снимает с шеи диск и бросает в источник, потом сбрасывает с себя одежду и погружается в воду. На такой церемонии обычно разрешается присутствовать маленькому мальчику — как только ритуал заканчивается, он ныряет и достает из воды серебряный диск. Невеста хранит его, а в свое время передает своей дочери.

Одетые «по всей форме» девочки просто увешаны дикарскими украшениями: в ушах огромные серьги с длинными цепочками с колокольчиками на концах, а на шее — несколько рядов бус, украшавших когда-то шеи мумий.

Девочки попадались мне повсюду, но ни разу я не видел женщину от шестнадцати до тридцати пяти. Нигде так бдительно не стерегут замужних женщин, как в Сиве. Лишь иногда заметишь, что за тобой наблюдает из окна пара внимательных глаз.

3

Когда я узнал Сиву получше и освоился, то понял, что самое интересное — сидеть у источника. Там их около двухсот, в некоторых пресная вода, в других — соленая, в третьих — серная. Есть теплые — есть холодные. В общем, такой маленький Харрогит в декорациях Гогена.

Это довольно значительное количество воды изливается на песок столетиями, и в качестве объяснения мне больше всего нравится теория о том, что подземная река из Конго прорывается сквозь трещины в земной коре под пустыней. Почти все источники напоминают круглые бассейны, наполненные голубой и зеленой водой. Зеленой — там, где на нее падает солнечный свет, голубой — там, где ее затеняют

пальмовые ветви. Как правило, источники обложены тесаными камнями и снабжены парапетами, на которые вы можете присесть и сквозь пятьдесят футов прозрачной сине-зеленой воды полюбоваться разноцветными сталагмитами.

Смотреться в неподвижную гладь воды издавна считается развлечением людей тщеславных. Интересного тут мало, если только, конечно, вы не склонны к самолюбованию. Но ключи Сивы удерживают ваше внимание часами, потому что они живые — вы видите, как поднимаются вверх серебристые пузырьки, напоминающие драгоценные жемчужины. Временами они возникают в таком количестве, что вся поверхность воды колыхается от рвущегося наружу воздуха, как будто сотни невидимых рыб открывают рты. Потом без всякой видимой причины движение прекращается, и вам кажется, что вы смотрите на неподвижный зеленоватый целлофан. Могу себе представить, как источники будоражили воображение древних, как они и до сих пор волнуют суеверных жителей Сивы. Эта странная газированная жизнь — нечто отнюдь не механическое: кажется, пузырьки выдувает капризный подводный великан. Иногда он устает, но потом снова принимается за дело; уходит отдохнуть, но возвращается; выдувает то цепочки маленьких серебряных горошинок, то шарик размером с апельсин.

Источники находятся на солнечных, нагретых проплешинах в джунглях. Вокруг, подобно корабельным мачтам в гавани, возвышаются членистые мохнатые стволы финиковых пальм. Среди ярко-зеленых листьев рдеют спелые гранаты и желтеют великолепные сладкие лимоны. А в воде — отражения фиников, свисающих с ближайших пальм. Они висят в толще воды, словно целый рой лакированных коричневых пчел.

Над источниками порхают и трепещут красные, зеленые, оранжевые стрекозы; иногда удад, а они здесь

ручные, как и везде в Египте, слетит вниз и оценивающе, склонив головку набок и вопросительно подняв хохолок, посмотрит на вас.

Родники — это жизнь для Сивы. По небольшим каналам живительная влага разносится по садам. У каждого источника имеется свой страж или хранитель. У него есть книга, куда он записывает, какое количество воды причитается каждому клочку земли. Хранители контролируют игрушечную систему каналов, проложенных иногда даже через полые пальмовые стволы. Когда наступает время полива того или иного сада, страж подходит к ведущему к нему каналу и пинает ногой стенку-плотину, таким образом позволяя воде течь в нужном направлении.

Так израильтяне орошали свои сады в Египте. Об этом — во Второзаконии, в главе 11: «...где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад...» Хранители родников Сивы, у которых нет часов, определяют время по солнцу, а когда солнце садится, — по голосу муэдзина, чей зов слышен им в тишине; а когда ни звука не доносится из мечети, у них остаются звезды.

Родник Солнца — самый знаменитый и самый красивый из ключей Сивы. Геродот говорил, что в полдень этот ключ прохладен, а к полуночи становится теплее, и местные жители повторяют эту сказку. Существует также легенда, что в нем когда-то жила черная слепая рыба, и она имела отношение к оракулу Амона, чье прорицалище находилось неподалеку. Однажды я сидел у этого источника, и ко мне из-под сени деревьев вышел гордой поступью человек, как мне сначала показалось, одетый в римскую тогу, ибо именно так ливийцы сейчас драпируют свои одежды. На голове у него красовалась небольшая красная феска с голубой шелковой кисточкой, а в руках он держал черный зонтик. Пришедший оказался шейхом городка Агурми.

Он вызвался показать мне развалины храма Юпитера-Амона.

4

Сначала мы отправились смотреть руины, находившиеся неподалеку от родника Солнца, которые, видимо, были остатками меньшего храма, упоминаемого Диодором. Не сохранилось почти ничего, кроме нескольких камней и фрагментов пилон. На них изображены жертвоприношения богу Амону. Судя по тому, что сама земля в этом месте имеет довольно истерзанный вид, здесь должно было стоять большое здание. Элегантно опираясь на свой зонт, шейх рассказал мне, что давным-давно турецкий губернатор заложил под здание пороховой заряд и взорвал его, а камень пошел на строительство полицейского участка.

Мы поднялись на небольшой холм, к бывшей деревне Агурми, которая показалась мне даже интереснее Сивы. Ее глинобитные дома облепили утес, вздымающийся над пальмами. Издали он напоминает бурый корпус старого корабля без мачты, дрейфующего в море пальмовой листвы. Подобно Сиве, эта деревня теперь пуста, потому что жить в ней небезопасно, а жители выстроили себе новые дома неподалеку.

Главная улица петляет между глинобитными стенами, теряется временами в немыслимых лабиринтах узких тоннелей, ведущих к темным маленьким домишкам, населенным сейчас разве что шакалами и змеями.

С крепостного вала открывается великолепный вид на оазис. Миля за милей тянутся взлохмаченные пальмы, а за ними Ливийская пустыня омывает горизонт подобно золотому океану.

Мы карабкались в темноте по кучам мусора и обломкам стен, освещая электрическим фонариком развалины массивных ворот. Некоторые из фрагментов по величине не уступали плитам пирамид в Гизе.

Этот храм на холме, поднятый так высоко над пальмовыми рощами, и был святилищем оракула, а где-то внизу, под глинобитными домиками и петляющими улочками, находится место, где Александр Великий лицом к лицу встретился с Юпитером-Амоном.

Жители Сивы верят, что два храма — в Агурми и другой, тот, что был поменьше и поближе к роднику Солнца, — соединял подземный ход. Они говорят, что под городом Агурми погребен правитель по имени Менеклюш со своим конем. Кто такой был этот Менеклюш, они не знают. Говорят, это — царь, который жил давным-давно и держал у себя во дворце четыре говорящие статуи. Они начинали говорить, стоило только солнечному лучу коснуться их. Эти легенды, без сомнения, тоже имеют некоторое отношение к оракулу.

Бога Амона, по сути дела, двойника фиванского Амона-Ра, в Сиве изображали с человеческим телом и головой барана. Так как древние египтяне небо представляли себе океаном, по которому плавают солнце и луна, то бог, как правило, изображен либо сидящим, либо стоящим в изящной ладье, обшитой листами золота, украшенными чеканкой.

По обеим сторонам золотой ладьи висели серебряные диски, и стоило отодвинуть занавес, и взгляду открывался алтарь Амона из зеленого малахита (слово, обозначающее малахит, часто ошибочно переводилось как «изумруд»). По краям ладьи имелись кольца с продетыми в них шестами, так что в дни празднеств жрецы поднимали ее на плечи вместе с божеством, и процессия шла вокруг храма.

В античные времена оракул в Сиве стоял в одном ряду со святилищами в Дельфах и Додоне. Здесь был

один из самых известных минеральных источников, обладавших мистической силой. В этом диком и отдаленном уголке мира бурлила и клокотала божественная мудрость. В наше время тайны человеческой психики так подробно и глубоко изучены, что нам легко понять, как сильно действовала мистика на сознание античного человека. Разумеется, мы не поднимем на смех тех, кто искренне верил в предсказания оракулов, ведь среди них были и Сократ, и Цицерон. Так сильна была вера в то, что боги направляют действия смертных из таких вот священных мест, что в Древней Греции никогда не отправлялись, например, завоевывать новые земли, не посоветовавшись сначала с Дельфийским оракулом. А был период, когда Юпитера-Амона почитали так, что афиняне держали специальную трирему «Саламиния», всегда готовую переплыть море и доставить в Египет депутацию, которая потом пересекала пустыню и, добравшись до оазиса Сива, обращалась к Амону с каким-нибудь вопросом государственной важности.

Было бы очень интересно представлять себе процедуру прорицания в Сиве так же хорошо, как мы представляем ее себе в Дельфах и Додоне; но, увы, до нас не дошло почти ничего. Дельфийская пифия впадала в экстатический транс, с вершины дуба в Додоне якобы раздавался человеческий голос; возможно, статуя Амона в Сиве совершала какие-то движения головой или руками, а то и разговаривала голосом жреца, признанного переводчиком с божественного. Но можно не сомневаться, что когда люди оставались с глазу на глаз с богом в полутьме святилища, происходило нечто волнующее и в высшей степени убедительное. И паломники уходили отсюда по пылающим пескам пустыни, счастливые тем, что для них приоткрылась завеса между видимым и невидимым.

В 321 г. до н. э. самым значительным гостем Амона в Сиве был Александр Великий, завоевавший Египет. Он не скрывал своего нетерпения встретиться с богом и, ознакомившись с представленным ему планом будущего города Александрия и одобрив его, тут же отправился в Паратоний, а оттуда в Сиву. Ему так не терпелось пообщаться с Амоном, и так непререкаемы были желания молодого властителя мира, что жрецы избавили молодого царя от обычного испытательного срока, который должен был выдержать всякий, прежде чем его допускали к божеству. Александра, запыленного после десятидневного перехода по пустыне, сразу провели в святилище, а люди, сопровождавшие его, отправились помыться и переменить одежду. В полутьме святилища произошел один из самых интересных в истории разговоров: между Александром и Юпитером-Амоном. Нам лишь известно, что бог с бараньей головой подтвердил, что Александр — его сын, и это признание, каким бы нелепым оно ни показалось современному человеку, оказало огромное влияние на жизнь Александра и на его последующее царствование. Любому коллекционеру монет известно, что с этого момента изображенная на красивой серебряной тетрадрахме голова Александра будет увенчана парой бараньих рогов, загнутых вокруг ушей — короной, которую он надевал в самых торжественных случаях в память о божественном родителе.

Многих биографов Александра озадачил этот визит героя к божеству, и они пытаются рационально объяснить его как политический акт. В Египте считалось, что фараон имеет божественную природу, что он сын Солнца, Амона, и, спрашивается, что может быть более естественным, чем желание Александра, завоевавшего Египет, подтвердить свои притязания на египетский трон божественным происхождением. Каким бы правдоподобным ни казалось такое объяснение, оно

нас явно не удовлетворяет. Александр не был циничен, это был одинокий, мечтательный молодой человек, в то же время твердо осознающий свою исключительность. Более того, если бы он просто хотел заручиться одобрением жрецов в своих притязаниях на трон Египта, то мог бы легко сделать это в Фивах, не предпринимая долгого и утомительного путешествия в отдаленное святилище. Если ему не терпелось поразить египтян, почему он не предал гласности результат своей беседы с богом сразу по прибытии в Мемфис, на жителей которого такое известие, безусловно, произвело бы впечатление. Если же этот визит призван был потрясти греков, глубоко почитавших оракул Амона, то почему Александр немедленно не послал гонцов в Афины, чтобы там, в храме Амона, построенном за год до паломничества царя в Сиву, возвестили о его обнаружившемся родстве? Его молчание в Египте и в Греции неопровержимо доказывает, что он считает случившееся личным делом — своим и бога.

Мне легче поверить в то, что Александр действительно верил, что он бог, что вполне соответствовало духу времени, в котором он жил. Я не вижу ничего экстравагантного в том, что царь ехал в Сиву с одним-единственным намерением: получить от самого бога доказательство своего божественного происхождения. Ключ ко всему этому, по-моему, лежит в характере матери Александра Олимпиады, женщины странной, страстной, впечатлительной. Она была дочерью царя Эпира, на земле которого находился знаменитый Додонский оракул. Сива связана с этим святилищем общей легендой: считается, что начало как тому, так и другому положили две черные голубки, прилетевшие из Фив в Египет. Таким образом, еще до рождения Александра для Олимпиады ее родина ассоциировалась с далеким оазисом в Ливийской пустыне.

Олимпиада была не чужда религиозного мистицизма. Говорят, что она встретила своего будущего супруга, отца Александра, Филиппа Македонского, на тайных Кабирских мистериях в Самофракии. Этой странной и загадочной женщине, которую супруг скоро оставил ради подруги попроще, приснился однажды сон, в котором ей открылось, что истинный отец ее могучего сына — не смертный Филипп, а бог.

Александр отнюдь не восхищался своим отцом и, как обычно бывает с такими детьми, находился под сильным влиянием матери. Разумеется, он никогда не проявлял ни малейшего интереса к женщинам своего возраста. На Роксане он женился по чисто политическим соображениям. Так что, по-моему, было бы разумно предположить, что таинственный визит Александра в Сиву — не что иное, как естественное развитие истории молодого человека, сына невротичной и впечатлительной матери, с детства твердившей ему, что он отпрыск бога. Этот молодой человек жил в мире, где таким вещам принято было верить, и он, конечно, воспользовался первым же подвернувшемся случаем, чтобы нанести визит своему «настоящему отцу».

В конце концов, это очень в духе до смешного романтической натуры Александра. Можно вспомнить, например, как, отправившись на одном из своих военных кораблей к Трое, он в полном вооружении встал рядом с рулевым и, когда корабль подошел совсем близко, метнул на пустынный берег сияющее копье, чтобы показать, что Ахилл, его любимый герой, восстал из мертвых. Раздевшись донага, он обежал вокруг гробницы Ахилла. В сражения он брал с собой избитый старый щит, про который, зная любовь царя к подобным древностям, ему сказали, что это реликвия времен осады Трои.

Поэтичность и склонность к мистике передала ему по наследству мать, а когда в мужчине сочетаются поэт и воин, это всегда неотразимо, даже если он плохой поэт и не очень хороший воин. Но если человек — завоеватель мира, и при этом поэт, да еще, к тому же, не чужд некоторой гуманности, как Александр, тогда сложность его натуры в сочетании с безграничной властью придает его личности поистине божественный ореол. Если бы Александр прожил подольше и превратился бы в эксцентричного человека средних лет, или если бы его постигла неудача, возможно, мы бы думали о нем иначе. Потому что только после первого провала окружающие осмеливаются рассмотреть такие характеры получше, проанализировать их и обнаружить, что подобное сочетание черт несколько смешно.

5

Шейх пригласил меня к себе на чай. Я уже говорил, что зеленым чаем в Сиве вас напоят неизбежно, поэтому я безропотно пошел вслед за ним через развалины к пальмовой роще.

Идти было недалеко. Дом шейха оказался большой, квадратной постройкой из глиняных кирпичей. Из верхнего окна на меня быстро взглянули внимательные женские глаза. Мы поднялись по глинобитным ступенькам и оказались на плоской крыше. Нещадно палило солнце. С крыши можно было попасть в несколько комнат. В одной из них накрыли стол: английское печенье, сладкие лимоны, гранаты, бананы, тарелочки с орехами и мягкие чудесные финики под названием «шенгбель», которые вообще-то надо есть прямо с дерева.

Вошли двое или трое молодых людей, сыновья хозяина, мы обменялись несколькими вежливыми

фразами, после чего меня пригласили угощаться финиками и гранатами, а шейх приступил к торжественному ритуалу приготовления чая.

Я с интересом наблюдал за его действиями. Вам окажут большую честь, если попросят разливать чай, но по этикету новичок не должен на это соглашаться; он должен воздеть руки в притворном ужасе и сказать, что не достоин. Человек, приготавливающий чай, называется «султаном», и на любом празднике в Сиве избирают «султана».

Сначала шейх ополоснул небольшие стаканы кипятком из чайника, сняв его с угольной жаровни. Потом открыл специальный ящичек с несколькими отделениями. В одном хранился зеленый чай, в другом — черный, в третьем — мягкий сахар, в четвертом — листья мяты.

Хозяин дома тщательно и скрупулезно отмерил немного зеленого чая, добавил щепотку-другую черного и налил в чайник кипятка. Потом потянул носом воздух и... выплеснул всю заварку. Вторая его попытка оказалась более удачной. Он добавил еще кипятка, налил себе немного чая, отхлебнул раз, потом другой. После первого глотка на лице его появилось выражение сомнения, и я уже решил, что и эта порция пропала; но после второго глотка шейх успокоился и вскоре уже протягивал мне небольшой стакан обжигающего напитка.

Церемония повторилась. Мне передали второй стакан, и на этот раз чай был сладким. Когда я выпил и этот, расточая похвалы, мне приготовили третью порцию — сладкий чай с мятой.

По этикету положено выпить не меньше трех стаканов. Отказываться нельзя. Жители Сивы верят, что чай полезен всем, а если вам вдруг сделается нехорошо от слишком большого количества выпитого, они рекомендуют закусить сладким лимоном.

Мне предложили полюбоваться позолоченным ятаганом, который подарил хозяину дома король Фуад. Я любовался, положив его на колени, а меня в это время угощали сладким лимоном, а потом гранатом, который я в последний раз ел, когда был ребенком. Это странный, слегка разочаровывающий плод. Откроешь его, и кажется, что открыл коробку с рубинами, а в результате — полный рот зернышек и сладкая, со слабым запахом, водичка.

Шейх отгонял мух пальмовой ветвью. Он настойчиво угощал меня печеньем, сделанным в Рединге. Его появление в Сиве — романтическая превратность коммерции.

Наш разговор был так тривиален, что мы сошли бы за двух королей на официальной встрече. Я не задал ему тех вопросов о Сиве, которые хотел бы задать, и, воздав множество похвал чаю, ушел именно в тот момент, когда по этикету уже можно было удалиться.

6

Однажды днем я выглянул из окна гостиницы и увидел группу людей, которые устанавливали во дворе что-то очень похожее на виселицу. Мне сказали, что перед отъездом в мою честь устраивается праздник, а «виселица» нужна для того, чтобы повесить карбидную лампу.

В тот вечер, около девяти часов, едва луна посеребрила пальмовые рощи, на осликах стали съезжаться шейхи и прочие гости. Я вынес из гостиницы все стулья и расставил их полукругом напротив «виселицы». Самый большой стул предназначался для Мамура, три следующих по величине — для врача, офицера «верблюжьего корпуса» и для меня. По обе

стороны от нас расселись шейхи и другие уважаемые люди.

Я послал за фунтом чая, но к этому времени был уже достаточно знаком с местными обычаями, чтобы не поручать своему повару приготовить его. Когда шейхи собрались, я сказал, что пришло время выбрать «султана». Последовала глупейшая лицемерная сцена: сначала один шейх уверял, что он недостойн такой чести, потом другой, потом третий, пока наконец не пришлось самого важного из них, который был бы глубоко оскорблен, если бы его не выбрали, чуть ли не силой волоочь к жаровне. Он потратил изрядную часть моего чая, заваривая и выплескивая заваренное. Я уже начал волноваться, хватит ли моих запасов.

Наконец вкус удовлетворил его чувствительное нёбо, и он сотворил в большом жестяном котелке горький напиток, который все собравшиеся сочли лучшим чаем, который когда-либо был заварен в Сиве. Держа в руках маленькие стаканчики, взятые мною напрокат в полицейском участке, мы сидели в лунном свете, ожидая, пока из дальней деревни приедут танцоры.

Вскоре слышались звуки тамтамов. Кто-то зажег карбидную лампу, и она белым, более ярким, чем лунный, светом озарила круг довольно значительного радиуса.

Танцоры приближались, и вскоре кроме тамтамов стали слышны еще и флейты, а люди время от времени издавали дикие крики, ритмично повторяя одну и ту же фразу, жалостливый вопль, который прерывался так же внезапно, как и начинался. Наконец в круге света появилась довольно дикая на вид компания во главе с гаффиром, вооруженным длинным кнутом, и полицейским с винтовкой — странные сопровождающие для танцевальной труппы!

Прежде чем станцевать, они выпили изрядно лубчи. Таким образом мужчины и юноши — женщин среди танцоров не было — привели себя в надлежащее состояние экзальтации. Они захлопали в ладоши и закружились вокруг барабанщика и двух флейтистов.

Усевшись на землю, музыканты исполняли нечто монотонное, но приятное. Я пожалел о том, что недостаточно музыкально образован, чтобы записать это. Думаю, технически их музыка есть не что иное, как хот-джаз. Этот, однако, был еще на несколько градусов горячее, чем тот, что мне доводилось слышать даже в Гарлеме. В этой музыке звучали дикость и страстность Ливийской пустыни, ее заунывная, исстрадавшаяся от жажды красота.

Танцоры в какой-то момент пропели ту самую фразу, которую мы слышали, когда они еще только приближались. Это было сиванское наречие. Египетский доктор, например, его не понимал. Я попросил одного из шейхов перевести мне, о чем собственно эта песня.

— Это песня о любви, — сказал он. — Они поют о том, что красота любимой так велика, что даже ночью влюбленный не может сомкнуть глаз...

Сам танец представлял собой зрелище странное и довольно примитивное. Танцоры окружили музыкантов и то подпрыгивали с дикими криками, то, наоборот, забавно припадали к земле. Еще у них было такое, например, необычное танцевальное па — все, как по команде, словно пораженные внезапным общим безумием, нагибались и совершали три прыжка вперед. Такие серии прыжков выполнялись неукоснительно через равные промежутки времени — видимо, для ритма, и были, в сущности, ничуть не комичнее танцев, вошедших в моду в последние двадцать лет. Во время войны, например, появилось танцевальное движение, состоящее из трех коротких перебежек и следующего за

ними падения. Надо сказать, что танцы жителей Сивы выгодно отличаются от подобных изысков.

Самое ужасное в таких танцах, исполняются ли они в Лондоне или в Сиве, — это их монотонность. Лубчи сделал свое дело — танцоры были неустойчивы. Мне сказали, что они могут продолжать целую ночь.

Я разговорился с молодым доктором. Это был египтянин, который много лет прожил в пустыне и в Сиву переехал из Бахари, оазиса, где, как он рассказал мне, танцуют не мужчины, а женщины. Они исполняют довольно странный древний танец, в котором участвуют только бедра: стоя спиной к зрителям, танцовщицы двигают ими под барабанную дробь и флейты. Бахарийских женщин держат взаперти, кроме тех вечеров, когда они танцуют.

— Помню, однажды, — рассказал доктор, — мне пришлось пойти к шейху и сказать ему, что если я не смогу осмотреть его жену, то она может умереть. «Хорошо, — ответил он. — Но как только она выздоровеет, я с ней сразу же разведусь». И так и сделал!

— Как вам аборигены? — спросил я.

— Они... первобытные люди. Если антрополог изучает первобытного человека, ему не нужно откапывать из земли черепа, которым тысячи лет, — нужно просто приехать в оазис и посмотреть на живых. Все обычаи и верования Древнего Египта, теряющиеся в глубине веков, здесь сохранены, и каждому практикующему врачу, попавшему сюда, приходится столкнуться с колдовством.

В круге света, отбрасываемого лампой, появилась весьма жеманная пожилая женщина с ярко-рыжими волосами, накумаренными щеками, униженными перстнями пальцами. Она была закутана в одежды кричащих цветов и обута в темно-красные арабские туфли из мягкой кожи и без задника.

— Кто это? — шепотом спросил я доктора.

— Танцовщица, — ответил он. — Она приехала сюда из Триполи давным-давно. Тогда она была очень красива, и мужчины по ней с ума сходили.

С появлением женщины образовался еще один круг. Еще один ударник и еще один флейтист уселись посередине. После долгих кокетливых приготовлений танцовщица сделала неуловимое, очень плавное движение и оказалась в середине круга. Лицо ее скрывала черная чадра, чему я очень удивился, поскольку пришла-то она без чадры.

— Женщина не должна танцевать без чадры. Таков обычай, — объяснил врач.

Я надеялся, что красotka из Триполи внесет некоторое разнообразие в происходившее, но ее танец, состоявший почти исключительно из ритмичного покачивания бедрами, оказался столь же утомительным, как движения танцоров в соседнем круге. Она проделывала все это примерно час, потом к ней в круг вошел мужчина, и они стали танцевать вместе. Если, как считают некоторые, танец изначально произошел от сексуальных движений, — что ж, тогда я стал свидетелем едва ли не самого древнего из всех танцев.

Мне показалось, что первое исступление должно было уже пройти, но танцоры оставались все так же свежи. Москиты жалили немилосердно, и я предложил закончить и разойтись.

Полицейский с винтовкой и человек с кнутом немедленно бросились в гущу танцующих, но те никак не желали останавливаться. Они сказали, что будут танцевать, пока музыка играет. А музыканты в свою очередь заявили, что будут играть, пока хоть кто-то хочет танцевать. Случалось мне слышать такое и прежде, но очень далеко от этих мест!

Наконец компромисс был достигнут. Музыкантов уговорили вернуться, не прерывая своей игры, в город. И

как только они двинулись, танцоры потянулись за ними, как пчелы за своей королевой.

Звуки тамтамов и монотонное пение замерли вдали: но тамтамы били в Сиве всю ночь, и лишь незадолго до рассвета танцоры упали на песок без сил.

7

Я проснулся без четверти пять. Луна все еще сияла на небе. Было слышно, как слуги во дворе собираются в дорогу. Посмотрев в окно, я увидел спящую Сиву, омываемую волнами зеленого света. На песке виднелись следы ног. Темные неподвижные деревья, безлюдная деревня на холме — все это напоминало кладбище.

Накануне вечером мы купили несколько яиц, и теперь позавтракали ими при свете керосиновой лампы. Луна все еще сияла, когда в шесть часов, при первых проблесках зари, мы отправились в путь. Пролетевшая мимо нас птичка издала нежную трель, но я, как ни вертел головой, не сумел разглядеть ее. Кто-то сказал, что это была хадж-мавла, — они водятся только в Сиве.

Патрульная машина с ревом проехала по песку, и мы снова оказались в безмолвной, спящей деревне. Мы остановились у полицейского участка, где наш водитель оставлял свою винтовку. Повар-суданец и слуга, сжавшись, сидели в патрульной машине, обмотав головы белой тканью, как будто маялись зубами. Они поворачивали свои темные лица, чтобы взглянуть на обшарпанные стены и темные тупики, иногда поднимали взгляд к теряющимся в чернильной тьме очертаниям покинутой деревни, башенкам, чуть тронутым зеленоватым лунным светом. Эти люди были странно спокойны. Из участка вышел водитель с винтовкой и патронташем. Он повесил патронташ через плечо, прислонил винтовку к сиденью и наконец уселся на свое

место. Часовой отдал честь, пожелал нам счастливого пути, и мы понеслись к белым лунным холмам. Я взглянул назад и увидел Сиву под звездами, которые уже бледнели в преддверии начинавшегося нового дня. Некоторое время луна оставалась у нас слева, а розоватая заря нового дня — справа. Скоро восток яростно раскалился, и, как раз когда мы доехали до плато, над пустыней показался край пылающего солнца. Вскоре оно уже сияло над пустыней, воздух стал нагреваться.

Весь день мы ехали по этой суровой земле на север. Мы видели, как солнце перемещается по небосводу. Устали, взмокли, нас мучила жажда. Мы видели, как зажглись первые звезды. Примерно через час после того, как стемнело, при свете фар мы увидели верблюда и поняли, что близок край плато и, значит, нам предстоит длинный спуск к морю, в Мерса Матру. Еще немного — и внизу зажглись огни города у моря.

Утром, когда на востоке занималась заря нового дня, я сел в машину Михаила, и мы поехали вдоль берега, направляясь в Александрию. Это была бурая равнина, деревни, которые мы проезжали, не радовали глаз ни единым деревцем, но иногда слева, за песчаной полосой шириной в милю, показывалась голубая лента Средиземного моря. Мы купили бензин в деревушке, построенной из жестянок и населенной людьми, похожими на скульптурные изображения Цезаря.

С наступлением темноты мы увидели огни ровной, плоской, простиравшейся на многие мили Александрии, и вскоре уже плутали в лабиринте ее улиц.

Глава третья Александрия

Я совершаю прогулку на остров Фарос, осматриваю место, где был знаменитый маяк. В Александрии беседую о возможном месте захоронения Александра Великого.

1

Александрия ночью выглядит прекрасно. Жемчужное ожерелье огней отражается в спокойной воде, воздух теплый, пальмы в садах застыли в безветрии.

Первейшие заботы путешественника, пришедшего из пустыни, — принять ванну и сходить в парикмахерскую. Мой парикмахер — думаю, это стоит отметить — был греком. Александрия — все еще один из самых крупных греческих городов в мире, и если человека, который никогда не был в Афинах, привезти сюда с завязанными глазами и сказать, что это столица Греции, он не сразу обнаружит подлог. Вывески на магазинах написаны почти теми же буквами, которыми пользовался Платон. Везде продаются греческие газеты, а почитать их можно в какой-нибудь греческой кафешке, где вам нальют узо или рецины.

Мой цирюльник, подвижный человек с блестящими глазами, сразу заявил о своей неувядаемой любви к Англии. Я просто краснел, слушая перечисление добродетелей, которые он нам приписывал, но поделаться ничего не мог, потому что собеседник с бритвой в руке всегда в привилегированном положении. Одно время он работал в Лондоне, недалеко от Пикадилли, и тот факт,

что я там иногда стригся, в его представлении уже являлся основанием для нашей взаимной симпатии. Он завел со мной разговор о «старом добром Лондоне». Спросил меня, пользовался ли я специальным бальзамом для волос, который продавался в заведении, где он работал, и я ответил, что да, пользовался. Мы сошлись на том, что снадобье стоило баснословно дорого. Внезапно красивым жестом — греки очень склонны к театральности — он открыл шкафчик, где оказалось полно бутылок.

— Я сохранил рецепт! — гордо воскликнул парикмахер. — Это та же смесь... в точности та же, сэр! Три шиллинга — только для вас!

В каждом греке, встреченном мною в жизни, я обнаруживал сходство, быть может, несколько искаженное, с хитроумным Улиссом: разумеется, я купил бутылку, и, насколько могу судить, это действительно был тот же бальзам.

Тем же вечером я сидел за столиком в холле моего отеля. За соседним столиком скучал молодой англичанин. Мне показалось, что он, как и я, — чужой в этой стране, и между нами легко завязался разговор. Слушая его рассказ о себе, я поражался тому, какие странные занятия умеют находить себе люди. Он работал в фирме, производившей шоколад, — в его обязанности входило выяснять, какой шоколад любят египтяне и почему они его любят. Это, видимо, называется подходить к торговле с научной точки зрения. Но сидя в холле гостиницы в Александрии рядом с хорошо одетым, образованным, общительным молодым человеком, мне было довольно дико представить себе, что дело его жизни — ходить и спрашивать местных жителей, какой шоколад они предпочитают: с орехами или обыкновенный. Он показал мне только что полученную телеграмму — ему поручали разузнать,

почему продукция конкурирующей фирмы так хорошо продается в Багдаде.

— Вы хотите сказать, что специально поедете в Багдад, чтобы выяснить это? — спросил я.

— О, это ведь не так далеко, — ответил он. — Я туда слетаю.

— А что будете делать по возвращении?

— Полечу на Кипр, — ответил он.

В общем, он был послом своей компании, а мне показался не менее странным, чем любой персонаж «Тысячи и одной ночи».

Примечательно, что Александрия, которая еще столетие назад лежала в руинах, оставшихся от Средних веков, можно сказать, восстала из гроба не арабской, а почти европейской. Этот город никогда не был египетским, он — веточка Европы, привитая к Африке. В эллинистические времена это было греческое и в значительной степени еврейское поселение, а сейчас — левантийский город.

Поспешное утверждение, что «в Александрии нечего смотреть», неверно. Взять хотя бы берег у Восточной гавани. Он помнит Александра, Птолемея, Цезаря, Клеопатру, Антония, семьдесят толковников, переводивших Септуагинту, святого Марка, сходящего на берег с галеры, епископа Александра, наблюдающего, как святой Афанасий ребенком играет в крещение на берегу моря.

Некоторые части Александрии красивы, но непонятно, почему же другие так уродливы. Я мог бы этого и не заметить, если бы в моем сознании не существовало образа великолепного погибшего города. Александрия удовлетворит самый взыскательный вкус, если смотреть на нее с борта корабля, с моря, откуда много веков назад вы увидели бы мраморный город, который знала Клеопатра. Здания из бетона смело

соседствуют с оштукатуренными домами; и даже начинает казаться, что в море по-прежнему высится великий Фаросский маяк, что над городом все еще вздымает стены из бледного мрамора Мусейон, а Канопская дорога с колоннами неторопливо ведет от ворот Солнца к воротам Луны.

Утром я предпринял прогулку на остров Фарос, известный в наши дни как форт Кейт-Бэй. Форт стоит на скалистом нагорье, образующем северный рукав Восточной гавани, и соединен с сушей узкой дамбой.

Под фундаментом крепости XV века еще сохранились части основания одного из чудес света, александрийского маяка. Старый форт сейчас необитаем, гарнизона там нет. Я прошелся по похожим на пещеры комнатам, выглянул в амбразуры, спустился по каменным ступеням, слушая, как волны разбиваются о северную стену, обращенную к морю.

Форт построен на массивной скале, и некоторые гранитные глыбы, которые лежат в море вокруг него, — возможно, от более старого здания. Здесь много огромных кусков асуанского мрамора, которые можно разглядеть только с моря.

Когда арабы завоевали Египет, Фаросский маяк еще действовал. Говорят, высота его равнялась шестистам футам, что почти вдвое выше собора Святого Павла в Лондоне. Каменное здание состояло из нескольких башен — каждая следующая, расположенная выше предыдущей, сама по себе имела меньшую высоту. Первый этаж был в плане квадратный, второй — восьмиугольный, а сам фонарь — круглый.

Камни скреплял расплавленный свинец, который надежнее, чем цемент, учитывая постоянные атаки морских волн. Говорят, там было триста комнат и наклонная дорога вела в нижнюю половину здания так плавно, что спокойно могли проехать повозки. Они

подвозили дрова, а когда с ослов сгружали поклажу, то ее поднимали наверх специальным механизмом.

Древние авторы пишут, что маяк с моря замечали на расстоянии девятнадцати миль, но никто до сих пор не выяснил, пользовались ли греки усиливающими линзами. Всем так хотелось восхищаться и восхвалять, что никто не позаботился объяснить потомкам, как был построен маяк и откуда брался свет. Наверно, летописцы думали, что все и так это знают, и даже представить себе не могли, что наступят времена, когда от огромного сооружения не останется камня на камне.

Арабские хронисты раздражающе туманно пишут об «огромном зеркале» на вершине маяка, которое можно было развернуть так, чтобы оно улавливало солнечные лучи и вспыхнувшее пламя сжигало бы корабли неприятеля. Согласно другой легенде, глядя в это зеркало, можно было увидеть корабли, находившиеся неподалеку от Константинополя! Если сложить вместе все рассказы о «зеркале», получится описание телескопа и линзы. Пишут, что оно было сделано из «прозрачного камня». Судя по всему, имеется в виду стекло.

Вот как пришел конец Фаросу. В IX веке христиане послали из Константинополя лазутчика — разрушить маяк, потому что им слишком успешно пользовались мусульманские мореходы. Посланец Константинополя выполнил задание таким образом, что у нас есть все основания подозревать в нем соотечественника Улисса.

Втершись в доверие к халифу аль-Валиду, он нашептал ему, что под фундаментом маяка спрятаны огромные сокровища. А на Востоке нет лучшего способа разрушить здание, чем сказать такое.

Когда от Фароса уже почти ничего не осталось, арабы заподозрили, что их обманули. Они попытались отстроить маяк из кирпича, но не смогли установить наверху огромное зеркало. Драгоценная реликвия,

которая, сохранилась она до наших дней, объяснила бы тайну Фароса, упала с большой высоты и разлетелась на куски.

О руинах маяка потом забыли, но их еще можно было увидеть до 1375 года, и сейчас можно было бы, если бы после землетрясения их не смыло в море.

Арабы называли маяк «Фарос манар» — «место, где горит огонь». Слово этимологически связано с еврейским менора (место света) — так называется еврейский семисвечник. Это манар позже превратилось в минарет или минарет — название молитвенной башни в мечети. Я где-то читал, что и с архитектурной точки зрения Фарос был прародителем минарета, но доктор Кресвелл, крупный авторитет в таких делах, говорит, что самым ранним из известных минаретов является башня в Дамаске.

2

В Александрии я познакомился с человеком, который верит, что тело Александра Македонского спрятано под этим городом и его однажды найдут. Эта теория вовсе не так фантастична, как кажется, и это доказывает хотя бы то, что ею интересуется человек, как никто разбирающийся в археологии Александрии. Это М. Бречча, в прошлом главный хранитель городского музея.

После того, как тело Александра доставили из Вавилона в Александрию, его поместили в склеп, где хоронили всех Птолемеев, в том числе знаменитую Клеопатру. К гробнице Александра, сделавшейся главной достопримечательностью этой необыкновенной коллекции, наверняка был открытый доступ. Александра похоронили «по-македонски», то есть гроб поместили на каменный постамент. Он находился в комнате с открытой дверью, ведущей в помещение с каменными

скамьями и алтарем посередине. Сюда иногда приходили члены семьи с приношениями и едой, как приходят современные мусульмане на кладбища под Каиром. Несколько подобных гробниц периода эллинизма недавно раскопали в Хатби, неподалеку от Александрии. Разумеется, они не так великолепны, как, вероятно, была гробница великого завоевателя.

Мумия Александра покоилась в золотом гробу до правления Птолемея IX, который расплавил золото, чтобы заплатить сирийским наемникам. Мумию переложили в хрустальный гроб, в котором ее и увидел Страбон, посетив Александрию в 24 году н. э. Римские императоры относились к могиле с почтением. Ее посетил Август. Каракалла оставил на ней в знак уважения плащ, пояс и драгоценности. Вероятно, и тогда, в поздний период, тело Александра покоилось в хрустальном гробу.

Нет сведений о том, когда именно была разграблена могила: во время революций и войн в III веке или после арабского вторжения, когда вся Александрия превратилась в руины. Очень маловероятно, что гробницу, столь почитаемую греками, римлянами и арабами — Александр упомянут в Коране как герой, — обчистили обыкновенные разорители могил.

О том, что могила потерялась среди руин царских дворцов, свидетельствует хотя бы фраза из проповедей святого Иоанна Златоуста. «Где, скажите мне, где сема Александра?» — вопрошает он о могиле Александра, как о чем-то безнадежно неизвестном. Итак, в конце IV века могила Александра Македонского была утеряна.

Археологи считают, что на том месте, где раньше была гробница Александра, сейчас находится древняя мечеть с мощами почитаемого святого, предположительно пророка Даниила. Те, кто придерживается мнения, что тело царя не пострадало при разорении могилы, а просто было утрачено, верят,

что этот Даниил и есть Александр. «Все указывает на то, что гробница Александра находилась поблизости от мечети Неби Даниель, если не под самой мечетью», — говорит Бречча. Согласно этой теории, арабы, найдя безымянную роскошную гробницу, выбрали ей достойное имя, назвав в честь пророка Даниила, и построили на этом месте мечеть.

Фундамент под мечетью никогда не трогали; стоило кому-нибудь предложить это, сразу возникали возражения религиозного характера. Версия, что Даниил и есть Александр, вовсе не нова, ей уже много столетий. Когда выдающийся путешественник Джордж Сандис, чьи останки ныне покоятся в церкви аббатства Боксли недалеко от Мейдстоуна, посетил Александрию в 1610 году, ему показали особенно почитаемый прихожанами угол мечети — считается, что именно здесь лежит тело Александра.

Семьдесят восемь лет тому назад новый толчок разговорам на эту тему дал человек по фамилии Шилицци, переводчик, состоявший на службе в русском консульстве. Он заявил, что в 1850 году спустился в подвалы под мечетью и наткнулся на деревянную дверь с отверстием. Заглянув внутрь, он увидел «человеческое тело с головой, увенчанной короной», хранящееся в стеклянном сундуке. Человек полулежал, насколько можно было рассмотреть при тусклом свете, на троне или некоем возвышении. Вокруг были разбросаны книги и папирусы.

Эта история всегда считалось байкой, и серьезные люди не придавали ей никакого значения. И все же, даже если счесть Шилицци вруном, нельзя отрицать, что он озвучил традиционную точку зрения, существовавшую веками.

Мечеть — она находится рядом с трамвайными путями, проложенными по улице Неби Даниель — была закрыта по случаю какого-то праздника, когда я

пришел. Это обыкновенная мечеть с минаретом и несколькими куполами и маленьким симпатичным садиком, где растет несколько пальмовых деревьев.

Глава четвертая

Каир

По дороге в Каир я сравниваю жизнь современного и древнего сельского Египта. Наблюдаю улицы современного Каира. Вспоминаю открытие гробницы Тутанхамона. Посещаю каирский зоопарк.

1

Утренним поездом я выехал из Александрии в Каир. Три часа, пока поезд шел на юг, я сидел у окна белого пульмановского вагона и смотрел на Египет.

Равнина простиралась до горизонта — то изумрудно-зеленая от посадок маиса и сахарного тростника, то шоколадная — там, где поля были вспаханы, — земля, залитая солнечным светом. Мимо проплывали густые рощи финиковых пальм и банановые плантации, где желтые плоды висят среди огромных, похожих на лохмотья или на слоновьи уши листьев.

По дамбе, возвышающейся над полями примерно на двадцать футов, от дельты идет оживленное движение: медленные цепочки верблюдов, выгибающих шеи, тянутся к ближайшим рынкам, ослики трусят по пыльной дороге, с веселой готовностью неся на спинах груз, значительно превышающий вес седока. Иногда встретятся смуглые девочки, гуськом идущие за водой с кувшинами на головах, а за ними, словно присматривая за детьми, следует стадо коз. И девочки, и козы — по щиколотку в черной мелкой взвеси. Это пыль — одиннадцатая казнь египетская.

Вот феллах на своем поле, который за много веков изменился меньше, чем кто-либо другой в Египте. Он работает мотыгой, какие можно встретить в музеях (там они снабжены табличкой «3000 г. до н. э.»), или идет за плугом, который тянут двое черных быков или бык и верблюд. Такие плуги можно увидеть на стенах гробниц времен Древнего царства.

По дороге из Александрии в Каир я то и дело видел через окно загорелых до черноты молодых и пожилых мужчин, сидящих по берегам ирригационных каналов, бесконечно крутя ручку приспособления, напоминающего узкую деревянную бочку — с его помощью качают воду из канала и заставляют ее течь вверх.

Эти бедные смуглокожие люди качают жизнь в жилы Египта. День за днем, год за годом, век за веком они выполняют свою монотонную работу, перемещая воду из одного места в другое, и если они перестанут это делать, земля Египта высохнет и превратится в пустыню. Приезжий посмотрит на эти сельскохозяйственные машины с изумлением, потому что эта штука, которую они сегодня вертят в дельте Нила, есть не что иное, как коловорот для передачи воды, который Архимед изобрел за двести лет до Рождества Христова.

Поезд миновал деревню за деревней, многие из них смотрелись очень живописно среди пальмовых рощ или на берегах голубых каналов, где стояли на якоре кораблики с зарифованными парусами, похожие на бабочек со сложенными крыльями.

Дома в этих деревнях напоминают маленькие коричневые двух- или трехэтажные коробки из глины. Крыши и потолки — из необработанных пальмовых стволов, они же выступают из стен. На плоских крышах то и дело попадаются причудливые голубятни. Вокруг них порхают сотни голубых и белых птиц.

Смуглые детишки, индюки, цыплята, ослы, верблюды, буйволы толкуются в тесных пыльных двориках между домами, а женщины, уже не молодые в двадцать пять и старые в тридцать, сидят у дверей домов или под эвкалиптами и акациями, перетирая маис в кукурузную муку, или пекут лепешки в духовках на открытом воздухе.

Совершив даже короткое путешествие по железной дороге, вы поймете, что в жизни египтян два главных фактора: солнце и Нил. Благодаря реке, на узенькой зеленой полоске, которая собственно и есть Египет, можно жить, а к солнцу, как к магниту, тянутся растения.

С начала всяческой цивилизации египетское земледелие зависело от ежегодных разливов Нила, от свежего ила, который река приносит с абиссинских нагорий и распространяет по всей долине. Этот ил повышает уровень суши на четыре дюйма в столетие, и потому долина Нила в наши дни на семь футов выше, чем была во времена Клеопатры, и примерно на двадцать-тридцать футов выше, чем когда возводились пирамиды.

Каждый год природа тщательно расстилает новый ковер ила, на котором египтяне выращивают урожай. В древности сеяли, в основном, пшеницу. Всего лишь век назад в Египте стали возделывать хлопок, и это повлекло за собой серьезные изменения в ирригационной системе. Вода из Нила, которая раньше поступала только во время паводка, теперь хранится в запрудах и подается тогда, когда требуется, так что кроме ежегодных разливов действует еще и искусственное орошение, что позволяет собирать два-три урожая в год вместо одного. Вот почему, когда путешествуешь по Египту, часто кажется, что все времена года соседствуют на участке в несколько акров.

Тут поля коричневые — недавно распаханы, там — уже зеленеют, а вон с того поля уже пора собирать урожай.

Мирная сельская местность сменяется окраинами Каира, и вечное, яркое солнце выхватывает из серости и запустения скопище хижин и лачуг. Над низенькими плоскими крышами возвышаются пальмы и минареты, в воздухе парят ястребы, глядя вниз, на землю.

2

Тоскливый крик коршуна — один из обычных утренних звуков Каира. Эти крупные коричневые птицы, у которых размах крыльев достигает иногда пяти футов, веками очищают улицы Каира от мусора. Никто в Египте не осмелится убить коршуна. Это значило бы навлечь на себя беду. Есть поверье, что если коршун кружит над чьим-нибудь балконом или окном — здесь кто-то умрет. Коршунов в Древнем Египте почитали не меньше, чем ибисов и кошек.

Каждое утро я со своего балкона наблюдаю за этими птицами. Они не боятся человека. Мне часто случалось видеть, как они снижаются и, не сбавляя скорости, прямо из-под носа уборщика хватают когтями какую-нибудь падаль. Они любят усесться повыше, например на верхушки флагштоков, и тогда напоминают орлов, охраняющих улицы города.

Некоторые верят, что коршун никогда не нападет на живое существо, но мои каирские друзья уверяют, что они видели, как птицы взмывают в небо с крысой или змеей в когтях. Один знакомый рассказывал, что коршун унес котенка с его балкона; другой — как коршун испортил пикник, накинувшись на блюдо с рыбой.

Эти птицы, теперь столь редкие в Англии, когда-то были очень распространены во всех городах. Те, кто приезжал в Лондон четыре века назад, упоминают в

своих записках издаваемый ими характерный свист и рассказывают, как птицы подбирают отбросы на улицах. Есть старая английская пословица: «Стервятнику никогда не стать соколом», которая по смыслу соответствует другой: «Из свиного уха не сошьешь шелкового кошелька». Правда, в наш демократичный век, когда стоит лишь открыть кошелек — увидишь ворсинки простой подкладки, она не в ходу.

Стоя однажды утром на балконе, я получил наглядную иллюстрацию одной шекспировской строчки. В гостиничном хозяйственном дворике натянуты веревки для сушки салфеток и скатертей. Несколько салфеток упали, и я сам видел, как коршун «нырнул» и не поддающимся описанию, неуловимым, сколько ни наблюдай, движением схватил одну из них когтями и взмыл вверх.

«А в пору, когда коршун начинает вить гнездо, не брезгуя и мелким бельем»^[2], — говорит Автолик в «Зимней сказке». Это признание непонятно до тех пор, пока своими глазами не увидишь, как коршун уносит льняную салфетку, чтобы пристроить ее между прутиками своего гнезда.

Как приятно завтракать на нагретой солнцем террасе отеля! По улицам цокают копыта лошадей, запряженных в открытые коляски. Школьники вполне европейского вида, если не считать фетровых фесок, похожих на цветочные горшки, у них на головах, степенно шествуют в школу с книгами под мышкой.

Улицы современного Каира — широкие и просторные, романтичный Каир, столь милый нашим дедушкам, быстро исчезает. Он все еще чувствуется в муравейнике узких улочек, всегда запруженных транспортом, в переулках с маленькими магазинчиками, на базарах, манящих запахами мускуса и розового масла, ладана и кофе, где, если пожелаете, можно

провести целый день за приятной беседой о возможной покупке, а потом уйти, так ничего и не купив.

Здесь стоят рядами великолепные здания, построенные из огромных глыб камня медового цвета, столетия назад взятых из разобранных пирамид. Минареты Каира высоко поднимаются над крышами окружающих зданий. Сильнейшее впечатление производит мечеть Мохаммеда Али на высокой скале Цитадели, с ее изящными турецкими минаретами, парящими над Каиром, как мечта о Босфоре.

В западной части города протекает Нил, река, дающая жизнь, спокойная и синяя в жаркий день. Она — мать Египта, а солнце — его отец. Экскурсионные кораблики и пароходы, обычно курсирующие по Нилу, стоят на якоре у берега. Флотилии суденышек со стройными мачтами и белыми парусами движутся по реке. Некоторые медленно плывут вниз по реке, груженные сахарным тростником, зерном, рисом, хлопком.

Каирская толпа так же разнообразна, как сам город. Можно встретить каирца в европейском костюме и с тарбушем на голове. Он сидит в открытом кафе за чашкой турецкого кофе, жадно вычитывая из газет политические сенсации — ведь Египет не вылезает из кризиса, — и лениво подставляет чистильщику обуви сначала один ботинок, потом второй.

Дамы из богатых слоев общества, которые еще несколько лет назад ездили по улицам в сопровождении рабов, теперь сами водят машины и посещают танцевальные вечера в отеле «Шепардс». Но в бедных кварталах Каира женщины все еще прячут лицо под чадрой. Они иногда появляются в центре, приезжают с окраин города или из пригородов, по пять-шесть человек, в двуколке, которую тянет ослик. Иногда повозка останавливается перед средневековыми воротами, Баб эль-Митвали, и одна из женщин выходит,

чтобы привязать к ним кусочек тряпочки или выпавший зуб. Здесь полно подобных реликвий. Их развешивают, чтобы задобрить духа, который, говорят, живет за воротами.

Из части Каира, где жизнь не менялась со времен халифов, очень быстро можно попасть в другую — где мотоциклы, звуки саксофонов, кино, радио и другие яркие достижения современной цивилизации доступны по ценам, значительно превышающим истинные.

3

Я был в Египте в 1923 году, очень давно, как раз когда обнаружили мумию Тутанхамона. Мне оказали честь — пропустили в гробницу, когда сокровища еще лежали покрытые пылью, накопившейся за три тысячи лет. Эти удивительные вещи, под которые теперь отведен этаж в Каирском музее, — самые знаменитые древности в мире. Приехав в Каир, люди сразу отправляются в этот музей, а выйдя оттуда, говорят, что ради одного этого стоило приехать в Египет [\[3\]](#).

Честно говоря, меня мучили сомнения, я почти боялся идти в музей. Пятнадцать лет назад, день за днем просто сидя около гробницы, я наблюдал, как сокровища выносят на свет божий после тридцати веков темноты. Покажутся ли они мне чудесными теперь, под стеклянными колпаками, в присутствии зрителей, фланирующих по залам и то и дело поглядывающих на часы — не пора ли закрывать?

И все же в одно прекрасное утро я отправился в музей и по короткой лестнице поднялся на этаж, отведенный под эти великие сокровища. Золото сверкающее, золото блещущее, золото розовато-красное, золото почти тусклое, золото в слитках и в тончайших листах, — везде, сколько я мог видеть из

залитого светом коридора, сиял этот металл, ради которого люди предают и обращают в рабство себе подобных с тех пор, как создан этот мир.

Пока я в изумлении — о первом впечатлении от этих сокровищ невозможно рассказать никому, кто их не видел — смотрел, мне вспомнились суровые слова святого Павла (1 Тим 6-7):

«Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести...» Этот фараон все же попытался унести.

Пятнадцать лет назад я видел вещи такими, какими их нашли. Они лежали в беспорядке, часто одни на других, так, как их положили три тысячи лет назад. И самое мое яркое воспоминание — две статуи в человеческий рост, застывшие у стены, как бы говоря: «Стой! Дальше ни шагу!», и у обеих — лицо умершего, но только черное.

Эти две статуи, теперь под стеклянными колпаками, — первое, что ты видишь при входе в музей. Они по-прежнему охраняют сокровища, как охраняли их три тысячи лет назад: в левой руке жезл, в правой — золотой скипетр. Я смотрел на них, и во мне оживали давние ощущения. Оказалось, что подолы помнят пологие ступеньки из известняка, ведущие в гробницу. Я вновь почувствовал горячую духоту и неопиcуемый запах древности. Красота и волшебство сохранились, но здесь, в музее, ничего не осталось от драматизма тех мгновений. А как эти статуи потрясали в полумраке гробницы, среди поваленных ваз и колес от колесниц, которые там действительно преграждали путь к телу царя.

Как хорошо их отчистили! Когда я увидел статуи впервые, золото было тусклым, с красными прожилками, похожими на запекшуюся кровь. Они стояли в душном склепе из песчаника, пока строились Афины,

поднимался Рим, возникали Лондон и Константинополь — долго, очень долго пробыли они на одном месте.

И еще я вспомнил, что три тысячи лет назад кто-то накинул на них льняные покрывала, а через много веков лен темно-коричневой тонкой паутиной свисал с их рук. От прикосновения он рассыпался в пыль. Теперь на фигурах нет покрывал. Они застыли, сделав широкий шаг вперед, и смотрят в вечность, как смотрит сфинкс, как смотрят все египетские статуи — твердо, почти вызывающе.

Очарованный, я переходил от экспоната к экспонату. Ни одна фотография, даже цветная, не может дать даже приблизительного представления о красоте и тонкости этих вещей. Искусства художников, золотых и серебряных дел кузнецов, резчиков по дереву, кости и алебастру, живших в Египте три тысячи лет тому назад, никому не удалось превзойти.

Я видел маленькую буханку хлеба, испеченную три тысячи лет назад, чтобы накормить Ка, двойника фараона. Она так и лежала в формочке из пальмовых волокон, в которой ее отправили в духовку.

Еще сохранились венки и букеты — теперь они напоминают коричневую бумагу и стали ломкими, как сургуч. Плакальщики сорвали их утром три тысячи лет назад в садах Фив и принесли в Долину Смерти, чтобы положить на гроб царя прежде, чем оставить его наедине с вечностью.

Ученые исследовали листья и цветы. Некоторые рассыпались в пыль от прикосновения, другие продержались несколько часов в теплой воде. Там были васильки — они больше не растут в Египте, — листья оливы, лепестки голубого лотоса, листья дикого сельдерея, ягоды горько-сладкого паслена. Цветы и плоды, найденные на крышке саркофага Тутанхамона, свидетельствуют о том, что фараон был похоронен либо в середине марта, либо в апреле.

Здесь есть потрясающий зал, где собрано только то, что было на самой мумии или поблизости от нее. И самое прекрасное — портрет Тутанхамона, каким он был в год своей смерти. Лицо задумчивого восемнадцатилетнего юноши. Маска из отшлифованного золота, полосатая головная повязка: темно-синее стекло чередуется с золотом. На лбу — символы Верхнего и Нижнего Египта, гриф и кобра из чистого золота.

Маска Тутанхамона — без сомнения, один из величайших древних портретов. Человек, который видел лицо мумии, рассказывал мне, что маска великолепно передает черты фараона. Есть в этом лице невыразимая печаль и одиночество, как будто он знал, что ему суждено рано умереть. Он смотрит на нас через тридцать столетий, этот не очень счастливый человек, и в глазах его грусть юноши, который вот-вот станет мужчиной.

Когда мумию обнаружили, каждый палец фараона, и на руках, и на ногах, был заключен в маленький золотой футляр. Футляры сняли, и теперь их можно видеть в музее под стеклом — забавные маленькие наперстки. Не могу объяснить вам, почему они выглядят так трогательно. Жаль, что их сняли. Оставили бы ему золотые пальцы.

4

Если бы можно было оживить мумию древнего египтянина, больше всего в современном Египте его удивило бы отсутствие диких животных.

Века тому назад, как свидетельствуют изображения на стенах гробниц и скульптуры в храмах, в Египте часто охотились на гиппопотамов, крокодилов и львов. Теперь эти животные исчезли из Египта, хотя они еще обитают в Судане. Возможно, это потому, что в Египте почти вся

земля обрабатывается, а еще потому, что теперь при разливе Нила больше не возникает болот, где эти животные любят устраивать свои логова.

Кошки, которые в Египте охотятся на змей, а также на крыс и мышей, находятся в привилегированном положении. Ни одному египтянину и во сне не приснится убить кошку. Возможно, египтянин еще подумает, вытащить ли тонущую кошку из воды, потому что мусульманин не вправе оспаривать волю Аллаха, но сам он ее в воду ни за что не бросит. В суеверном почтении, которым окружено это животное, мы без труда увидим рудименты культа кошки, существовавшего в Древнем Египте.

Кобра, которая в древние времена считалась символом царской власти, все еще встречается в городах и сельской местности в долине Нила. Хотя этих змей частенько убивают — я сам видел, как полицейский застрелил одну из револьвера, — мне рассказывали, что в некоторых деревнях кобру, обосновавшуюся в подвале или погребе, иногда почитают как «хранительницу домашнего очага» и кормят яйцами и цыплятами. Крестьяне считают кобр необыкновенно умными. Сельский полицейский в окрестностях Каира рассказал мне историю, иллюстрирующую отношение феллахов к этой змее. Я в нее не поверил, а он искренне верил. Итак, в одной деревне Верхнего Египта, где размещался его участок, две кобры выводили детенышей в погребе глинобитного домика. Дети увидели, как молодые кобры греются на солнышке, и, взяв палки, принялись дразнить их. Тогда взрослая кобра подползла к самому младшему из детей и обвилась вокруг него. На плач ребенка прибежали родители и в ужасе застыли. Ведь сделать хотя бы шаг к ребенку значило убить его. Мать воскликнула:

— Может, если наши дети перестанут мучить ее детей, она уползет!

Отец немедленно разогнал старших детей, после чего кобра спокойно уползла.

Почтение к королевской кобре египтяне получили в наследство от предков.

Однажды утром я отправился в каирский зоопарк.

За пятнадцать минут такси доставило меня в красивый сад на западном берегу Нила. На пятидесяти шести акрах, заросших тропической растительностью, животных держат в открытых вольерах, и это напоминает мне Риджент-Парк. Сады когда-то были частным владением богатого паши, который, говорят, построил никому не нужный мост через искусственный водоем в ответ на вопрос жены о том, как выглядит навесной мост. Хорошо, что не спросила о Юстонском вокзале или о Триумфальной арке.

Самое большое впечатление в зоопарке на меня произвели невиданные в Европе размеры и жизнерадостность животных. Я всегда считал гиппопотама одной из самых мрачных шуток природы и жалел это неуклюжее существо с его огромной нижней челюстью, раздутым телом и короткими ножками. Такой, каким мы знаем его в Европе, гиппопотам являет собой жалкое зрелище. Однако в родной Африке он удивительно силен и энергичен. Гиппопотам в каирском зоопарке — это настоящий царь зверей, могучий, с блуждающим взглядом жестоких маленьких глаз и розовой кожей^[4].

В Европе жирафы — нелепейшие существа, не то, что сильные огромные животные, которых я увидел в Каире. Их шкура напоминает пятнистый велюр. Страусы в каирском зоопарке настолько одомашнены, что их яйца продают в билетной кассе по 2 фунта за штуку.

Настоящая трагедия в этом зоопарке одна — белый медведь. И хотя сердобольная администрация устроила

постоянный холодный душ в его клетке, бедное животное жестоко страдает от жары. Ему не место в Африке. Вид этого шелудивого создания вызывает к тому, чтобы первым пунктом в уставе всех зоологических садов был следующий: диких животных нельзя держать в непривычном для них климате. Я бы очень хотел, чтобы бедного каирского медведя обменяли на какого-нибудь не менее несчастного европейского гиппопотама.

Посетители зоопарка тоже весьма интересны. Я видел здесь египетских мальчиков лет десяти, одетых в европейскую одежду, если не считать красных фесок, украшающих их головки. Детишки были в таком же восторге от катания на слоне, как дети в Риджент-Парке.

По зоопарку бродят шейхи и крестьяне, явно приехавшие из провинции. Они не пойдут в музей посмотреть на мумии, но с удовольствием поглазеют на крокодилов, гиппопотамов и львов. Они подолгу стояли у вольеров с незнакомыми им зверями и улыбались, и я подумал, что с таким ласковым удивлением смотрят на животных только те, кто их по-настоящему любит и понимает.

Так всегда ведут себя англичане. Первое, что читают наши дети, это истории о животных, например книги Беатрис Поттер, в которых звери всегда описаны с чудесным юмором, основанном на наблюдении и понимании. Уверен, что в Древнем Египте был бы очень популярен Микки Маус. Люди, построившие пирамиды, — единственный древний народ, который подмечал смешные особенности животных, а также приписывал им человеческие черты, как это делаем мы.

Самые забавные рисунки на стенах древнеегипетских гробниц — это карикатуры на животных. На одной изображены львы, в страхе шарахающиеся от важного домашнего кота, который

переходит дорогу. На другой лев играет в шахматы с газелью. На третьей шакал, похожий на франта с Харли-стрит, наносит визит забавному больному гиппопотаму, а на четвертой леопард играет на флейте гусям.

Даже если бы все изображения птиц и животных не были так полны жизни и не являлись результатом длительного и внимательного наблюдения, мы бы поняли, что древние египтяне любили животных, по этим нескольким очаровательным карикатурам, работам кого-то из предшественников Беатрис Поттер.

Глядя на современных египтян в каирском зоопарке, я подумал, что они не утратили связи с людьми, много веков назад жившими на берегах Нила.

Глава пятая

Внутри Великой пирамиды

Я посещаю Гизу и осматриваю пирамиду Хеопса.

1

Я пал жертвой внезапной и мучительной болезни, известной как «тропическая диарея», и был отправлен доктором на долечивание в Гизу. Мне в жизни доводилось ночевать в самых разных и интересных местах, но мою комнату в Гизе всегда буду вспоминать как место самое замечательное. Отсюда, лежа в постели, я мог видеть Великую пирамиду, а ходьбы до нее было две минуты. Ее колоссальный треугольник как раз заполнял собой проем моей балконной двери.

Вначале она внушала мне ужас, особенно при лунном свете. Потом я привык, и только хотелось, чтобы она чуть-чуть отодвинулась, открыв мне больше пустыни. И наконец меня стали угнетать мысли о поте и крови многих тысяч рабов, строивших ее, о кнутах, которые свистели над их спинами. Эти пирамиды, без всякого сомнения, — жестокий и бесполезный памятник тщеславию. Да и назначения своего — сохранить мертвое тело фараона — они не выполнили, потому что были разграблены тысячи лет тому назад.

Первые несколько дней мне не разрешали выходить. Я вставал с постели, укладывался на балконе, пока солнце не начинало палить слишком сильно, и наблюдал повседневную жизнь пирамид. Утро начинается в семь часов с приезда полиции. Несколько полицейских поднимаются на пирамиду, другие на красивых

небольших арабских лошадях патрулируют внизу. Так они охраняют пирамиду до заката, следят, чтобы ничего не украли и не испортили. Вероятность ограбления, впрочем, невелика.

Потом появляются гиды, приставучие мальчишки и люди, которые с очень таинственным видом вынимают из своих лохмотьев фальшивые древности. И все они ждут.

Из-за барханов на верблюдах и ослах появляются люди и собираются вместе около загона рядом с трамвайной остановкой. Они тоже ждут туристов. Примерно с восьми утра начинают прибывать туристы. Это серьезные немцы в солнечных очках и пробковых шлемах, французы, египтяне и англичане, которые, к большому неудовольствию владельцев верблюдов и ослов, предпочитают подниматься на холм пешком.

Однажды я заметил под балконом некоторое оживление. Видимо, сегодня был необычный день: больше, чем обычно, верблюдов, ослов, повозок появилось из-за барханов и скопилось около трамвайной остановки. Наконец из Каира прибыла вереница автомобилей. Из них вышло около сотни туристов, одетых так, как будто они собирались осваивать Центральную Африку. На некоторых были бриджи, сапоги и рубашки с открытым воротом, на других — ботинки и бриджи, тропические шлемы, даже корсеты и еще более странная одежда.

Пока верблюды пускали пузыри и томились, а владельцы повозок, запряженных осликами, кричали и размахивали руками — так обычно договариваются о сделке, — странная кавалькада сформировалась и отправилась вверх по холму. По Суэцкому каналу проходил лайнер. Пассажиры воспользовались случаем сойти в Суэце и бросились смотреть Каир и пирамиды, чтобы вечером догнать свой корабль в Порт-Саиде.

Традиции путешествий в духе девятнадцатого века отмирают нескоро. Все эти люди были уверены, что посещение пирамид и сфинкса сопряжено с некоторыми лишениями, если не с риском для жизни. И глядя на них, поднимавшихся вверх, я мог понять, как развиваются корабельные романы, хотя бы по тому, как молодые мужчины старались держать грубых животных подальше от молодых женщин. Чаще всего им приходилось кричать с унижительного расстояния десяти ярдов:

— Мисс Робинсон, как вы там?

А главный корабельный остряк то и дело разворачивал своего верблюда или сам оглядывался назад и с раздражающей повторяемостью кричал кому-то в арьергарде:

— Догоняй, Стив!

2

И вот я стою перед пирамидой Хеопса. Это самое большое и самое невероятное сооружение, какое я когда-либо видел. Когда-то от подножия до верхушки пирамиду покрывали тончайшие плиты белого известняка. Их обтесали и обработали после укладки, и пирамида казалась сплошной глыбой отполированного камня. Такой ее видел весь Древний мир, а сейчас она представляет собой пролеты крутых каменных ступенек, сужающихся к вершине. Известняк арабы сняли и пустили на строительство Каира.

Вход находится на высоте сорока футов от земли, на северном фасаде. Там его устроили столетия назад арабы-охотники за сокровищами. Если обойти пирамиду кругом, можно заметить следы нескольких попыток проникнуть в нее; но нынешний вход — единственная из них удачная, потому что арабы проложили свой туннель

прямо под тем входом, который был изначально, и свой коридор соединили с тем, по которому мумию фараона несли в усыпальницу.

Этот вход — большая черная дыра в каменной горе. Я поднялся к ней по известняковым ступеням, а дальше обо мне позаботился араб-смотритель. Пройдя несколько шагов, я вынужден был согнуться в три погибели и так двигаться еще двадцать ярдов. Признаться, я не ожидал, что пирамида освещается электричеством. Араб щелкнул выключателем — и в темноте загорелось несколько электрических лампочек. Через двадцать ярдов туннель, проделанный грабителями, вливается в главный коридор, который резко идет вверх, — узкий каменный проход высотой примерно тридцать футов, похожий на шахту движущегося эскалатора небольшой станции метро.

Электрический свет освещает известняковые стены. Их кладка так совершенна, что трудно обнаружить стыки каменных плит. С одной стороны имеются ступени и перила. Дальше идет крутой подъем длиной в пятьдесят ярдов по каменному туннелю не более трех с половиной футов высотой, который мне пришлось преодолеть чуть ли не на четвереньках. Он ведет к сердцу пирамиды Хеопса.

Это одно из самых мрачных помещений, в которые мне когда-либо случалось входить, это действительно ужасное место, и я вполне могу поверить, что там живут призраки. Воздух в комнате спертый и горячий, и так воняет летучими мышами, что я все озирался, ожидая увидеть их висящими по углам комнаты.

Хотя эта комната находится на высоте ста сорока футов над залитыми солнцем барханами, кажется, что она — глубоко под землей. Сопровождавший меня араб внезапно выключил свет и с жутковатым смешком сказал:

— Темно — очень темно!

Там действительно темно, как в могиле, и, к тому же, мертвенно тихо. Я никогда не страдал клаустрофобией, но, подумав о том, какой долгий путь ведет к этой совершенно изолированной от внешнего мира камере, ощутил легкую панику.

Усыпальница пуста, если не считать массивного и длинного гранитного саркофага без крышки и без всякой надписи. Араб подошел и похлопал по нему рукой — раздался металлический, похожий на звон колокола звук. В этот саркофаг семь тысяч лет назад положили фараона Хеопса.

Кое-что о пирамиде знают очень немногие: например, то, что она строилась вокруг этого саркофага. Его внесли, когда возвели достаточно высокие стены, чтобы внести мумию, и только после этого ее «накрыли» верхней частью пирамиды.

Геродот рассказывает, что сто тысяч человек работали по три месяца каждый год, что десять лет ушло на подготовку участка и двадцать — на возведение самой пирамиды. Интересно, сколько раз за это время фараон посетил строительную площадку, чтобы посмотреть, как продвигается работа. Он, должно быть, заходил в свою усыпальницу, когда над ней еще было голубое небо, а в углу стоял саркофаг. Возможно, постукивал по нему рукой и слышал тот самый нежный, похожий на колокольный звон звук, какой слышат сейчас арабы. Заходил, наверное, и когда достроили верхнюю часть пирамиды и комната погрузилась во мрак. И вот однажды он прибыл, чтобы остаться здесь навсегда, с золотой маской на лице. Его подняли на натянутых канатах под песнопения жрецов.

Несмотря на изобретательность архитекторов, которые устроили так, что узкие тоннели после похорон заткнули гранитными глыбами и, чтобы войти, надо было нажать на определенный камень, известный

только жрецам, воры все же проникли в гробницу спустя двести лет после смерти Хеопса.

Мы никогда не узнаем, кто сбросил крышку с огромного каменного саркофага, сорвал с фараона золотые украшения и разбросал его кости по полу. Но знаем, что спустя столетия после того, как разграбили гробницу, в пирамиду продолжали забираться, — видимо, не могли поверить, что в ней больше нет сокровищ. Персы, римляне, арабы. Пирамиду разрушали таранами, рыли подкопы и ходы. Когда изобрели порох, ее пытались даже взорвать. То и дело кто-то, согнувшись, с учащенно бьющимся сердцем, крался по темным коридорам, но вместо золота находил пустой саркофаг и летучих мышей.

Глава шестая

Копты

Немного из истории коптов — наследников древних египтян.

История Египта — это история терпеливых, послушных людей с красновато-коричневым цветом кожи, живущих на берегах реки, которая меняет хозяев, как человек — перчатки. Самая непостоянная вещь в Египте — правящая нация: сорок веков обожествлявших себя фараонов; три века греческих тоже почти фараонов; три века римских префектов; три — византийских императоров; почти девять веков арабских халифов; более трех столетий турецких султанов, потом короткий период британского правления, и вот теперь — династия доморощенных монархов. Длинная череда правителей Египта теряется в глубине веков.

Пока наверху происходили все эти перемены, простые египтяне, прикованные к Нилу, как рабы к своей галере, продолжали носить воду и орошать несколько миль пустыни на обоих берегах длинной реки, пахать темную землю и собирать урожай. Такие же смуглые люди, какие жили здесь за три тысячи лет до Рождества Христова, когда ими владел некто богоподобный в белом одеянии, живут здесь и теперь, в 1900-х, когда правит человек с розовым лицом и оксфордским выговором.

Да, общий фон жизни в Египте остается сегодня таким же, каким был, когда строились пирамиды, в том смысле, что прежними остались обычные сельскохозяйственные работы, и тем не менее эта страна испытала две серьезные интеллектуальные и

духовные перемены, которые оказали на нее огромное влияние: первой было введение христианства, упразднившее древних богов; второй — введение мусульманства, заслонившее тот факт, что одно время Египет был самой христианской страной в мире.

Гибель старых богов, распад мощной касты жрецов, разрушение огромных храмов, существовавших почти пятьдесят веков, — пока самое интересное, что случилось в этой консервативной стране. Все это медленно и постепенно происходило в период римского владычества. С 332 г. до н. э. по 30 г. до н. э., когда умерла Клеопатра, исторические столицы Египта Мемфис и Фивы уходят в тень, и ярким светом вспыхивает новая столица — Александрия, этот Нью-Йорк эллинистического мира. Не зря древние египтяне изображали некоторых своих богов с телами людей и головами животных — именно таким стал Египет, когда его фараоны перестали им править, — страной с прежним телом и новой, совершенно чужеродной ему головой, выглядевшей нелепо, как голова козла на теле Тота или голова барана на теле Амона-Ра.

Итак, если бы мы посетили Александрию во времена Птолемеев, то оказались бы в блестящем, богатом, оживленном городе, полном греков, евреев и левантийцев. Правда, течение Нила легко перенесло бы нас в совершенно другой мир — в таинственный исконный Египет людей с медно-коричневой кожей, где в прудах при храмах кормили священных крокодилов, жрецы с обритыми головами все еще устраивали процессии в честь прежних богов в огромных залах. В том старом мире, вне сомнений, сохранились большие обедневшие поместья, и владельцы их, конечно же, сожалели о тех «старых добрых временах», когда их предки считались родственниками богов.

Таинственность и мистицизм Египта внушали грекам священный ужас. Было модно, покинув свои мраморные

ванные в греческом Нью-Йорке, проплыть какое-то расстояние вверх по Нилу, в изумлении постоять перед изображениями богов этой земли, глядя на них сквозь дымы жертвоприношений. Греческие фараоны поддерживали жрецов по политическим соображениям и покровительствовали всяческому возрождению прежней религии, но дух древнего Египта умирал, и попытки искусственного дыхания не отсрочили его конец.

В отличие от греков, римляне не видели в египетских богах ничего, кроме раздражающего источника бунтов и религиозных распрей, и потому преследовали приверженцев как старой религии, так и новой, то есть христианства, которое начинало пускать корни среди греческого населения Александрии. Новая вера медленно распространялась вверх по Нилу, встречая сопротивление прежней, умирающей от старости, такой слабой, что от одного дыхания молодой и сильной ветхие кумиры падали со своих пьедесталов. Народ был внутренне готов принять греческую веру — он долгие века мечтал о загробной жизни. Итак, рушились храм за храмом, и скоро маленькие христианские церквушки уже стояли бок о бок с огромными гипостильными строениями, а в святилищах богини Баст и Амона-Ра молились Деве Марии.

Сначала церковь в Египте была греческая, и служили по-гречески. Затем произошли неизбежные перемены. Пока египтянин поклонялся древним богам своей страны, он жил не в том мире, в каком жили его греческие хозяева. Когда и тот, и другие стали христианами, они стали существовать в одном и том же духовном пространстве, что привело к сильнейшему конфликту — египтянам требовалась своя, отличная от греческой, церковь. Александрийская церковь, управляемая греческим патриархом, по влиятельности была второй после Рима, а в интеллектуальном отношении в тот период превосходила Рим. Такие имена

как святой Климент Александрийский, святой Афанасий, Ориген, святой Антоний, основатель монашества, дают некоторое представление о вкладе Александрии в христианство в ранний период существования этой церкви.

Но греки и египтяне не могли договориться по теологическим вопросам. Национальные и политические стычки и волнения, замаскированные под столкновения религиозных убеждений, сделали Александрию ареной периодически вспыхивающих боев, конец которым наступил лишь в V веке, когда два народа наконец разошлись: египтяне образовали свою собственную национальную церковь, существующую и по сей день. Главой ее является коптский патриарх Александрийский. Литургия и Евангелия были переведены на египетский, и этому обстоятельству мы обязаны одним из самых романтических в истории религии и языков фактом — что сегодня в египетской церкви служат литургию на языке фараонов или, если точнее, на том его варианте, который был в ходу в V веке.

Когда в VII в. Египет завоевали мусульмане и выдворили оттуда греков, новые арабские хозяева отнеслись к коренному населению, разумеется уже полностью обращенному в христианство, почти с нежностью. Они дали им имя «копты» — арабское сокращение греческого слова «Aegyptus», то есть произнесение и написание «гипты» или «гапты» было бы ближе к арабскому варианту. Копты были так же полезны арабам, как греки-христиане — туркам, когда те захватили Константинополь. Сначала у арабов хватило здравого смысла предоставить христианам управлять за них страной, строить для них мечети, собирать и хранить их книги, изготавливать ювелирные украшения. Однако религиозные преследования были не за горами.

Коптов по-всякому притесняли и мучили. Только схлынет одна волна преследований, не успеют они передохнуть и набраться сил, как подходит следующая волна и накрывает с головой. Огромное множество коптов приняло мусульманство, но всегда оставалось некоторое количество готовых страдать и умереть за свою веру. «Удивительно уже то, что хоть сколько-нибудь коптов остались верны своей вере в эти страшные века, — писал Эдриан Фортескью, католический историк. — Когда настанет Судный день, муки, которые они приняли за веру под запятнанным кровью знаменем ислама, перевесят все их теологические ошибки».

Сейчас среди четырнадцати миллионов жителей Египта — миллион коптов, прямых потомков того народа, который построил пирамиды и изваял сфинкса. Египетские христиане внешне практически неотличимы от египтян-мусульман; и те и другие носят одинаковую одежду и говорят по-арабски. Но вы вдруг замечаете у собеседника татуировку на запястье — маленький голубой крест. Этот человек — копт. Обычай восходит к глубокой древности — детям делали такую татуировку, это означало, что они рождены христианами.

В египетских деревнях копты и мусульмане вместе обрабатывают землю, и не разберешь, кто из них верит в Христа, кто в Аллаха, но в городах копты обычно становятся банковскими служащими, бухгалтерами, ювелирами, занимаются коммерцией или ремеслами и в этом, пожалуй, идут по стопам своих далеких предков из Древнего Египта, которые преуспевали именно в этих областях.

Однако не надо думать, что если египтянин исповедует ислам и ходит в мечеть, то он чистокровный араб и в его жилах не течет ни капли египетской крови. Арабское завоевание Египта, как и завоевание Англии норманнами, — это была сравнительно небольшая

военная операция, в результате которой произошла смена правящей верхушки. Люди с медно-коричневым цветом кожи остались на берегах Нила, так же, как после вторжения Вильгельма Завоевателя англосаксы остались на своих полях со своими плугами. Но во времена свирепых преследований коптов многие тысячи христиан отреклись от веры в Христа и, приняв мусульманство, приобрели неудачное и неправильное имя — арабы.

Тому, кто путешествует по Египту и знаком с его историей, очень интересно искать и находить у современных египтян — мусульман и коптов — физическое и ментальное сходство с древними обитателями этой земли. Могут быть сомнения относительно происхождения мусульманина — ведь у его предков было больше возможностей заключить смешанный брак, чем у предков египетского христианина, воздерживавшиеся от этого из соображений безопасности. Копт — в этом нет никакого сомнения — один из интереснейших примеров сохранения древнего народа в чистоте.

Странно, что по-английски так мало написано о коптах и их религиозных обрядах. Отделенные от остального христианского мира четырнадцать столетиями и со времени арабского завоевания оставленные справляться с невзгодами самостоятельно, они сосредоточились на том, чтобы сохранить в неприкосновенности свои религиозные обряды. С точки зрения археологии копты — самая интересная из восточных церквей. Здесь по сей день соблюдаются обычаи, свойственные когда-то Вселенской церкви, которые утрачены везде, кроме Египта, звучит чистый и прекрасный голос раннего христианства. Возможно, копты не слишком образованны и некоторые из них не понимают высокого смысла веры, которую исповедуют, но надо напомнить, что эта церковь может похвастаться

ничуть не меньшим количеством мучеников, чем всякая религиозная община таких размеров.

Достоинства и недостатки коптов происходят из одного и того же источника: много веков вся их энергия была направлена на то, чтобы выжить.

До недавнего времени коптского патриарха выбирали из простых монахов, живущих в монастырях в пустыне, — правило это хорошо работало в те времена, когда монастыри были центрами учености. Однако позже, в течение многих веков оно, к сожалению, возводило на престол святого Марка невежественных и упрямых отшельников. В 1928 году правило отменили, и теперь патриарха выбирают из числа епископов. Нужно, чтобы глава Коптской церкви был старше пятидесяти, никогда не состоял в браке, не употреблял в пищу мяса и рыбы. Он рукополагает семнадцать епископов и освящает миро или священное масло. Епископы не могут вступать в брак, но священники, происходящие, в основном, из среды ремесленников и часто совершенно необразованные, должны быть женаты — иначе их не рукоположат. Язык Древнего Египта, на котором копты служат литургию, — сейчас уже мертвый, и немногие священники его понимают. Более тридцати процентов лексического запаса коптского языка — греческие слова, проникшие в язык египтян, когда местные христиане, если можно так выразиться, забальзамировали его для своих богослужений четырнадцать веков назад. Древний язык стал мертвым по двум причинам. После завоевания Египта арабами разговорным языком стал арабский; кроме того, церковный коптский был александрийским диалектом, бахарийским, на котором в других областях страны не говорили. Верхний Египет говорил на саидическом диалекте, отличавшемся от официального языка Коптской церкви примерно так же, как отличается кокни от диалекта Глазго. Итак, на древнем языке фараонов постепенно переставали говорить, и трудно

сказать, насколько бахарийский коптский, который можно услышать сейчас в церкви, был бы понятен в V веке египтянам, жившим в Александрии.

Тем не менее если кому-то захочется услышать голос Древнего Египта, ему стоит только воскресным утром спуститься в старую часть Каира и отстоять службу в любой из маленьких коптских церквей, притаившихся в узких переулках.

Глава седьмая

Коптская свадьба

*Я наблюдаю на коптской свадьбе
обычаи первых христиан.*

Меня пригласили на коптскую свадьбу в Муски. Бракосочетания у коптов совершаются ночью. Водитель-мусульманин не знал, где это, и мы очень скоро заблудились в узких, многолюдных улочках, где лошади под бешеные крики возниц и щелканье кнута с трудом прокладывали себе дорогу сквозь толпу. Надо сказать, каирские извозчики чаще используют свои кнуты против сограждан, чем против лошадей.

Однажды нам пришлось остановиться в слишком узком переулке и подождать, пока уберут разложенные на обочине великолепные овощи, роскошные дары египетского чернозема: великолепную цветную капусту, которой присудили бы приз на любой выставке; лук порей, толщиной с человеческое запястье; толстые фиолетовые баклажаны; зеленые, словно ящерицы, огурцы. Любой, кто не бывал на Востоке, стал бы опасаться смертоубийства, когда извозчик и зеленщик набросились друг на друга с отчаянными проклятьями. Их лица были искажены яростью. Они размахивали руками, воздевали их к свету фонарей, но в тот самый момент, когда двое англичан повалили бы друг друга на землю и сцепились, взаимные оскорбления закончились, и зеленщик с улыбкой, показывающей, что он получил от стычки истинное удовольствие, вежливо подвинул свою капусту. И мы поехали дальше.

Мне нравилось медленно проезжать по этим каньонам, где кипит жизнь. Каждая освещенная лавка — яркая картина, выхваченная из темноты: вот мужчины

сидят по-турецки за кофе или торговыми переговорами; вот сирийцы и армяне, похожие на пауков в паутине, сторожат свои лавки персидских ковров. Иногда, когда мы останавливались и казалось, что лица тех, кто внутри, совсем близко от меня, я порой ловил взгляды «призраков» под покрывалами. Лиц не было видно, но темные глаза, подведенные краской для век, смотрели безмятежно и лениво. Наконец мы доехали до перекрестка, где сходилась несколько улиц. Сзади из глубокой темноты поднимался минарет, подсвеченный своим собственным зеленым светом, и возница, указывая кнутом в переулок, сказал, что здесь не сможет проехать даже он: переулок был забит такси, частными автомобилями и повозками.

Приглашенные на свадьбу теснились у капотов машин, заполонив весь переулок. У дверей церкви собралась большая толпа. Ждали невесту. От дверей, в две линии, лицом друг к другу, выстроился хор: темноволосые молодые люди в белых одеяниях, очень напоминавших ночные рубахи, с епитрахиями на левом плече. У каждого на голове красовалась плотная белая шапочка с серебряным крестом на макушке; в каждой руке они держали по зажженной свечке. У одного в руках были цимбалы, у другого — треугольник. Пока молодые люди вот так стояли в темноте и блики от пламени свечей ходили по их темным, чисто выбритым лицам, я вполне мог бы поверить, что смотрю на жрецов Изиды.

Все засуетились, когда в переулок медленно въехала машина, а из нее вышла девушка, роскошная, как темный распутившийся пион. На ней было вечернее платье, отделанное кремовыми кружевами. Блестели недавно уложенные волосы цвета воронова крыла. Полненькое симпатичное личико пылало под румянами, которые на смуглой коже смотрелись лихорадочным румянцем. Четыре подружки невесты, тоже в вечерних

туалетах, заняли свои места около нее, хор запел хрипловатыми резкими голосами и, отбивая такт ударами в цимбалы, двинулся в церковь.

Мы оказались в душном переполненном помещении с множеством висячих канделябров. Потом молодой человек, судя по всему распорядитель, поднял меня со скромного места в задних рядах и, к полному моему замешательству, посадил среди духовенства. И с этим явно ничего нельзя было поделать.

Жених и невеста сидели в нескольких ярдах от меня на красных с позолотой стульях, поставленных прямо перед алтарем (хайкалом). Жених сидел слева от невесты, и на лице его застыло выражение неловкости, видимо свойственное мужчинам любой национальности в такой ситуации. Вокруг молодых горело множество свечей, они просто купались в золотом сиянии. На женихе был смокинг, поверх него — праздничное, богато украшенное одеяние, на голове — тарбуш. Молодой человек тревожно смотрел сквозь очки в роговой оправе куда-то вдаль, за частокोल свечей.

Я подумал: вот оно, типично коптское смешение прошлого и настоящего, Востока и Запада. Хор поет псалом на языке фараонов, на голове у жениха мусульманский головной убор; смокинг — одежда, предписываемая в торжественных случаях современной цивилизацией; ризу, надетую поверх него, мог бы носить святой Афанасий; очки пришли из Америки. Подружки невесты, как могли, следовали парижской моде. На все это смешение стилей сквозь туман фимиама со старинных икон взирали святые и отцы египетской церкви.

Из высокопоставленных духовных особ я в тот день удостоился чести лицезреть епископа Танты, епископа Иерусалимского и действующего архиепископа Хартумского. Все они были в черных сутанах, плотных черных тюрбанах, которые носит все коптское

священство, и с серебряными нагрудными крестами. Церемония была долгой и интересной. Епископы вставали один за другим, чтобы прочитать молитвы или произнести яркую проповедь. Один из прихожан с большим чувством читал отрывки из Библии по-арабски; и я подумал, как странно видеть человека в тарбуше, читающего отрывки из Священного Писания в христианской церкви. После каждой молитвы и каждого отрывка хор под руководством молодого человека, отбивавшего такт, пронзительными голосами исполнял длинные песнопения. Звон треугольника и ритмичные удары цимбал, сопровождавшие те из них, что были покороче, сообщали действу нечто языческое. Два хориста точно выглядели так, как будто только что сошли с рисунков на стенах древнеегипетских гробниц: те же губы, носы, те же миндалевидные глаза и, как я успел заметить, такие же тонкие, необыкновенно изящные руки.

Невесту в продолжение всей церемонии обмахивала опахалом одна из ее подружек, смуглая стройная девушка негроидного типа — с круглым личиком и пухлыми губами, — такие лица можно увидеть на стенах гробниц 18-й династии в Фивах. К тому же типу принадлежат танцующие, изображенные на стенах гробницы Нахт, таковы лица двух обнаженных девушек-акробатов на фреске в Британском музее. Пока она обмахивала подругу страусовыми перьями, глядя поверх свечей темными оленьими глазами, я подумал, что так могла бы, наверно, выглядеть Шармиан, рабыня Клеопатры, стоял за спиной своей госпожи в Александрии.

Под торжественное пение невесту и жениха помазали миром, и наступил кульминационный момент церемонии. Епископ взял в руки два позолоченных венца и прочитал по-арабски следующую молитву:

— О Господь, Святый Боже, Ты, который короновал святых неувядаемыми венцами и соединил воедино небесное и земное. Благослови, о Господи, венцы сии, приготовленные нами для рабов Твоих. Пусть для каждого из них венец сей будет венцом славы и чести. Аминь. Венцом счастья и радости. Аминь. Венцом благословения и спасения. Аминь. Венцом отрады и отдохновения. Аминь. Венцом добродетели и праведности. Аминь. Венцом мудрости и согласия. Аминь. Венцом силы и стойкости. Аминь. Пошли рабам Твоим, которые наденут венцы сии, мир и любовь, спаси их от постыдных мыслей и греховных страстей, от посягательств нечистого и искушений его. Да пребудет с ними милость Твоя, услышь нашу молитву, да проживут они жизнь в страхе Божиим, да не будут нуждаться ни в чем до самой старости. Да порадуются сыновьям и дочерям своим и воспитают их в лоне единственно святой католической апостольской церкви. Да будут они до конца тверды в истинной вере. Наставь их на путь истинный.

Здесь епископ сделал паузу и возложил венцы на тарбуш жениха и на темные волосы невесты, и сказал:

— На славу венчаю их, Господи; Отец благословляет, Сын венчает, Дух Святой снисходит на них. Пошли, Господи, рабам Твоим милость Твою, которая непобедима. Аминь. Венец благоденствия и славы. Аминь. Венец истинной и непобедимой веры. Аминь. Благослови, Господи, все деяния их, ибо все доброе — от Тебя, Господи Боже наш.

Принесли два кольца, связанные вместе красной ленточкой. Епископ развязал ее и надел одно из колец на палец жениху, другое — невесте, после чего благословил и, сблизив головы жениха и невесты, коснулся их крестом, вытатуированным у него на руке. Красивая древняя церемония закончилась.

Гости стали подходить и поздравлять молодых. Те сидели в желтом свете свечей, как фараон и его супруга. Над головой невесты постоянно двигалось опахало из страусовых перьев, подружки в современных вечерних платьях из сиреневой и желтой тафты шептались за ее стулом и строили глазки молодым людям.

Перед уходом из церкви каждый из нас получил небольшой подарок. Мой пакетик был твердый и ребристый на ощупь, и развернув подарок в гостинице, я обнаружил коробочку с бархатной подкладкой, полную засахаренного миндаля и завернутых в фольгу конфет.

Можно считать, что я видел настоящее венчание, каким оно было во времена раннего христианства. Подобно всем обрядам коптской церкви этот дошел до нас из греко-римского мира без поправок, пропусков и изменений, которые внесли в церемонию западные церкви.

У язычников и ранних христиан бракосочетание делилось на две части: обручение и свадьба. Я видел только вторую часть — помолвка, по-видимому, состоялась несколькими неделями или месяцами раньше. Обручение — это очень важно. Родители невесты и жениха договариваются насчет приданого, составляют брачный контракт и выбирают день свадьбы. Это соответствует древним обычаям, принятым в Греции и Риме. Во времена язычества и раннего христианства при помолвке жених дарил невесте кольцо. Мы унаследовали обычай носить кольца на пальцах от римлян. Они носили обручальное кольцо на четвертом пальце левой руки, потому что, как учит Геллий, от него идет нерв к сердцу. Торжественность помолвки сохранилась у коптов от ранних христиан. Достаточно сказать, что кольцо невесте вручает не жених, а священник.

Обычай устраивать свадьбу ночью восходит к глубокому прошлому, в античном мире свадеб при свете дня никогда не праздновали. Возложение венцов на головы жениха и невесты — еще один языческий обычай, усвоенный ранней христианской церковью, хотя он теперь соблюдается только в восточных церквях, для западных же гораздо более важной оказалась свадебная фата, римское изобретение. Как и в античные времена, коптская церковь считает венцы символами чистоты и добродетели, они принадлежат церкви и торжественно возвращаются ей по окончании церемонии бракосочетания.

Принято также, хотя в городских общинах коптов не всегда соблюдается, перевозить невесту в дом жениха при факелах, с музыкой, шумной толпой, в которой обязательно есть человек со свечой и охапкой цветов. Это необыкновенно интересный сохранившийся с языческих времен обычай «свадебной помпы», который отцы ранней христианской церкви иногда порицали как слишком шумный и разгульный. Зажженная свеча — это, без всякого сомнения, то, что осталось от факела на римской свадьбе, — его зажигала мать невесты перед началом процессии. Святой Григорий Назианзский в IV веке написал чудесное маленькое послание, в котором просил уволить его от присутствия на свадьбе, ибо страдающему подагрой старику не место среди танцующих, но душой он будет с ними в их развлечениях и играх. Из чего мы видим, что святых иногда приглашали на такие шумные сборища, и приятно представлять себе, как благочестивые отцы церкви благосклонно улыбаются веселящейся пастве.

Коробочка с засахаренным миндалем явно восходила к античности: существовал в Древнем Риме обычай — жених бросал в толпу орехи, пока процессия двигалась по улице. В Древней Греции было принято осыпать сладостями невесту, когда она входила в новый дом. Так

что засахаренный миндаль — это счастливое смешение римской и греческой традиций. Совершенно очевидно, что наши конфетти и рис — разновидность этого обычая, хотя настоящие конфетти — это, как и видно по названию — сладости.

Коптский обряд бракосочетания пришел из эллинистической Александрии, передавался из поколения в поколение, и цепочка не прерывалась. А самый древний обычай — это то, что происходит у двери жениха после церемонии венчания в церкви: невеста должна не только присутствовать при заклании тельца, но обязательно наступить в его кровь, входя в свой новый дом. Это уже не греческое, не римское, не христианское и не мусульманское — это копты унаследовали от своих предков из Древнего Египта.

Глава восьмая

Монастыри долины Вади-Натрун

Я вспоминаю об истории основания первых христианских монастырей в Египте и посещаю коптский монастырь Дейр эль-Барам.

1

Возможно, следовало ожидать, что египтяне, обратившись в христианство, впадут в крайность и усвоят довольно мрачный взгляд на веру. Во времена фараонов это был жизнерадостный народ. Здесь любили повеселиться, потанцевать, поиграть на музыкальных инструментах, но в то же время этих людей не оставляли и мысли о загробной жизни.

Национальный характер египтян таков, что их вкладом в христианство стало монашество, в основе которого лежит эгоистичная попытка спасти свою душу самоотречением и страданиями. Первые монахи-христиане были египтянами IV века. Они отвернулись от мира и удалились в пустыню, чтобы остаться наедине с Богом и провести жизнь в посте и молитве. Это превратилось поистине в национальное движение. Здешняя земля покрылась отшельническими скитами и монастырями, где обитала существенная часть населения. Молодые и старые, богатые и бедные — все искали духовной жизни. Существовали целые города, например Оксирих, населенные монахами и монахинями. Вверх и вниз по течению Нила все храмы прежних богов были превращены в монастыри. На склонах одиноких и неприступных гор, на раскаленном

песке стояло еще больше монастырей. В пещерах и гробницах тоже поселились отшельники, с ужасом взирали на рисунки, оставленные на стенах их предками.

К концу века правительство вынуждено было поднять налоги, поскольку слишком значительная часть молодых здоровых мужчин посвятила себя монашеской жизни. Этим людям приходилось освобождать и от военной службы. Целые города и области склонялись к целибату — из-за такого отвращения к физической стороне жизни могла возникнуть опасность вымирания народа.

Я думаю, что было бы очень плодотворно изучить влияние на раннее монашество таких факторов, как непомерные налоги, анархия и хороший климат, потому что совершенно очевидно, что так много людей сразу не могли почувствовать призвания к уединенной жизни. Они вряд ли оставили бы своих жен, детей и имущество, если бы мирская жизнь могла предложить им хоть что-нибудь хорошее. Открыв историю IV и V веков, мы видим государство на грани краха, анархию, гражданскую войну, вторжение варваров. Налоги взимались огромные, тирания раздувшегося бюрократического аппарата была нестерпима. Средний класс без социальной поддержки захирел; высшие слои видели, что их имущество постепенно прибирает к рукам государство, которое больше не удовлетворяли обычные налоги. Мелкие земледельческие хозяйства распадались, работники бежали в города, моральные устои шатались, в искусстве наметился упадок. И на фоне всей этой социальной агонии особенно бесстыдно выглядела кучка людей, сосредоточивших в своих руках огромные деньги; рядом с горестями народа отвратительно смотрелись пышные празднества, строительство огромных зданий, пользы от которых

становилось все меньше по мере того, как беднело государство.

В отсутствие твердой власти и спокойствия, которое она с собою несет, страна не имела никаких надежд на улучшение своего положения, так что совсем не странно, что множество людей, не найдя защиты в реальном мире, с радостью повернулись к нему спиной и устремились мыслью к тому, что будет после смерти.

И отвернулись они от жизни очень резко. В Скетисе и Фиваиде мы видим развалины и власяницы. Полуголые отшельники воздевали иссохшие руки к Богу в самых пустынных местах мира. Тысячи мужчин и женщин предпочли тяготам жизни в миру существование в пещерах и норах. Едва ли не целый народ старался преодолеть телесные соблазны, чтобы восторжествовал дух. Таким был Египет отцов-пустынников.

Древние египтяне верили, как верят и современные, что в пустынях живут злые духи, и это была одна из причин, по которой именно туда уходили отшельники: они нарочно поселялись на территории сатаны, чтобы испытать твердость своей веры в борьбе с дьяволом. Там они повсюду ощущали его присутствие. Эти люди шли в пустыню вовсе не для того, чтобы избежать искушений. Как раз наоборот — ведь для египтянина того времени пустыня таила гораздо больше искушений, чем город, а искуителям сверхъестественной природы было труднее противостоять.

Отшельник, спасающий свою душу в пустыне, не должен терять бдительность ни на секунду, иначе на него тут же накинута бесы. Он — как бессменный часовой, охраняющий рубежи своей души. Он всегда на страже, чтобы не просочились вражеские лазутчики, ибо сатана любит засылать к нам своих шпионов. Они приходят переодетыми, иногда даже в одежде святых людей, разговаривают с лицемерным благочестием. И потому всякому отшельнику, если он не хочет быть

введенным в соблазн, надлежит за внешней красотой слов видеть суть вещей. Очень опасным противником была дочь сатаны, в существование которой первые отшельники твердо верили. Эта более чем привлекательная женщина свободно, как и все исчадия ада, перемещалась по пустыне, и отец часто посылал ее именно туда, где прочее его воинство потерпело поражение.

Только одним способом можно было обуздать зло — бесконечно молиться. Все исчадия ада во главе с самим сатаной бессильны против чистоты и святости. Так что великие отшельники, хоть их и одолевали сонмища бесов-искусителей, в крепости своей веры были недосыгаемы для врага рода человеческого. Каждый отшельник окружен стеной молитвы, и с годами эта стена становится все выше и прочнее. Каждый день и каждая ночь, проведенные на коленях, в единении с Господом, кладут еще один камень в эту стену.

Именно святого Антония, первого из отшельников, самого молитвенного из них, больше всех терзал дьявол. И это естественно, ибо чем значительнее человек, тем больше торжествует сатана, завладев его душой; чем выше, чем неприступнее крепость веры, тем с большей радостью взирает враг на падение такой цитадели. Имя Христово и крестное знамение — два безотказных средства против дьявола. Святой Антоний, заведя бесов на подступах к своим бастионам, бывало дунет на них, сотворит крестное знамение — и, ура, они тут же растают в воздухе, даже если за мгновение до этого казались существами из плоти и крови.

Уходя в пустыню, нельзя было брать с собой ничего, кроме любви к Богу, смирения и решимости выкорчевать в себе все плотские желания. «Чем больше ублажаешь тело, тем слабее становится душа; чем сильнее изнуряешь тело, тем больше расцветает душа», — так говорил Авва Даниил, а Авва Пимен утверждал: «Дух

Божий не войдет туда, где живут удовольствия и наслаждения».

Сухой хлеб, выпекаемый, возможно, раз в год или в полгода и размоченный в воде, соль, травы — вот пища монаха, но самые аскетичные из них и ели-то не каждый день. Обычно монах ел раз в день, вечером, но мог научиться обходиться без еды два дня, потом три и в конце концов, без труда постился неделю. Особенно суровые к себе отшельники считали, что даже сухой хлеб разжигает страсти. Теодот говорил: «Воздержание от хлеба успокаивает плоть монаха». Были такие, которые не притрагивались к еде, хоть как-то приготовленной, и, считая своим девизом слова: «Ешь траву, одевайся в траву и спи на траве», претворяли его в жизнь.

Еще один закон монашеской жизни — безмолвие. Арсений говорит, что даже воробьиное чириканье может помешать монаху обрести душевный покой, а уж о шелесте тростника под ветром и говорить нечего. От природы разговорчивый монах Агафон, чтобы научиться молчать, три года продержал во рту камень. Со сном тоже надо было бороться. Арсений научился довольствоваться одним часом сна, и ему этого хватало. Авва Сысой имел обыкновение проводить ночи, стоя на самом краю пропасти, то есть стоило ему задремать — разбился бы насмерть.

Однако когда великий аскет Макарий Египетский навел на занемогшего брата и спросил, чего бы ему хотелось, а тот ответил: «Хочу медовых коврижек», Макарий безропотно отправился за ними в Александрию, за шестьдесят миль, и принес. Любовь и милосердие были не менее важны, чем смирение и способность переносить лишения.

О детском очаровании жизни пустынников прекрасно написано у Руфина Аквилейского в его «Истории монашества в Египте». Итак, два древних

монаха долгие годы мирно жили рядом. Потом один из них сказал другому: «Давай поссоримся, как ссорятся другие». И когда второй ответил, что он не умеет ссориться, первый предложил: «Смотри, я положу этот камень между тобой и мной; я скажу, что это мой камень, а ты скажешь, что твой — так мы и поссоримся». И положив камень посередине, монах сказал: «Это мой!», а другой ответил: «Нет, мой!» Первый настаивал: «Ан говорю, что не твой, а мой!» И тогда второй ответил: «Если он твой, то возьми его». Так им, привыкшим жить в мире, и не удалось поссориться.

Сейчас в Египте осталось всего лишь семь действующих монастырей. Четыре из них — в Вади-Натруне, в знаменитой своей святостью пустыне Скетис; один — в Асьюте; два — в Аравийской пустыне, недалеко от Красного моря: Дейр Авва Була (монастырь Святого Павла) и Дейр Авва Антоний (монастырь Святого Антония).

Они существуют с IV века и являются самыми древними христианскими монастырями в мире. Можете себе представить, с каким огромным интересом я спускался по песчаному склону Вади-Натруна, чтобы увидеть, каковы монахи Египта теперь, как они живут, похожи ли хоть сколько-нибудь на своих знаменитых древних предшественников.

2

Пустыня постепенно спускается к озерам, богатым природной содой, где над обширными песками поднимается красная труба химического комбината. Фабрика в пустыне — необычное зрелище. Она напоминает доисторического монстра, пришедшего напиться насыщенной содой воды, существо, которое,

чувствуя свою уязвимость на открытой местности, подняло голову и вытянуло длинную красную шею, опасливо осматриваясь.

Рабочие живут в поселке поблизости, где есть также и пограничный пост. Заслышав шум нашего мотора, дежурный наряд, жители поселка, которые были не на смене, дети и собаки высыпали на улицу, чтобы поприветствовать нас. Капитан вежливо осведомился, куда я еду, и, выслушав ответ, предложил отправить со мной местного шейха и сержанта. Шейх оказался человеком средних лет с гвардейскими усами. Его головной платок удерживал на голове тяжелый золотой игаль (обруч) — раньше я видел такие только у членов королевской семьи, — а на поясе у него я заметил кожаную кобуру, из которой торчала рукоятка револьвера. Сержант был суданец шести футов ростом, одетый в форму цвета хаки. В руке он сжимал кнут.

Эти двое уселись в патрульную машину, чтобы прокладывать мне путь по песчаной местности, которая постепенно должна была превратиться в голую твердыню пустыни Скетис, простирающейся до границы Триполи и далее на запад, перетекая в Сахару с ее тремя с половиной тысячами квадратных миль пустоты и безлюдья.

Уже довольно высоко поднявшись, мы увидели три белых мазка на однородном фоне пустыни: один — обособленно, два других — рядом друг с другом. Увидеть здесь эти белые монастыри было все равно, что разглядеть корабли в бескрайнем море после долгого одинокого плавания. Шейх остановил машину и, указывая на монастыри, назвал мне их. Тот, что справа, на отшибе, — это Дейр эль-Барам; на шесть миль левее — Дейр Авва Бишой и Дейр эс-Сириани. Куда поедем сначала? Я выбрал Дейр эль-Барам. Но где же Дейр Абу Макар, самый знаменитый из всех? Шейх указал налево и сказал, что это в двенадцати милях, отсюда не видно.

Некоторое время нам были видны все три монастыря, и я успел разглядеть, что они построены по единому плану: прямоугольник высоких стен и только одни въездные ворота. Вокруг монастырей не было абсолютно ничего, кроме голой пустыни, простиравшейся насколько мог видеть глаз. Ни дороги, ведущей к воротам, ни следов колес, человеческих ног или копыт животных. Отсутствие хозяйственных построек придавало монастырям настороженный вид — казалось, их обитатели все время находились в состоянии боевой готовности. Три белые коробки на коричневом столе.

Сначала я видел только стены, белеющие на фоне песка, но когда мы приблизились к Дейр эль-Бараму, различил и приземистые белые арки, и крыши домов, и несколько пальм над крепостными валами — это были настоящие крепости. Каждый из монастырей готов был выдержать осаду, и тем, что у них такая долгая история, они обязаны прежде всего бдительности своих обитателей. Вот нас уже накрыла тень крепостной стены.

Шейх потянул за шнурок звонка. За воротами несколько раз слабо звякнуло. Но за этим ничего не последовало. Монастырь оставался молчаливым, как гробница. Глиняный кувшин с водой стоял на плоском камне рядом с воротами, и шейх сказал мне, что этот обычай существует «с давних, давних времен» — монахи оставляли воду у ворот для путешественников и бедуинов. В каждом монастыре, сказал он, есть такой кувшин. У врат первой же обители, которую увидел, я обнаружил материальное свидетельство милосердия и заботы о ближнем, которые отшельники в золотом веке монашества так высоко ценили.

На меня произвели впечатление не только толщина стен, но также огромный сводчатый проход — разительный контраст с самими воротами. Если проход был рассчитан на гигантов, то ворота — на карликов. Не

было нужды спрашивать о причине столь узкого входа: набегу, которым часто подвергались монастыри.

Наконец мы услышали чей-то голос и, подняв головы, увидели, что сверху на нас удивленно смотрит коричневый старик в белой скуфейке и запыленной черной рубахе. Что нам надо? Мы хотим войти? Кто мы такие? Задав кучу вопросов, он наконец пообещал, что сейчас нам откроет. Мы слышали, как он поворачивал ключи в многочисленных замочных скважинах, отодвигал засовы, и вот ворота робко приоткрылись. Наш древний привратник держал в руках три или четыре огромных ключа, один из них был с деревянными зубцами и достигал двух футов в длину.

Хотя мне не терпелось увидеть это странное место изнутри, я задержался на несколько секунд, разглядывая ворота: нигде не видел столько цепочек, задвижек, замков, деревянных засовов. Ворота выглядели так, как будто на них отметились все изобретатели запоров за последние десять веков. А чтобы уж совсем запечатать вход в монастырь, узкую канавку за воротами можно было еще засыпать камнями. Потому и мерцает еще свет христианства в пустыне Скетис.

Старик повел нас к весьма примечательной группе зданий. Все они сияли ослепительной белизной. Некоторые были увенчаны множеством куполов, напоминавших белые шляпки грибов. Здания толпились совершенно беспорядочно. Здесь имелась центральная площадь, сад-переросток с кустами и пальмами и несколько апельсиновых деревьев, отягощенных плодами. Мы прошли мимо келий. Дверь в одну из них была открыта — там, на коврике, скрестив ноги, сидел монах и сосредоточенно переписывал пером на пергаменте церковную книгу на арабском языке. Как и на старике-привратнике, на нем были белая скуфейка и черная галлабия.

Меня проводили в дом для гостей, современный, похожий на французский домик с верандой и деревянными пластинчатыми ставнями на окнах. Несколько монахов весьма преклонного возраста, похожие на черных жуков, выглядывали из своих келий, чтобы посмотреть на меня. Нищета, в которой они себя намеренно держали, не подлежала сомнению. А еще было заметно, что они, подобно древним отцам-пустынникам, считали мыло и воду непозволительной роскошью.

Меня провели в скромно обставленную комнату в верхнем этаже и усадили на один из диванов. На стенах висели фотографии в рамках — действующий патриарх и очень похожий на него другой бородатый человек, возможно его предшественник. Занавески из темной материи кое-как держались на карнизах, и я подумал: как безжизненно выглядит помещение, не знающее женского глаза. Возможно, для мужчины естественно жить в пещере, но не в комнате. Как только у него появляется комната, тут же требуется женщина, — выбрать цвет обоев, время от времени делать уборку, следить, чтобы все эти неодушевленные предметы, которые почему-то слушаются женщин, — коврики, ковры, стулья, столы, занавески, — были на своих местах. Неумело повешенные занавески напомнили мне о жилище одного монаха в Асьюте. Интересно, приходится ли иногда отцам-пустынникам обращаться за советом, как повесить шторы, как правильно сдвигать и раздвигать их, к более молодому собрату как к человеку, который еще недавно соприкасался с потерянным для них миром женщин.

Мои размышления прервались, когда в комнату вошел невысокий человек в черной рясе, круглом черном тюрбане и домашних туфлях. Мы поздоровались за руку. Я понял, что это настоятель. Думаю, посетивших Дейр эль-Барам за год можно пересчитать по пальцам. Тем не

менее настоятель приветствовал меня, как будто ожидал моего визита, и не задал мне ни одного вопроса — таковы древние законы гостеприимства. Но, понимая, что ему все же интересно узнать цель моего приезда, я сполна удовлетворил его любопытство. Один из монахов принес маленькие чашечки с обжигающим чаем.

Посещая потом другие монастыри, я приходил к выводу, что мне очень повезло с первым настоятелем. Этот человек был явно умнее большинства занимающих высокие посты в коптской церкви. От него я узнал, что в настоящее время в монастыре тридцать пять насельников и что слово «Барам» — это испорченный арабский вариант «Па Ромеос», что означает «монастырь римлян». Когда я спросил его, кто эти римляне, он рассказал весьма интересную историю.

Около 380 года н. э. два молодых монаха, два брата, прославленные чудесами, которые они творили, пришли из Палестины в пустыню Скетис. Этих монастырей еще не было, но в здешних пещерах и в тростниковых хижинах жило множество отшельников. Братьев звали Максим и Домаций.

Остальные отшельники называли братьев «молодые чужестранцы». Максим «достиг совершенства», а Домаций, очень набожный молодой человек, он... еще не вполне... Тут настоятель сделал едва заметное движение рукой, показывая, что второму брату до совершенства не хватало буквально самой малости.

Унесла ли их чума, или они не выдержали той аскетической жизни, какую вели, но только оба молодых человека скончались вскоре после прихода в Скетис, и «все собрались, чтобы проводить их души на небеса». Вскоре после этого святой Макарий Великий велел монахам построить церковь в честь «молодых чужестранцев» и назвать ее Па Ромеос.

По моей просьбе настоятель привел меня на крепостную стену, где обычно ходит караульный.

Отсюда, с высоты сорока футов, мы смотрели на простиравшуюся до горизонта пустыню и на здания в стенах монастыря. Все монастыри Вади-Натруна в основном одинаковы: укрепленные стены с единственными воротами, а внутри — церкви, кельи, трапезная, пекарня, мельница, хозяйственные постройки и производящая наибольшее впечатление высокая квадратная башня или, точнее, крепость, каср, обычно расположенная на отшибе и снабженная навесным деревянным мостом. Монахи могут забаррикадироваться в этой башне и поднять мост, если в монастырь ворвутся чужие.

Я спросил настоятеля, остались ли у них мечи и мушкеты со времен арабских набегов, но он удивился даже самому моему предположению, что монахи могут брать в руки оружие. Получается, что пятнадцать веков они отражали нападения врага, поливая его кипятком и забрасывая камнями. В последний раз на монастырь напали бедуины, и было это в XVIII веке.

Глядя на эти монастыри сегодня, естественно, предполагаешь себе, что вначале они были организованы как пахомианские монастыри. Но это не так. В IV веке пустыня Скетис была одним из самых известных прибежищ сенобитов, то есть живших монастырскими общинами, и отдельных монахов. Их здесь насчитывались тысячи, жили поодиночке и группами, объединяясь вокруг того, кого считали главным, в кельях, построенных из камня и тростника. Говорят, многие обитали в пещерах, но вряд ли в этой плоской пустыне нашлись бы подходящие для жизни пещеры.

Построили церкви, в которые монахи ходили по воскресеньям. Вкусив обычной пищи, они спешили возвратиться в свои кельи и осуществлять собственный план спасения души. В V веке, когда нередко были набеги местных племен, построили башни,

предшественницы современных касров, где монахи скрывались в случае опасности.

Следующая стадия строительства монастырей приходится на IX век, когда набеги участились, а потом приобрели регулярный характер. Тогда начали возводить укрепленные стены вокруг церквей и башен. В этот период монахи постоянно подвергались такой опасности, что просто вынуждены были сбиваться в общины, чтобы вместе прятаться за стенами монастырей.

Мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, что все нелестные характеристики современного коптского монаха («грязный», «ленивый», «никчемный» — вот слова, которые обычно употребляются) — это пережитки взглядов на монашество, существовавших восемнадцать веков назад. Идеал современного коптского монаха, как и его древних предшественников в IV веке, — спастись в одиночку. Он заинтересован в спасении только своей собственной души. Такие убеждения вряд ли заслужат похвалу большинства людей.

Сама скудость монашеского быта, отпугивающая и отталкивающая западных христиан, находится в полном соответствии с убеждениями первых отшельников. Когда благочестивая женщина Мелания увидела, как молодой дьякон, впоследствии ставший епископом Аскалона, моет руки и ноги, чтобы освежиться в знойный день, она неодобрительно вымолвила: «Поверь, сын мой, мне шестьдесят, и с тех пор, как ношу монашескую одежду, я ни разу не омочила в воде более, чем кончики пальцев, никогда не умывала лица, не мыла ног, ни других частей тела. Хотя я приобрела множество болезней и врачи убеждали меня мыться, я ни разу не согласилась и не позволила воде коснуться моего тела; и никогда не спала я на кровати и не подкладывала под голову ничего, кроме соломы».

Отшельники верили, что чем грязнее становится тело, тем чище делается душа. Муки, на которые обрекали себя отшельники — столпничество, подвиги Макария, отдавшего свое тело на растерзание комарам, и множество других терзаний и унижений, добровольно принимаемых монахами, — все это было для того, чтобы унизить тело и возвысить душу. Мы на Западе давно утратили эту древнюю связь между грязью и святостью, существовавшую в сознании отцов-пустынников, но мне кажется, что в коптских монастырях эта традиция сохранена. Наша максима «Чистоплотность угодна Богу» святому Антонию показалась бы гласом сатаны! И пока мы не поймем этого, мы не перестанем зло и несправедливо упрекать восточных монахов. Всякий раз, когда мне доводилось с ними сталкиваться, я напоминал себе, что не вправе судить их по меркам современного западного мира.

Настоятель привел меня в прохладную темную церковь, похожую на огромную гробницу. Она посвящена Деве Марии и стоит на месте древней церкви IV века. Некоторые фрагменты древней церкви сохранились, хотя большая часть постройки относится, думаю, к VIII веку или к еще более позднему времени.

Свет проникал в маленькие окошки высоко под сводчатым потолком. Все здесь было подернуто не поддающейся описанию патиной веков. Все поседело от древности, как дерево седеет от лишайников. Престарелые монахи бродили по церкви подобно привидениям. В нефе был насыпан целый холм зерна высотой примерно в шесть футов. Монастырь получает пшеницу и растительное масло из Каира, вернее, из окрестностей Танты, что в дельте Нила.

Церковь, как это принято в коптских церквях, была разделена на отсеки деревянными ширмами, и в одном конце ее находились обычные три алтаря. Слева, в тихом уголке, мне показали тела святого Максима и

святого Домация, зашитые в кожаные чехлы, а также мощи святого со странным именем «Моисей Разбойник».

Через дверь в конце церкви я вошел в святая святых: в центре стоял каменный стол более пятидесяти футов длиной и четырех футов шириной, сквозь окошки в сводчатом потолке проникал солнечный свет. Вдоль стола тянулась каменная скамья, а в торце комнаты я увидел каменный аналой. Это была трапезная, пыльная, грязная, с обшарпанными стенами. Стол завален кусками каменной соли и какими-то круглыми предметами, твердыми, как кирпич, — я решил, что это хлеб.

Когда я спросил об этом настоятеля, он тут же навязал мне пригоршню коричневых «камней», сказав, чтобы я размочил их в воде, как это делали монахи. Так поступал и святой Антоний шестнадцать веков назад, а святой Афанасий объясняет, что в Египте было принято печь хлеб на целый год вперед. Достойный удивления консерватизм: египетские монахи до сих пор едят этот черствый хлеб, посыпая его каменной солью, в точности так, как это делали первые отшельники.

Потом, пройдя по навесному мосту и поднявшись по массивной каменной лестнице, мы оказались в касре. Два этажа башни занимали комнаты со сводчатыми потолками, большей частью пустые, сильно нуждающиеся в ремонте. В них было темно, хоть глаз коли. Самое интересное из помещений — часовня Михаила Архангела; такая, как мне сказали, есть во всяком монастыре. На крыше — маленькая келья, построенная около двадцати лет назад для последнего из отшельников, монаха по имени Серабамум (производное от египетского Серап-Амон). Ему, как настоящему отшельнику, не подходила жизнь в монастыре, поэтому он жил в пещере в получасе ходьбы от Дейр эль-Барама. Он приходил в монастырь на Пасхальную неделю или на Рождество, что не

улучшало монахам настроения, ибо в разговоры отшельник ни с кем не вступал и свободную келью занять отказывался, устраиваясь в башне. Случилось так, что во время одного из его кратких визитов вышел из строя небольшой насос, приобретенный в редкий момент хозяйственного рвения, и, к удивлению братии, гость оказался единственным человеком, способным починить его! Некоторые восприняли это как настоящее чудо. Продемонстрировав неожиданное знакомство с XX веком, Серабамум собрал свое тряпье и с явным облегчением сбежал обратно в IV век. Мне не удалось выяснить, случалось ли монахам и в дальнейшем приглашать его как водопроводчика или электрика.

Вся община проводила меня до ворот. Мне указали на дорогу до Бишой и эль-Сириани^[5].

Глава девятая

Луксор

Я переправляюсь через Нил в Долину царей, вновь посещаю гробницу Тутанхамона и другие пирамиды. Беседую с шейхом Курны и наблюдаю закат над Нилом.

1

Поезд с белыми пульмановскими вагонами каждую ночь уходит из Каира на юг, в Луксор и Асуан.

Выглянув рано утром в окно поезда, я вижу, что мы исправно следуем вдоль достаточно высокой дамбы. Солнце высоко. Небо голубое. Деревни уже проснулись. Ослики быстро семенят, неся на спинах что-то округлое и громоздкое. Я замечаю лису — она крадется в свою нору по полосе, засаженной сахарным тростником. Женщины в широких, болтающихся на них одеждах идут к колодцам, неся кувшины на плече или на голове. В деревнях, сидя под пальмами у освещенных утренним солнцем стен домов, греются старики и молодые.

Не успеет теплый солнечный свет пролиться на Египет, как все здесь начинает протестовать, жаловаться и хныкать на разные голоса, напоминающие вздохи и стоны человека, несущего непосильный груз. Под ободранными навесами из пальмовых листьев медленно ходят по кругу быки; это хождение началось еще до того, как построили пирамиды, и вряд ли когда-нибудь кончится.

И вот они идут, сопя, не надеясь когда-нибудь прийти, жалобно пищат колеса сакиев, специальных

водочерпательных устройств, вращаясь медленно, словно мельницы Господа, и некоторое количество подвешенных сосудов, опорожняясь, вносят свою мгновенную лепту в благоденствие этой земли.

Возможно, когда-нибудь ученые, покопавших в этих древних песках, которые столько могли бы рассказать, обнаружат плоский камень с высеченным на нем планом первого, самого простого сакия. Ахнув от восхищения, ученый на внятном языке иероглифов прочитает имя изобретателя — Хи-Атх Робин-Сон^[6]. Ибо кто может сомневаться, что сакия, как и буйвол, — всего лишь шутка, которую приняли всерьез.

Люди с кожей цвета красного дерева, сияющей, как полированная мебель «чиппендейл», стоят в канавах, полных грязи, и при помощи шадуфа (нечто вроде колодезного журавля) погружают ведра в голубую воду, а потом поднимают их и выливают воду в оросительный канал. Через несколько часов, когда солнце будет палить сильнее, они сбросят одежду и станут похожи на бронзовые статуи.

Чем дальше поезд продвигается на юг, тем тише и безветреннее становится на Ниле этим золотым утром. Река лежит меж изумрудными полями маиса и сахарного тростника, как широкая бледно-голубая лента. На западном берегу поднимается к диким холмам Ливийская пустыня — иногда цвета львиной шкуры, иногда оранжевая. В долинах между холмами, в трещинах и расщелинах — свет: розовато-лиловый, сгущающийся местами до мглисто-голубого, оттенка цветущей лаванды.

Нил изгибается и петляет по зеленым полям, временами пропадая в пальмовых рощах, чтобы потом сверкнуть вновь, а потом опять потеряться в зелени, давая о себе знать лишь парусами судов, похожими на крылья усевшихся на пальмы белых птиц.

По вагону проходит проводник, стучит в двери купе и возвещает: «Луксор!» Туристы бросаются к окнам, сначала с одной стороны, потом — с другой, потому что приближается самое интересное в путешествии по Египту: Фивы, Долина царей, гробница Тутанхамона, Великий храм в Карнаке.

Выйдя из поезда, я выбираю симпатичную маленькую телегу арабия, запряженную двумя серыми в яблоках арабскими лошадами. Их сбруя позвякивает и позванивает колокольчиками, пока мы едем по улицам этого растущего, довольно мрачного, несмотря на яркий солнечный свет, города. Наконец перед нами предстает один из самых изысканных пейзажей в мире — берег Нила в Луксоре.

На берегу — два отеля. Один прячется в душистом саду, другой стоит у самой воды, как корабль на верфи. Несколько лавочек, обращенных фасадами к Нилу: сувениры, фальшивые древности, английские книги, аптека, принадлежащая шотландцу, фармацевту из Челси.

Я выбираю большой отель у самой реки. С балкона своей комнаты люблюсь на реку. Нил здесь в два раза шире Темзы в Вестминстере, но поверхность у него такая гладкая, что паром, курсирующий до западного берега, кажется, скользит по бледному зеркалу.

По другую сторону реки на фоне неба сияют Ливийские холмы. В долинах залегли синие тени, будто художник, писавший колокольчики в Кью, оставил на рыжеватых боках холмов несколько легких мазков.

В этот утренний час Луксор встречает стуком водяных струй по жестким листьям. Я вижу садовников, направляющих шланги на экзотические цветы, будто вырезанные из красного бархата, на заросли синей бугенвиллеи, на тысячи кустов, усыпанных красными и желтыми розами. Если их не поливать хотя бы месяц, сад засохнет и снова превратится в пустыню. Здесь

иногда не бывает дождя по шестнадцать лет, но постоянные усилия людей, поливающих сады водой из Нила, сделали этот участок одним из самых зеленых в Египте. Ни одного дождя за шестнадцать лет! Можете вы себе представить, какое в Луксоре солнце? Как оно выскакивает на безоблачное небо каждое утро, проводит на нем долгий золотой день, а вечером садится за Долину мертвых, исполнив перед этим целую симфонию красок — красные, оранжевые, лимонные, зеленоватые оттенки заполняют небо? И так день за днем, год за годом.

Уверенность в том, что завтра будет такой же прекрасный день, как сегодня, объясняет то чувство счастья и благополучия, которое снисходит на человека в этих местах.

2

Во время пребывания в Луксоре четырнадцать лет назад я обычно садился в лодку на восточном берегу Нила, переплывал на западный и, оседлав ослика, за час добирался до Долины царей, точнее — до гробницы Тутанхамона. Теперь все по-другому. Между двумя берегами намыло песчаный остров, там приходится вылезать из лодки, идти пешком, а потом садиться в другую лодку и плыть на западный берег. И там тоже вас ожидают значительные перемены.

Вместо осликов и повозок — штук двадцать стареньких «фордов» стоят с включенными двигателями «лицом» к Долине. Водители из кожи вон готовы выпрыгнуть — не то что из машины. Они кричат:

— Вам в Долину царей, сэр? Скорее садитесь ко мне в машину, сэр, и на обратном пути я отвезу вас в Рамессеум или к гробнице Дейр эль-Бахари — куда пожелаете! Садитесь, сэр, моя машина — самая лучшая!

Очень жаль, что ослики практически исчезли, потому что в Долину мертвых, по-моему, лучше ехать медленно, постепенно приближаясь к этой огненной расщелине, и видеть, как с каждым ярдом вокруг становится все мрачнее и пустынное. Это не то, что мчаться туда в автомобиле по тряской дороге.

Долина расширяется, дорога заканчивается, оранжево-желтые горы становятся выше и круче со всех сторон. Нижние склоны покрыты небольшими обломками известняка, выброшенными сюда три тысячи лет тому назад, когда под землей появились гробницы. Под ярким солнцем известняк кажется белым как снег. Здесь обнаружили шестьдесят одну гробницу, но лишь семнадцать из них открыты для осмотра. Сколько еще захоронений предстоит открыть, никто не может сказать. Большинство гробниц были разграблены в античные времена. Лишь одно царское захоронение не тронули — гробницу Тутанхамона.

В Долине не слышно никаких звуков, за исключением настойчивого стрекота маленького керосинового двигателя, вырабатывающего электроэнергию, чтобы освещать пирамиды. Оплачиваемые правительством гафиры, вооруженные заряженными дробью винтовками, охраняют пирамиды день и ночь. Весьма трогательно, что эти стражи происходят от тех самых грабителей, которые до недавнего времени посвящали свою жизнь поискам мумий и были готовы оторвать им руки и ноги в поисках золота, которое, как они верили, спрятано где-нибудь на теле мертвеца.

Входы во все гробницы совершенно одинаковы: ступеньки из известняка, ведущие вниз, внутрь горы, и заканчивающиеся черным отверстием в скале, забранном решеткой подобно двери в подвал. Одна из первых гробниц справа — молодого фараона Тутанхамона, самая маленькая и простая в Долине. Хорошо известно, что ее местоположение было утеряно

к тому времени, когда непосредственно над ней начали строить более позднюю гробницу — Рамсеса VI. Если бы строители отклонились на какой-нибудь ярд, они могли попасть в сокровищницу, которая находилась внизу, под ними.

Спускаясь по шестнадцати пологим ступенькам в гробницу, я вспоминал, как делал то же самое четырнадцать лет назад, когда погребальные камеры громоздились одна над другой до самого потолка, со всеми их сокровищами, хранящимися теперь в каирском музее.

Странное это было чувство — стоять перед двумя статуями-стражами и знать, что когда родился Александр Великий, они уже были здесь больше тысячи лет; уже две тысячи лет сжимали в руках свои жезлы, когда Вильгельм Завоеватель вступил на территорию Англии. Ужас, который охватывает в такие моменты, объясняется отчасти тем, что Время, неумолимо работающее над нами, даже когда мы спим, каким-то образом пощадило сокрытое внутри этой горы. Что не пострадали золото и дерево — не так удивительно, но вот цветы, коричневые от времени и готовые рассыпаться в мелкую пыль от прикосновения, тем не менее сохранили свою форму! И все это заставило меня задуматься о тех, чьи руки когда-то сорвали эти цветы и положили их там, где они все еще лежат.

Еще я вспомнил, как ждал снаружи и слышал приглушенный толщей горы стук молоточков и зубил, который один только и нарушал царственную тишину. От стены, отделявшей переднюю от самой погребальной камеры, отбивали кусочек за кусочком, пока наконец не различили в темноте слабо мерцающую нишу с гробами.

Итак, я снова в гробнице Тутанхамона. При бледном электрическом свете я поднялся на деревянную платформу и заглянул в другую комнату, где увидел красивейший саркофаг из красного гранита. Внутри

находится золотой гроб, повторяющий очертания человеческого тела, а в нем — довольно плохо сохранившаяся мумия юноши восемнадцати лет, именно в этом возрасте смерть унесла фараона Тутанхамона.

Открытые глаза золотой маски смотрят в потолок гробницы. Фараон изображен в плотно прилегающем к голове военном шлеме с символами его царства, грифом и коброй, на лбу. Его руки сложены на груди. В правой он сжимает плетень, в левой — посох с загнутой верхней частью — эмблемы его царской власти. Высокие фигуры, изображенные на стене — это он и следующая за ним Ка. В последней сцене фараона обнимает Осирис, уводя его в Царство мертвых.

Много о чем думается в этой безмолвной гробнице, но прежде всего просто радуешься, что обнаружившие могилу не увезли мумию царя в Каир, а оставили здесь, где она пролежала более трех тысяч лет.

3

Все утро я спускался в одну гробницу за другой. Коридоры имеют пологий уклон вниз, так что мумию фараона тянули вниз на специальных волокушах. Заканчиваются тоннели просторными помещениями, на стенах которых, освещенные неясным светом, фигуры и сцены из жизни богов выглядят такими же яркими, как и в тот далекий день, когда они были написаны. Коридор ведет еще ниже, в душную темноту, пока наконец вы не оказываетесь на расстоянии примерно пятисот футов от входа в гробницу, в погребальной камере.

На полу дюймовый слой черной пыли с обломками камней: осколки песчаника, красного гранита, алебаstra. Их присутствие здесь говорит о том, что когда-то охотники за сокровищами, торопясь добраться до золота, что-то разбили. Освещение тусклое, углы

комнаты погружены в глубокий сумрак. Свет включают и выключают, когда требуется, и когда он вдруг зажигается, то от потолка быстро отделяются какие-то темные предметы, будто приклеившиеся к нему черные лоскуты, и с беззвучным хлопком тают в горячем неподвижном воздухе.

Большие летучие мыши в гробнице Аменхотепа II, которые вызвали у меня такое отвращение четырнадцать лет назад, все еще исполняют свой *danse macabre*^[7] над лицом мертвого царя. Тот, кто когда-то был хозяином всей этой прекрасной земли, лежит теперь в темной комнате, глядя сквозь толстое стекло на их дрожащие крылья.

Пока я изучал одну из царских гробниц, свет из коридора вдруг загородили две фигуры. Один из пришедших был американец, другой — его гид. Американец вытер вспотевший лоб, снял плащ и спросил меня:

— Интересно, а как они расписывали стены? Разве у них было электричество?

Многие недоумевают, как художники могли сделать такие изысканные росписи глубоко под землей, притом что не осталось ни следа копоты от какого-нибудь светильника. Я ответил ему, что читал, будто древние использовали особое масло, не дающее копоты. Но есть и другая теория: что существовала система отражающих дисков, благодаря которой сюда проникал солнечный свет.

— А теперь, джентльмены, обратите внимание, — вклинился гид, — на глаз Гора. А вон там — священный павиан...

Я задержался ровно настолько, чтобы увидеть на лице посетителя озадаченное, но внимательное выражение, которое, возможно, возникало на лице Геродота в подобных случаях. Оставив американца слушать объяснения гида, я пошел назад, к выходу.

Теперь и дня не проходит, чтобы я не вспомнил, как там, внизу, в темноте стояли растерянный христианин и не слишком хорошо осведомленный мусульманин. А вокруг них — величественные боги Древнего Египта.

Я отправился в Эль-Курну — взглянуть на гробницы знати. Вместо мифических, очень условных сценок из загробной жизни, здесь — занятные и трогательные картинки реальной жизни. Тут вы можете увидеть людей, живших в Египте тридцать веков назад, — они одеты в лучшую свою одежду, пируют, слушают музыку, танцуют, заняты рыбной ловлей, охотой, сбором урожая, сидят счастливые в окружении родных и близких.

Какая пропасть отделяла фараона от остальных людей! Убежденность окружающих в его божественной природе нигде не явлена так очевидно, как в Долине царей. Фараону не позволено взять с собой в иной мир прелестные картины его земной жизни. Он не мог сидеть рядом с женой, держа ее за руку. Детям не позволялось играть около его трона. Считалось, что чудесные дни, проведенные им в саду или на озере, не будут способствовать упокоению его души. Он должен был оставаться богом среди богов, а душа его — питаться не воспоминаниями о земной жизни, а мрачной дружбой с другими божествами, которые, проверив у него «пропуск», сопровождают его в холодное царство Осириса. Даже в праве на тоску по земному дому, свойственную человеческой душе, фараону отказано. Он бог. Умирая, он возвращается домой и должен утратить всякий интерес к своему временному пребыванию на земле. Но насколько все иначе у простых смертных! Как ясно росписи на стенах гробниц обычных людей — эти семейные альбомы души — дают понять, что тоскующая, одинокая душа много раз вернется сюда погрузиться о безвозвратно ушедших днях!

Мне кажется, что самая симпатичная пара из всех изображенных на стенах гробниц — это жрец Рамос и его хорошенькая маленькая жена в Курне. Они сидят рядом на пиру. Она положила левую руку ему на плечо и ласково держит его за правую руку — в такой очаровательной позе в Древнем Египте часто изображали супругов. У него знак, подобающий его сану — деревянный жезл. Оба они спокойно смотрят прямо перед собой — на своих гостей.

Какая они чудесная пара, какой пример супружеской любви и дружбы подается нам из 1300 года до н. э. Только во времена раннего христианства нам снова доведется увидеть мужа и жену сидящими вместе. Каждый из них главенствует в своей сфере, и в жилище их царят мир и покой.

4

Когда я выбрался из гробницы на свет божий и глаза мои вновь привыкли к солнечным лучам, я увидел, что ко мне бегут люди. Тот, что подбежал первым, что-то сунул мне в руку. Опомившись, я понял, что это кисть руки мумии. Честно говоря, в тот момент мне было все равно, кому эта рука раньше принадлежала, была ли она когда-то красивой или наоборот уродливой — просто хотелось поскорее от нее избавиться. Она была сухая, черная, напоминала клешню и выглядела еще ужаснее, чем могла бы, из-за отсутствия одного пальца.

Человек, который всучил мне кисть, не желал брать ее обратно, думая, что раз я немного подержал ее, то теперь предпочту ее всему остальному, что совали мне его собратья, и отдам шиллинг именно ему. Пока я раздумывал, что делать, появился старик, коричневый, высохший, страшный, как мумия. Он медленно шел ко мне, опираясь на посох. Он двигался с закрытыми

глазами и, скорее всего, был слеп, но безошибочно находил дорогу среди разбросанных камней, а подойдя поближе, дикими взмахами посоха стал расчищать себе дорогу в толпе. Детишки с воем бросились врассыпную, но я заметил, что никто из получивших палкой не выказал негодования и обиды. Таково уважение к старости на Востоке.

Старик явно хотел сказать мне нечто важное. Когда до меня оставалось несколько ярдов, он медленно открыл глаза: они были затянуты бельмами. Мне очень захотелось поскорее уйти от этого страшного человека, но я решил сначала узнать, чего он хочет. Он медленно порывлся в своей одежде и извлек оттуда кусок гроба. Жутко было наблюдать, как этот старик, сам ходячая мумия, старается всучить мне обломок гроба. Мне стало тошно. Что за отвратительный промысел! В этот момент я даже готов был поставить выдающихся археологов, раскапывающих египетские гробницы, на одну доску с этим ужасным созданием.

Я еще раз взглянул на руку мумии, которую все еще держал в руках, и решил все-таки купить ее за шиллинг и похоронить, хотя бы для того, чтобы избавить от такого бесчестья. Похоже, мой выбор удивил толпу и особенно продавца. Торговцы с громкими криками умчались и вскоре скрылись за барханами, и только страшный старик остался стоять передо мной в нерешительности со своим куском желтоватой древесины.

У меня не было с собой даже газеты, чтобы завернуть руку мумии, а когда я попытался засунуть ее в карман, то ногти зацепились за ткань, и кисть застряла. Я уже стал жалеть, что купил ее. Бесполезно закапывать ее в песок или прятать под каким-нибудь камнем — все равно откопают и попытаются продать следующему туристу. Оставалось так и ходить с ней рука в руке, пока не найдешь надежного места захоронения.

Я был приглашен на чашку кофе к шейху в Курне и уже предвкушал, каково это будет явиться в дом самого важного в селении человека с таким неприятным предметом. Поразмыслив, я решил, что не буду ничего объяснять, просто сделаю вид, что привык носить с собой такие вещи. Шейх провел меня в комнату, почти лишенную обстановки, на втором этаже. В доме было полно живности. В коридоре мне попалась стайка кур, настроенных весьма агрессивно; в глиняных стенах стрекотали сверчки; шеренга муравьев, словно экспедиция в Афганистан, проследовала мимо меня в гору, а горой для них была любая неровность на полу. На стыке пальмовых стволов, служивших стропилами, свил свое гнездо, похожее на желтую губку, стриж. Время от времени он пролетал над нашими головами, на секунду распластывался на своем гнезде, а потом, описав по комнате дугу, снова вылетал наружу.

Босой мальчик принес на подносе турецкий кофе, и, прихлебывая из чашки, я заметил какое-то шевеление в углу, но вначале решил, что мне показалось. Приглядевшись, я увидел необыкновенную мышь. Размером она была с английскую крысу. Шкурка — желтовато-коричневая, одежду такого цвета нынче носит только королевский кучер. Уши были большие и круглые и вообще обладали всеми свойствами, привычными почитателям творчества мистера Уолта Диснея. Меня удивило, что животное величиной с крысу и, видимо, состоящее с ней в очень близком родстве, сохранило очарование маленькой мышки. В нем не было ничего зловеще-крысиного. Мышь бодро, словно на колесиках, вкатилась в комнату, покрутилась тут, что-то вынюхивая и благоразумно озираясь по сторонам, а потом снова выскочила. Шейх заметил мой интерес к мыши, но мы оба не проронили ни слова об этом, так же как обошли молчанием руку мумии, лежавшую между нами на диване.

Пока мы пили кофе в прохладной, погруженной в мягкий сумрак комнате, я спросил шейха, встречался ли он когда-нибудь с Абд эр-Расул Ахмадом. Он настороженно взглянул на меня — ведь я от светской беседы перешел к действительно значимым вещам. Я затронул бессмертную историю Курны. Он ответил, что хорошо помнит Абд эр-Расула девяностолетним, а также помнит его мать, которая ходила, опираясь на две палки, и скончалась в возрасте ста десяти лет. Историю про Абд эр-Расула стоит рассказать.

Немногим более шестидесяти лет назад определенное количество древностей было продано туристам в Луксоре. Некоторые из них археологи связывают с царями и царицами, чьи мумии так и не нашли. Власти, почуяв большое открытие, устроили расследование, и под подозрение попала семья, чьи предки жили в старой гробнице в Курне с XII века. Арестованные, эти люди ни в чем не признались, но, как это часто бывает на Востоке, кто-то проболтался, и вся история выплыла наружу.

Оказалось, что однажды летним днем 1871 года на холме, за Дейр эль-Бахари, некто Абд эр-Расул Ахмад обнаружил шахту глубиной сорок футов. Спустившись на самое дно, он увидел, что тоннель, который, как оказалось, имел длину двести двадцать футов, ведет внутрь другой горы. Ахмад прополз его весь и очутился в комнате, вырубленной в скале. Когда свет его факела упал на содержимое этой комнаты, у него перехватило дыхание, потому что он увидел такое, что даже ему, происходившему из семьи расхитителей могил, не могло присниться в самом чудесном сне. Пещера до потолка была набита гробами, мумиями, похоронными принадлежностями. Он держал в руке факел, освещая все это золотое великолепие. Сам того не ведая, Абд эр-Расул Ахмад случайно наткнулся на тайник, в котором жрецы в 966 г. до н. э. спрятали тридцать мумий царей,

чтобы спасти их от воров, которые грабили египетские гробницы с древних времен.

Радости Абд эр-Расул Ахмада, должно быть, пришел конец, когда он сообразил, что для того, чтобы сдвинуть тяжелые саркофаги и открыть ящики, ему потребуется помощь. Это значило, что придется допустить еще кого-то к удивительной тайне. Обдумав ситуацию, он решил довериться сыну и двум братьям. Четверо мужчин стали приходить в сокровищницу по ночам, обыскивать мумии, выносить легкие и небольшие предметы и сбывать их на рынке. Доходы их росли, и нужно было соблюдать большую осторожность, чтобы никто не догадался, что они сидят на золотой жиле. Но подобные сокровища трудно скрыть. Как только покупатели показали их в Европе, это возбудило такой интерес, что обнаружение тайной пещеры стало только вопросом времени.

Это был черный день для Аб эр-Расула Ахмада — после того, как у него вырвали признание, ему пришлось отвести Эмиля Бругша из Службы древностей в пещеру.

Да, я был вооружен до зубов, со мной была моя верная винтовка и патроны, — писал Бругш об этом своем приключении, — но ведь единственным, кому там можно было доверять, был мой ассистент из Каира Ахмед-эфенди Кемаль. Любой из местных с удовольствием застрелил бы меня, будь я один, ведь каждый из них понимал, что я пришел лишить их источника дохода. Но я ничем не выдал своего страха. Просто делал то, что должен был делать. Расчистили вход, я спустился и обследовал коридор. Скоро мы добрались до фарфоровых погребальных подношений, металлических и алебастровых сосудов, тканей и безделушек. За поворотом показались саркофаги для мумий, и в таком количестве, что я был просто потрясен.

Придя в себя, я рассмотрел их, как мог, при свете своего факела, и понял, что в них находятся мумии царствующих особ обоего пола. И это было еще не все. Опередив своего проводника, я добрался до самой комнаты и там увидел еще больше огромных тяжелых саркофагов, прислоненных к стенам или лежавших на полу. В их золотых крышках и отполированных поверхностях отразилась моя взволнованная физиономия. Казалось, я смотрю в лицо собственным предкам.

Среди обнаруженных в этом тайнике были мумии самых знаменитых царей и цариц Нового царства: Секенена-Ра, Аменхотепа I, царицы Нефертари, Тутмоса II и Тутмоса III, Сети I, Рамсеса II (который правил во время Исхода), Рамсеса III и многих других. Это были просто катакомбы египетских царей. Ничего подобного до тех пор не находили.

Из Каира прислали специальный корабль, и триста арабов шесть дней занимались погрузкой мумий на борт. Когда корабль поплыл вниз по Нилу, местные жители повели себя удивительно. На обоих берегах реки от Луксора до Куфта собрались толпы людей. Женщины громко стенали, рвали на себе волосы, посыпали лица пылью, мужчины стреляли в воздух из ружей, и все это — в честь фараонов.

От шейха я узнал, что Абд эр-Расул Ахмад, сильно разбогатевший на короткое время, умер в бедности глубоким стариком. Остаток жизни его терзал мираж, призрак мечты, которая материализовалась лишь для того, чтобы исчезнуть, едва он протянул к ней руки. Он ни за что больше не соглашался спускаться в подземный коридор после того, как мумии увезли. Лишь когда ему было уже девяносто, приезжий археолог Роберт де Рустафжель уговорил его отправиться туда и

сфотографироваться у входа. Но, дойдя до места, старик так расчувствовался, что потерял сознание.

Шейх, как положено у арабов по этикету, проводил меня до конца своих владений и оставил на солнцепеке. Пока я шел туда, где оставил арендованный «форд», ко мне подбегало еще несколько человек все с теми же древностями. За главного у них был бойкий мальчишка. Я сжался и прошел мимо. Вторая команда подстерегала меня за скалой. Ко мне подскочил молодой человек и вытащил из кармана своей галабии еще одну мумифицированную руку. Я угрожающе помахал ему имевшейся у меня клешней, но он не отставал, продолжал преследовать меня, а у меня за спиной переговаривались, и я услышал слова «Абу йадд». Итак, они дали мне имя — «Отец руки». Быстро разнеслась весть, что появился наконец человек, готовый платить хорошие деньги за руки мумий, так что все, у кого они были, тут же решили попытать счастья. Нашлось еще много продавцов, которых я отказался замечать, с достоинством проследовав к своей машине.

Когда я уже садился в лодку, чтобы переплыть Нил, юноша, сидевший на пороге тростниковой хижины на берегу, выбежал к воде, и, разумеется, я уже знал, что у него для меня есть очередная рука. Я оставил его разочарованного и одинокого на песчаном берегу. Он рассеянно засунул руку мумии куда-то в складки своей одежды и медленно побрел к дому.

С чувством тщеты, которое иногда охватывает всех реформаторов, я бросил руку мумии в воды Нила. Надеюсь, на дне, в священном иле, она обретет наконец покой.

Трудно описать тому, кто здесь никогда не бывал, красоту Нила в Луксоре. Слова «голубой», «жаркий», «спокойный», «желтый», в каком бы порядке вы их ни ставили, не передают истинной атмосферы. Благодаря здешнему климату и счастливому освещению Луксор встречает каждый рассвет в таком безмятежном покое, что это никогда не надоедает, хотя каждое новое утро совершенно такое же, как предыдущее.

Я не раз выходил на балкон ранним утром и видел именно то, что ожидал увидеть: синюю гладь Нила внизу при полном безветрии. Я мог определить, сколько времени, по тому, как лежит свет на Ливийских холмах напротив. Восходящее солнце сначала трогает хребты высоких гор за Долиной мертвых, окрашивает их в теплые розоватые тона, и этот цвет сползает вниз по горе по мере того, как солнце поднимается все выше. Свет льется вниз по холмам, меняя безжизненный зеленовато-желтый цвет их подножий на золотой. Потом каскад света теплым ливнем проливается на деревья в саду; потом я чувствую его на лице и руках. Медленно движется кораблик с поднятыми парусами — ветер слишком слаб, чтобы наморщить поверхность воды, но его хватает, чтобы наполнить парус; кораблик словно скользит по голубому маслу, оставляя на воде две расходящиеся к берегам линии. Так тихо, что слышно, как арабский мальчик поет на другом берегу Нила, на поле сахарного тростника в Курне. Я знаю, что он поет очень громко, старается изо всех сил: запрокинул голову и широко раскрывает рот. И все же, ведь это так далеко, — а звук до меня долетает! Ястребы висят в воздухе, удода приходят и приводят своих подруг поглазеть на меня самым наглым образом, старый садовник выходит со шлангом и направляет его в заросли пылающих цветов и на горячую землю.

Вечером, когда солнце садится за Ливийские холмы, в заколдованной тишине повторяется ритуал раннего

утра. А бывают вечера, когда небо на западе становится оранжевым, с тонкими темно-красными прожилками, и буквально видно, как эти языки пламени пульсируют в воздухе. Местные почти не обращают внимания на эти закаты, но у человека постороннего, приехавшего сюда вечером, возникает страх, что он как раз поспел к началу Судного дня.

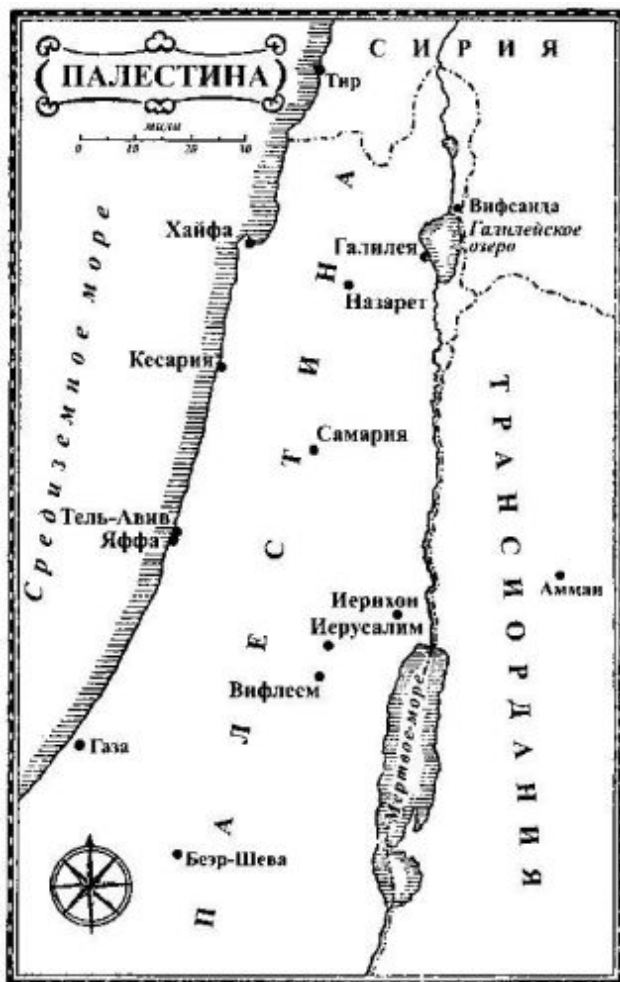
Минута за минутой яростная гамма становится все более приглушенной — гневно-красный цвет бледнеет до розового. Перистые крылья света поднимаются в небо стаями божественных фламинго и там повисают. Через некоторое время остаются лишь полосы цвета раскаленного докрасна металла на бледно-зеленом фоне. Потом минут десять тишины, когда, кажется, можно услышать, как готовятся к своему выходу звезды, а потом темнота, словно убийца из-за угла, набрасывается на мир.

ПАЛЕСТИНА

Глава первая

Иерусалим

*Я брожу по улочкам Иерусалима и
прихожу на Масличную гору.*



Переулки Иерусалима полосаты, как тигр. Полосы солнечного света чередуются с полосами тени. Некоторые базары — крытые, и под их сводчатыми потолками вечные сумерки, солнце проникает только сквозь трещины и отверстия в крышах, словно струйки воды вытекают из дырявого бурдюка. Но, в основном, все здесь — под открытым небом, и лишь минареты,

купола, башни отбрасывают тень на булыжную мостовую и на стены.

О стенах разных городов можно написать целую книгу. В Андалусии, на юге Испании, стены — это преграды влюбленным; в Тоскане стены возводили, чтобы защититься от убийц; в Англии, в Хэмптон-Корте например, стены служили для того, чтобы скрывать от посторонних глаз развлечения избранных. Но стены старого города в Иерусалиме не похожи ни на какие другие известные мне стены. В них есть некая уклончивость, коренящаяся в страхе и неуверенности. Они высоки, покрыты плесенью, осели от старости. А двери в них, кажется, устроены для карликов, и если позвонить в колокольчик или ударить проржавевшим железным молоточком, то прежде, чем отодвинут засов, откроется зарешеченное окошечко и в нем покажется глаз, окруженный морщинками.

Христиане пережили века преследований, когда, не имея сил оказать активное сопротивление, сохраняли веру и достоинство при помощи хитрости и дипломатии. Они с девическим страхом смотрели на мир из-за стен Иерусалима, подозревая в каждом, кто позвонит в звонок или постучит в ворота, осквернителя алтаря. Все красивое и ценное тщательно прятали за этими стенами, возможно намеренно отвратительными, — чтобы обмануть грабителей. Невольно вспоминаются монахини времен заката Римской империи, которые уродовали себе лица, отрезали носы, чтобы сберечь свою честь во время набегов варваров.

Иногда, когда боковая дверь открыта, за стеной в пятнах можно увидеть прохладный мощный дворик с «пеньками», оставшимися от римских колонн. Посередине дворика — дерево, под деревом — читающий книгу монах. Потом дверь закрывается, и вам остается гадать, была ли та мирная картинка

реальностью, или это виденье, промелькнувшее в вашем помутившемся от зноя сознании.

На приезжего, бредущего по узким улочкам Иерусалима, давит груз веков. И под ногами у него лежит несколько городов. Уже Иерусалим Евангелий стоял на чьих-то костях. А со времен Христа здесь поднялись и исчезли римский город Адриана, ранний христианский Иерусалим Константина, Иерусалим Омара, Иерусалим крестоносцев, Иерусалим Саладина, Иерусалим Сулеймана и еще множество турецких Иерусалимов. И все эти города, то есть то, что от них осталось, лежат под нами один на другом. Это почти ужасает. Идти по Иерусалиму — все равно что идти по самой истории, попирая ногами прошлое.

А еще здесь вас не оставляет чувство несвободы. Все эти маленькие темные переулки, высокие глухие стены, бестолково толпящиеся дома, выстроенные с божьей помощью, — окружены высокой городской стеной. Вы каждую минуту подсознательно чувствуете тяжесть брони иерусалимских стен. Вы либо внутри, за стенами, и постоянно ощущаете их крепкие объятия, либо вне, смотрите на них снаружи, и тогда вам приходит в голову мысль, что они, стискивая город своими коричневыми каменными плечами, изо всех сил пытаются уберечь его от остального мира и современной жизни.

По узкой улочке, вдоль глухой стены, проходя то полосу тени, то полосу солнечного света, я добрался до древних ворот Святого Стефана, в проеме изящной сарацинской арки увидел пейзаж и с облегчением вздохнул: сколько воздуха, открытого пространства, неба, гор, освещенных солнцем. А холм напротив — не что иное, как Масличная гора.

Поднимаясь к вершине холма, я добрался до здания Ротонды неподалеку от церкви Вознесения, принадлежащей теперь мусульманам. На площадке около Ротонды пожилой низенький гид в солнечных

очках, европейском костюме и алой феске рассказывал о Иерусалиме толпе английских туристов, указывая то туда, то сюда сложенным зонтиком. Я заметил, что он говорит с ними об Иисусе Христе, как миссионер, втолковывающий основные положения христианства кучке слабоумных патагонцев.

— Напоминаю вам, — сказал он, — что Господь наш вознесся на небеса.

Два-три туриста, уставшие от цитат, крутили головами и глазели по сторонам, а пожилой мужчина, этакий полковник с карикатуры в «Панче», при этих словах гида кашлянул, словно давая понять, что не очень прилично говорить о таких вещах вслух.

— Вот, смотрите, — продолжал гид, указывая зонтиком, — место Его вознесения как раз вон там, рядом с этим круглым маленьким зданием, в которое мы можем на минутку войти. Не забывайте, пожалуйста, что именно здесь Господь наш попрощался со своими учениками.

Туристы закивали. Низенький гид продолжал вещать высоким голосом:

— И сказал Он: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»^[8].

На несколько секунд воцарилось молчание. Мне хотелось бы думать, что людей, приехавших туристами в Иерусалим, как раньше ездили в Каир или в Афины, эти чудесные, светлые слова перенесли из пошлейшей ситуации, в которой оказывается любой турист, в совершенно другое измерение. «Я с вами во все дни до скончания века». Даже писклявый голосок гида, даже его акцент не лишили эти слова их высокого смысла. Мне показалось, что на всех нас на секунду снизошло что-то невыразимо прекрасное. Всего лишь на секунду.

Потом полковник откашлялся и спросил жену, не забыла ли она взять его солнечные очки.

Я спустился с Масличной горы. Над Иерусалимом полыхало полуденное солнце. Старый город компактно лежал в кольце своих стен, а за ними были разбросаны белые современные здания. Старый Иерусалим имеет цвет львиной шкуры: рыжевато-желтый, темно-коричневый, бледно-золотистый. Именно таким, должно быть, во времена Ирода Антипы его увидел Иисус: город-лев, лежащий на солнце, настороженный, мстительный, способный убить.

Глава вторая

Храм Гроба Господня

Я рассматриваю храм Гроба Господня, сравнивая Восточную и Западную церкви.

Полуденный свет залил внутренний двор храма Гроба Господня, когда я во второй раз в жизни посетил это поразительное скопление церквей.

Сначала очень трудно разобраться в его запутанной топографии. В общем, это круглый храм с Гробницей Христа, так называемой Кувуклией, в центре. В церкви несколько приделов. На четырнадцать футов выше остального храма, на горе Голгофа, находится еще один храм. В сложный комплекс входит также часовня Святой Елены, от которой ступени ведут вниз, в часовню Обретения Животворящего Креста, где Елена, мать императора Константина, нашла Крест. Два основных участка, на которых стоит храм Гроба Господня, — это Голгофа и сад, где находится гробница святого Иосифа Аримафейского, похоронившего Христа в своем склепе, «на том самом месте, где Он был распят».

Мрачность и ветхость храма производят гнетущее впечатление. Есть такие темные места, что мне приходилось поминутно чиркать спичкой, чтобы не заблудиться. Камень, дерево, железо — все в ужасающем состоянии. Я видел, как портятся полотна, я видел даже картины, от которых остались одни рамы, — изображения выцвели. Краска отваливается кусками, а они все висят на своих местах. Мрамор покрыт зловещими трещинами. Я подумал: как странно крайняя набожность сочетается с крайним небрежением. Храм Гроба Господня находится в состоянии запустения и

разрухи по единственной причине: замене любого полотна, реставрации любого камня, даже починке оконной рамы верующие придают такое огромное значение, что эти простые действия откладываются до бесконечности.

Колонны, коридоры, подземные пещеры, тоннели — все дошло до нас через шестнадцать столетий битв и пожаров. Здесь удивительная неразбериха, за одно или два посещения этот храм, этот лабиринт коридоров и приделов, объединяющих три главные святыни, ни за что не поймешь.

Я поднимался и спускался по ступенькам и, освещая себе дорогу колеблющимся пламенем свечи, исследовал погруженные во мрак галереи и коридоры. Однажды мне пришлось остановиться — я наткнулся на коленопреклоненных францисканцев, проходящих весь Крестный путь и не пропускающих ни одной остановки. Пламя свечей бросало бледные отсветы на их благоговейные лица — такие можно увидеть на стенах дома-музея Эль-Греко в Толедо. Первое впечатление об этом храме — множество пещер, полных сокровищ. Но его богатство не похоже на пышность католических церквей в Италии или Испании. Его роскошь и яркость — истинно восточные. Как будто все добро, награбленное за долгие века в Малой Азии, России, Греции, вывалили на эти алтари и осветили множеством свечей. Настоящее искусство бок о бок с пошлостью. Бесценная чаша, дар императора, соседствует с какой-то блестящей мишурой, которой самое место на рождественской елке. Сотни икон, отливающих старым золотом. По-византийски безжизненные лики святых.

Греческие монахи размахивают своими кадилами, и голубые облака ладана плывут мимо икон и позолоченных перегородок. Кажется, что прихожане, преклоняющие колени на мраморном полу, молятся витринам с экзотическими драгоценностями. Только в

приделе францисканцев вас ожидает привычный интерьер западной церкви. Там просто и холодно. Именно в Святой Земле понимаешь наконец, где пролегает граница между восточной и западной церквями. Те, кто привык отождествлять римско-католическую церковь с внешней пышностью культа и одеяний, здесь, в Иерусалиме, обнаруживают, что по сравнению с разодетыми в пурпур и парчу, окутанными густыми облаками благовоний, увешанными крестами с драгоценными камнями греками и армянами латиняне — степенные и скромные протестанты в коричневых сутанах, подвязанных веревками. Поднявшись по слабо освещенной лестнице, я оказался в толпе коленопреклоненных людей со свечками в руках. Человек рядом со мной вздохнул, как будто у него сердце разрывалось. Я бросил беглый взгляд и увидел типично нубийское лицо, отливающие голубым белки глаз, но мужчина это или женщина, определить не мог из-за пышных складок одежды, скрывавших очертания фигуры.

Итак, мы стояли на коленях перед алтарем, дрожавшим в желтом пламени свечей и золоченых светильников. Двумя колоннами от этого придела был отделен другой, где молились францисканцы, и свет перетекал на их простые, благочестивые лица. Представители двух христианских конфессий, одновременно преклонив колени, обратив лица в одну и ту же сторону, молились рядом, но в разных приделах.

Самое святое место на земле — гора Голгофа, на которой распяли Иисуса. Я осмотрелся в надежде найти что-нибудь, что дало бы мне представление о том, как она выглядела прежде. Но все стерто, все пропало под удушливым слоем благочестия. Итак, я находился в приделе Воздвижения Креста; а рядом был придел Пригвождения к Кресту.

Когда толпа поредела, я подошел ближе к алтарю. Там стоял греческий священник — гасил одни свечи, зажигал другие. Он поманил меня ближе и указал на серебряный диск с потеками воска — и ниже, на отверстие в камне, в которое, шепнул он мне, был вставлен Крест Господа нашего. Подошли паломники. С плачем и молитвами они дрожащими руками касались камня. Я ушел. Лучше бы мы ощущали это место в сердцах наших.

Я последовал за толпой паломников вниз по лесенке, в часовню Обретения Животворящего Креста, которая еще называется часовней Святой Елены. Если спуститься еще на несколько ступенек, оказываешься в гроте, где Святая Елена в IV веке нашла Крест. Крыша и стены здесь — из черного необработанного камня.

Меня, как и всякого паломника, неудержимо тянуло обратно, к мраморной Гробнице посередине круглого храма. Я долго сидел около нее, раздумывая о том, как недостойна Иисуса такая могила. Гробница была выстроена греками в 1810 году после пожара в храме Гроба Господня, так что древностью здесь даже и не пахнет.

Пока я там сидел, шли службы в трех разных приделах, и каждый из священников слышал двух других. Францисканцы служили у себя, по соседству греки тянули свои длинные немзыкальные молитвы. Со стороны коптов, чей алтарь находится за Гробницей, доносились жутковатые песнопения. У Гроба Христа звучат молитвы на латыни, на греческом, на языке Древнего Египта.

Западному человеку очень трудно — не стоит, пожалуй, и пытаться — понять, почему храм Гроба Господня принадлежит сразу нескольким церквям. Точнее, шести: римско-католической, греко-

православной, армянской апостольской, коптской, сирийской, абиссинской.

Западные церкви представлены римско-католической церковью, еще во времена Крестовых походов поручившей святыне места заботам францисканцев. Главу ордена францисканцев в Святой Земле называют «кастос» — «хранитель».

Совместное владение началось после того, как в 1187 году Саладин завоевал Иерусалимское королевство. Крестовыми походами западное христианство заявило о своих претензиях на владение Святой Землей в Палестине, и в течение восьмидесяти восьми лет христианского правления, установленного мечами крестоносцев, Западная церковь ими владела. Однако после мусульманского завоевания и восточные церкви нашли способ «получить свою долю»: выплачивая неверным арендную плату. Они заплатили за то, что крестоносцы завоевали с оружием в руках.

О смене влияний различных конфессий в храме Гроба Господня можно было бы написать захватывающую книгу. Каждый дюйм этого священного пространства учтен. Граница между владениями францисканцев и греков так же реальна, как граница между Италией и Австрией; и места, где копты, сирийцы, армяне могут отправлять культ, закреплены за ними веками.

Гробница Господа нашего и ротонда, в которой она находится, являются общим достоянием всех церквей. Здесь все имеют право устраивать процессии и отмечать религиозные праздники. Хоры крестоносцев, отходящие от ротонды, принадлежат грекам, а в соответствующем приделе с северной стороны — приделе Явления Христа и Богоматери — находятся хоры францисканцев. Копты, как я уже сказал, разместились у самой Гробницы.

У сирийцев темный-претемный придел, лишенный всяких украшений, с низенькой, похожей на вход в

тюрьму дверцей. Часовня Святой Елены и часовня Разделения Риз принадлежат армянам. Голгофу делят латиняне и греки; придел Воздвижения Креста — греческий; а примыкающий к нему Пригвождения к Кресту, а также алтарь *Stabat Mater*, место, где Богоматерь обняла мертвое тело Иисуса, — принадлежат латинянам.

Можно и дальше перечислять святыни, но я, пожалуй, ограничусь самыми главными. Вот, например, Абиссинскую церковь, которая еще в XVI веке обладала довольно значительной территорией, постепенно вытеснили, и теперь темнокожие монахи нашли пристанище на крыше часовни Святой Елены — там лепятся друг к другу их хижины.

Некоторым сектам и церквям вообще пришлось отказаться от своих участков в храме Гроба Господня. Например, в 1644 году ушли отсюда грузины — не смогли выплатить непомерный взнос турецкому правительству.

Осуждая мелкие перепалки, которые случаются иногда между представителями разных конфессий в храме Гроба Господня, люди не принимают в расчет крайней деликатности ситуации. Разумеется, такие ссоры недостойны верующих и весьма прискорбны, но по-человечески понятны.

Как я уже говорил, большая часть территории размечена, и границы, хотя и не видимые глазом, настолько освящены традициями, будто кажутся вполне реальными. Но некоторые святыни являются общим достоянием, и представители любой церкви имеют право зажечь там светильник по какому-нибудь поводу. Иногда, чтобы сделать это, приходится вторгаться в чужие приделы. Это опасный момент. Когда процессия коптов проходит по территории греков и армян или наоборот, соблазн бывает слишком велик, чтобы ему противостоять.

Один мой приятель как-то водил по Иерусалиму ныне покойного епископа Гора и спросил его, что, по его мнению, сказал бы Иисус о сектантских распрях, бушующих вокруг Его могилы.

— Я думаю, Он улыбнулся бы своей удивительной улыбкой, — ответил епископ, — и сказал бы: «Должны же быть у моих детей игрушки. А дети вечно ссорятся из-за игрушек».

Глава третья

Гробница Иисуса Христа

*Встреча с паломником у Гроба
Господня.*

Гробница Иисуса Христа — это маленькая келья с мраморными стенами, шесть с половиной футов в длину и шесть футов в ширину. Одновременно в ней могут находиться три-четыре человека, не больше. Справа — растрескавшаяся глыба белого мрамора в три фута высотой, покрывающая скалу, на которую Его, снятого с креста, положили.

С мраморного потолка этой крошечной кельи свисают светильники, принадлежащие греческой, римско-католической, армянской, коптской церквям. Католики известны в Палестине как латиняне.

Когда я вошел, у глыбы стоял бесстрастный греческий монах с мягкой черной бородой, в черной рясе и высокой черной шляпе без полей, под которой волосы были собраны в пучок. В руке он сжимал множество свечей и, когда в келью входили паломники, давал каждому по свече, чтобы они зажгли их от уже зажженных.

Один из паломников преклонил колени перед могилой. Я решил не мешать ему и подождать в маленькой передней.

Прождав довольно долго и потеряв терпение, я нагнулся и, заглянув в низенький проем, увидел, что человек этот — старый согбенный крестьянин в оборванной одежде, обутой в огромные войлочные башмаки. Этот болгарин приплыл сюда на корабле паломников, как обычно приплывают русские. Возможно, всю жизнь копил деньги на поездку.

Крестьянин беспрестанно целовал мраморную плиту, слезы текли по глубоким морщинам на его лице и капали на камень. Своими большими, грубыми руками с потрескавшимися, почерневшими ногтями он нежно гладил мрамор, молился и часто крестился.

Он молился громко, дрожащим голосом, я не понимал ни слова из того, что он говорил. Потом достал из кармана какие-то обрывки грязной бумаги и клочок ленты, потер их о камень и положил обратно в карман.

Я решил, что, пожалуй, и мне хватит места внутри, просунул голову, потом вошел. Мы с греческим монахом и коленопреклоненным крестьянином заняли все небольшое пространство. Потревоженный моим появлением, старик поднялся с колен. По лицу его все еще текли слезы. Он что-то шепнул мне. Мы с ним теперь стояли лицом к лицу, вплотную друг к другу, и, взглянув ему в глаза, я понял, что вижу истинно счастливого человека.

Исполнилась мечта его жизни. Никогда раньше мне не случилось видеть такого радостного, такого умиротворенного выражения на человеческом лице. Я бы все отдал за возможность поговорить с ним, но вот мы стояли рядом здесь, у Гроба Господня, он что-то шептал мне, а я не понимал и только бестолково мотал головой.

Тогда он повернулся к греческому монаху и повторил ему то, что только что сказал мне. Но и монах его не понял и тоже помотал головой. Крестьянин пришел в страшное волнение. Он чуть возвысил голос, поднял глаза на мраморную плиту, снова посмотрел вниз и указал сначала себе на лоб, а потом на светильники, которые висели над гробом Христа. Тут монах наконец понял. Важно кивнув, он опустил один из светильников, висевших на цепях, взял клочок ваты, окунул его в лампадное масло и ватой начертал крест на лбу крестьянина.

Старик снова упал на колени, обратившись лицом к Гробу. Он не хотел уходить. Видимо, разум его слегка помутился от религиозного экстаза. Грубыми, покрытыми шрамами и трещинами ладонями он все гладил и гладил мрамор, любовно, как волосы ребенка. Наконец, пятась, он отошел от Гроба, и полумрак придела Ангела поглотил его.

Глава четвертая

Вифлеем

Я знакомлюсь с нынешними жителями Вифлеема и захожу в церковь Рождества Христова.

1

Белые дома жмутся к слону холма, как стайка испуганных монахинь. Они стоят у края дороги и со страхом смотрят вниз. Заканчиваются полосатые террасы, и начинаются голые скалы. Последние оливы, кажется, изо всех сил стремятся убежать от жары обратно на террасы. Белые дома смотрят на них удивленными глазами-окнами, разинув рты-двери. Солнечные лучи лупят по земле с голубого неба.

Над плоскими белыми крышами поднимаются колокольни мужских и женских монастырей. В знойном воздухе почти постоянно стоит колокольный звон: либо братьев-салезианцев, либо сестер-викентианок созывают на молитву. В начале дороги, ведущей наверх, в белый город на холме, — щит, самым абсурдным образом возвращающий эту местность в реальный мир. На ней написано: «Граница муниципального округа Вифлеем. Сбавить скорость».

Путешественник, который, подъезжая к Вифлеему, думает, например, о Святом Луке Боттичелли, в изумлении останавливается перед этим щитом. Ему никогда раньше не приходило в голову, что у Вифлеема, как у всякого города, могут быть границы. Ему поначалу кажется чуть ли не святотатством, что здесь имеются мэр и муниципалитет. Потом, когда, устав чувствовать,

человек начинает думать, его вдруг осеняет, что мэр Вифлеема — потрясающий символ. Это знак почти ужасающей продолжительности человеческой истории. Предшественники этого самого мэра исполняли здесь свои обязанности во времена Ветхого Завета, когда и Христа еще не было. Вифлеем упрямо постоянен, как большинство палестинских городов, по которым прокатилась не одна волна завоеваний, а им будто все равно. Вифлеем видел евреев, римлян, арабов, крестоносцев, сарацин, турок. И все они оставляли свои «щиты» с объявлениями. И вот теперь — объявление по-английски, которое, к тому же, призывает вас «сбавить скорость».

Поднимаясь по холму в Вифлеем, вы желаете только одного — чтобы вас оставили в покое; но молодые арабы с горящими глазами, в европейской одежде и красных шапочках тарбушах почти насильно влекут вас в диковинные лавчонки. Там предлагают изделия из перламутра, древесины оливы, черного камня из Мертвого моря. Если все это не производит впечатления, вам пытаются продать платье Вифлеемской невесты. Когда вы спрашиваете, что, черт возьми, вы будете делать с таким экзотическим приобретением, они улыбаются и просто суют его вам в руки:

— У вас нет жены? Ах, английский девушка очень понравится... такая красота... Послушайте, сэр...

Они будут счастливы, если вы купите хотя бы открытку.

Страсть к законности, которая так понятна британцам и приводит в такое недоумение арабов, поселилась и в древнем Вифлееме: в городе появилось новое учреждение — Вифлеемский полицейский участок.

— Правосудие! — воскликнет араб. — В старые времена, при турках, мы платили деньги судье и заранее знали, чем кончится суд, а теперь мы платим гораздо

больше денег адвокату и ни в чем не уверены до самого конца. И это называется правосудие!

Этот полицейский участок — как новый экслибрис в старой-старой книге. Сама его новизна подчеркивает иллюзорность власти. В нескольких шагах от участка начинается главная улица Вифлеема — узкая, то ныряющая вниз, то взмывающая вверх, с бестолково толпящимися белыми домами. Даже на Родосе, Мальте, Кипре, где крестоносцы изрядно задержались и укрепились, нет ничего, что было бы настолько в их духе, как главная улица Вифлеема. Здесь до сих пор живут крестоносцы и смотрят на вас голубыми европейскими глазами. И пусть они называют себя арабами-христианами — лица у них фламандские и французские, а может быть, и английские. Какая-нибудь старушка, сидящая у белой стены, поднимет голову и взглянет на вас глазами с портретов Мемлинга.

Считается, что и фасоном одежды здешние женщины обязаны крестоносцам. Замужние носят высокие головные уборы с вуалью, заколотой под подбородком и ниспадающей на плечи и спину. Это то, что в средневековой Европе превратилось в высокий колпак с вуалью, — такие головные уборы у всех сказочных принцесс. Был ли этот фасон привезен в Палестину европейскими женщинами во времена крестовых походов или возник здесь, на Востоке как убор с серебряным рогом, который только недавно перестали носить сирийские женщины, и потом перекочевал в Европу, — сказать не могу. Но те, кто изучал местную одежду и влияние крестовых походов на Вифлеем, сходятся на том, что и головные уборы, и лица под ними — наследие Иерусалимского королевства.

Почему бы и нет? Вифлеем — совершенно христианский город. В наказание за неповиновение мусульман около века тому назад выдворил отсюда ужасный Ибрагим-паша, о котором в Вифлееме хранят

такую же память, как о судье Джеффрисе в Уилтшире. Да, в последнее время некоторые мусульмане вернулись, но очень немногие.

Веками христиане, то есть, если хотите, потомки крестоносцев, жили в Вифлееме, держались довольно обособленно, и все же вступали в смешанные браки, сохраняя, таким образом, здесь европейскую кровь.

2

Сам городок маленький и не испорчен внешним влиянием. Часть главной улицы занимают магазины и мастерские. А она настолько узкая, что сапожник, сидящий на одной стороне, не повышая голоса, может переговариваться со своим приятелем-бакалейщиком, устроившимся на другой.

Вифлеем показался мне мирным и добрым городом. Если в Иерусалиме ощущаешь напряженность духовного конфликта, то Вифлеем — городок спокойный и, думаю, счастливый. Мусульманство здесь под замком, его почти не слышно. В Вифлееме только один муэдзин и очень много колоколов.

Временами мне казалось, что если бы белые домики окружали деревья или заросли бугенвиллей, я вполне мог бы себе представить, что нахожусь в маленьком андалузском городке. Но не получается. Мешают раскаленные солнцем холмы Иудеи на горизонте.

Когда-то я читал рассказ, кажется, Герберта Уэллса, там герой внезапно обнаруживает в обыкновенной стене дверь, ведущую в сад Гесперид. Я вспомнил об этом в Вифлееме, наткнувшись на дверь в массивной стене. Дверца была такая низенькая, что даже карлику пришлось бы нагнуться, чтобы пройти. Стена принадлежала храму Рождества Христова. Говорят, что все двери в храм, кроме этой, давным-давно

замурованы, а эта нарочно сделана такой низенькой, чтобы неверные не смогли ворваться сюда верхом и порубить саблями прихожан.

Но стоит войти, разогнуться и поднять голову, как тут же окажешься — в Риме! Это Рим Константина Великого, или, я бы сказал, Новый Рим. Ничто в Палестине меня так сильно не удивляло. Ожидал увидеть обыкновенную восточную богато украшенную церковь, темный, перегруженный алтарь, беспорядочно расположенные лестницы и коридоры перестроенного здания — и вот оказываешься в холодной, суровой римской базилике. Массивные коринфские колонны из какого-то грубого красного камня поддерживают крышу и делят пространство на главный и боковые нефы. Эту церковь построил Константин Великий в знак того, что стал христианином. Чудо, что она сохранилась, — другие храмы того времени обратились в пыль. Итак, самый ранний христианский храм действует и выглядит почти таким, каким его когда-то построили. На стенах сохранились остатки потускневшей золотой мозаики.

Я взглянул на потолок: осталось ли что-нибудь от английского дуба, которым король Эдуард IV укрепил крышу церкви Рождества Христова. Он велел спилить лучшие дубы и еще послал тонны свинца в Венецию, откуда все это переправили в Яффу. Здесь драгоценный груз приняли францисканцы и отправили в Вифлеем. Думаю, что свинец турки в XVII веке расплавили, а пули, отлитые из него, использовали против той самой Венецианской республики, которая послала его в Палестину. Но как знать, может быть, в потолке римского нефа сохранился кусочек дуба, возросшего в лесах Англии XV века.

Церковь выстроена над пещерой, в которой за два столетия до принятия Римом христианства появился на свет Иисус. Возможно, во времена Адриана этот грот был священным для христиан. Император, чтобы унизить

и оскорбить их, а пещеру осквернить, как пытался осквернить Голгофу, построил над ним храм Адониса. Константин снес этот храм и поставил на его месте храм Рождества Христова. Во всем этом есть нечто трогательное: Римская империя пока не поняла, что это за новая вера, но, сама себе удивляясь, преклоняет перед ней колени. И все же чувствуется, что эти колонны — скорее, колонны храма Юпитера, чем христианского храма.

В церкви шла служба. Я думал, что в хоре поют монахини, но это были обычные вифлеемские женщины в тех самых головных уборах с вуалями. Под высоким алтарем находится пещера, которая по традиции считается местом рождения Христа. Туда ведут ступени по обе стороны от хоров. Мне пришлось прижаться к стене, спускаясь по темной лестнице, потому что навстречу попались двое чернобородых греческих монахов в облаке ладана.

Серебряные светильники лишь слегка рассеивают мрак в пещере. Она небольшая — около четырнадцати ярдов в длину и четыре ярда в ширину. Стены затянуты материей, везде — застоявшийся запах ладана. Отодвинув ткань, вы увидите грубые, покрытые копотью стены. Золотая и серебряная церковная утварь поблескивает в слабом свете пятидесяти трех светильников.

Я думал, что один в пещере, пока кто-то не зашевелился в темноте, — полицейский всегда на посту, чтобы в случае необходимости прекратить распри между греческими и армянскими священнослужителями. Эта церковь, как и храм Гроба Господня, страдает от того, что у нее несколько хозяев. Она принадлежит латинянам, грекам и армянам.

Представители всех конфессий так ревниво относятся к своим правам, что даже просто стереть с какого-нибудь предмета пыль чревато конфликтом. А

есть тут столб с тремя гвоздями: на один из них могут повесить что-нибудь латиняне, на другой — греки, а на третий, «ничей» гвоздь никто ничего не имеет права вешать.

Под престолом — серебряная звезда, а вокруг нее — латинская надпись «Здесь Иисус Христос родился от Девы Марии». Попытка убрать эту звезду много лет назад привела к ссоре Франции и России, которая переросла в Крымскую войну.

Все это может показаться абсурдным. Да, мир, увы, несовершенен. И лучше, находясь в церкви Рождества Христова или в храме Гроба Господня, постараться забыть о человеческих слабостях, омрачающих истинную красоту.

Стоя в темноте и вдыхая едкий запах подземелья, я позабыл все вычитанное о Рождестве из ученых книг немецких профессоров. Мне казалось, что в морозном воздухе я слышу голоса, поющие по-английски:

О, придите, верующие,
Радостные и ликующие,
О, придите вы
О, придите вы в Вифлеем!

Как отличается эта тесная темная пещера под церковью от того хлева с яслями, который с детства живет в нашем сознании! Ребенком я представлял себе крытый соломой английский амбар с деревянными корытами для овса и сеном, на которое волхвы становились на колени, чтобы поклониться новорожденному. В моей памяти возник белый Сочельник и зазвучали голоса певцов:

И пастухи свои стада
Пасли, как им пристало.

Зажглась на небесах Звезда,
И слава воссияла.

На темной лестнице что-то ритмично позвякивало. Вскоре в пещеру, помахивая кадилом, вошел греческий священник с черной курчавой, как у ассирийского царя, бородой. Благовония клубились и сгущались в облака. Грек окурив алтарь и звезду, потом деловито ненадолго преклонил колени, поднялся и поспешил наверх, в церковь.

Под церковью целый лабиринт подземных коридоров. Там же находится темное помещение, где святой Иероним вел свои ученые споры и работал над Вульгатой, переводя Библию на латинский язык.

Но я вернулся в пещеру, пропахшую ладаном и освещенную пламенем светильников. Там было полно детей. Они стояли по двое на ступеньке. Дети подходили к престолу по очереди, опускались на колени и быстро целовали камень рядом со звездой. Их маленькие личики казались в сумерках очень серьезными. Некоторые зажмуривались и шептали слова молитвы.

Дети едва успели выйти, как снова послышалось звяканье, и опять появился греческий священник, похожий на ассирийского царя.

Глава пятая

Галилея

Я отправляюсь на лодке по Галилейскому морю вместе с местными рыбаками, брожу с ними по окрестным берегам и наблюдаю рыбную ловлю.

1

Однажды утром я спустился к маленькой пристани и нанял лодку, чтобы денек порыбачить на Галилейском море.

Лодка оказалась большой, неуклюжей посудиною. Четверо рыбаков, сменяя друг друга, гребли толстыми, похожими на оглобли, веслами. На дне лежал парус — на случай если неожиданно повезет с ветром. Итак, мы шли ярким, солнечным днем по спокойному голубому озеру.

Человек шестьдесят занимаются на Галилейском море тем же, чем занимался в свое время святой Петр. Все они арабы и, по большей части, мусульмане. На озере используют сети трех видов: ручная *шабаке*, бредень *йарф* и невод *м'баттен*. Наиболее распространены первые два вида. Ручная сеть используется по всему озеру, а бредень — главным образом, в его северной оконечности, в устье Иордана.

Пока двое рыбаков гребли, двое других, сидя в лодке, готовили сети — с очень мелкими ячейками и маленькими свинцовыми грузилами по внешнему краю. Забрасываются они вручную и, похоже, именно тем способом, который упоминается в Евангелиях. Ученики, когда их впервые призвал Иисус, этим и занимались.

Самый молодой из рыбаков вполне прилично говорил по-английски, и от него я узнал, что рыбачить на Галилейском море — не очень-то доходное дело.

— Мы всю ночь ловим рыбу, — сказал он, — а утром получаем за нее всего лишь несколько пиастров. А вот торговец — он получает потом много-много пиастров...

И мысли мои от лазурных вод Галилеи устремились на север, к холодному Северному морю, сардинному промыслу в Корнуолле, где я так часто слышал похожие жалобы от простых людей. Такова судьба рыбака.

Стояло полное безветрие. Небо сияло голубизной. Но Абдул, самый молодой рыбак, потянул носом воздух, посмотрел на юг и объявил, что надвигается шторм. Такие неожиданности всегда были одной из особенностей Галилейского моря. Волнение начинается в нижних слоях воды, а потом и поверхность озера покрывается волнами, которые часто опрокидывают маленькие лодочки. Дело в том, что ветры с запада, прежде чем добраться до глубокой впадины, где лежит озеро, петляют в сотнях ущелий и узких долин. Вот только что был полный штиль, а через минуту ты уже в бурном море, и приходится бороться за жизнь. Абдул сказал, что недавно трое утонули, и тела их еще не нашли.

Одна из таких бурь прекрасно описана в Евангелии от Матфея:

И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его. И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, малoverные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: кто это,

что и ветры и море повинуются Ему? (Мф 8, 23-27)

Какое чудесное было утро! Берега постепенно отдалялись, не слышно было ни звука, кроме скрипа уключин огромных весел, плеска воды и песни арабов: один тихо пел куплет, а остальные громко подхватывали припев.

Мы шли к противоположному берегу. Горы Гегесы по мере приближения казались все страшнее и враждебнее. Должно быть, так же они выглядели и во времена Христа: сухие, выжженные, изрезанные многочисленными темными ущельями и пещерами, куда никто не решился бы пойти с голыми руками.

Как точно изображена в Евангелиях природа этой страны! Даже сейчас, по прошествии двух тысяч лет, в Гегесе каждую минуту ожидаешь встречи с бесноватыми.

С одной из этих круч стадо гадаринских свиней, в которое Иисус переселил бесов, бросилось в воду и утонуло. Кстати, вас не смущает, что свиньи, нечистые у иудеев животные, паслись около Галилейского моря? На склонах этих холмов и сейчас можно обнаружить развалины греческих городов, процветавших во времена Иисуса. Дело в том, что это были города Декаполиса, и в них говорили по-гречески. Их жители ничего не имели против свинины.

Мы высадились на берег и стали карабкаться вверх по горячим камням. Поблизости стояло три-четыре шатра бедуинов. Бедуины, по правде говоря, выглядели довольно жалкими и голодными. Все племя собралось и смотрело на нас исподлобья, пристально, как смотрят животные.

Отойдя немного в сторону, мы оказались в дикой маленькой долине, где росло разве что несколько полосок ячменя. Бедуин, стоя на четвереньках, ел траву.

— Он голоден, — объяснил Абдул, — а больше ему есть нечего.

— Но ведь в озере полно рыбы, — возразил я. — Почему он не наловит?

Моя реплика озадачила Абдула. Он пожал плечами и ответил:

— Бедуины не ловят рыбу.

Бедственное положение этого человека так потрясло меня, что я совершил привычный для европейца акт милосердия — дал ему шиллинг. Но для того, чтобы что-нибудь купить на него, ему придется либо переплыть Тивериадское озеро, либо пройти тридцать миль по горам!

Бедный Навуходоносор! Он внимательно посмотрел на монетку у себя на ладони и поблагодарил меня. Потом, с учтивостью, присущей арабам пустыни, нагнулся, быстро сорвал несколько былинки и сунул мне в руку. Это было все, что он мог мне дать.

Мы снова отплыли и направились туда, где предполагались развалины Капернаума. Этот город, который, как и все поселения по берегам озера, был хорошо известен Иисусу, исчез с карты. Однако многие археологи считают, что он находился на восточном берегу озера, там, где сейчас развалины из черного базальта. Недавно там обнаружили очень красивую синагогу.

Синагога в роще эвкалиптовых деревьев больше похожа на небольшой римский храм. Многие верят, что это та самая синагога, в которой проповедовал Иисус, но думаю, что не ошибусь, если скажу, что это гораздо более поздняя постройка — возможно, II века.

За десять минут от Капернаума на лодке можно добраться до небольшой бухты, на берегу которой, говорят, была Вифсаида. Рядом находится убогая арабская деревенька под названием Медждель.

Предполагается, что на ее месте стояла Магдала, город Марии Магдалины.

Мы пристали к берегу безлюдной маленькой бухты. Один из рыбаков заткнул полы одежды за пояс и вошел в воду, перекинув через левую руку сеть. Некоторое время он стоял, словно выжидая. Потом быстрым движением забросил сеть. Она опустилась на воду, как опускается на пол подол пачки, когда балерина низко приседает. Множество свинцовых грузиков потянули колокол сети вниз, и можно было надеяться, что некоторое количество рыбы попадет под колпак.

Но раз за разом сеть вытягивали пустой. Мне нравилось смотреть, как рыбак снова и снова забрасывает ее. Это было красивое зрелище. Тщательно сложенная, она расправлялась в воздухе и падала так, что грузила одновременно касались воды, образуя окружность микроскопических всплесков.

Перед очередным забросом Абдул с берега крикнул товарищу, чтобы бросал левее, что тот и сделал. На этот раз ему сопутствовала удача. Он вышел, потоптался по берегу, вытащил сеть — в ней билась рыба. Я с интересом наблюдал. Рыбаки, сами того не сознавая, повторяли описанное в Евангелии от Иоанна. Воскресший Иисус явился ученикам на берегу озера на заре.

А когда настало утро, Иисус уже стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети! Есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы (Ин 21, 4–6).

Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было

сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть (Ин 21, 11).

Кто не знаком с особенностями рыбной ловли на Тивериадском озере, не смог бы написать двадцать первой главы Евангелия от Иоанна. Здесь рыбаку, забрасывающему сеть, лучше положиться на совет кого-то, кто стоит на берегу и указывает ему, куда именно бросать, потому что с берега виден косяк рыб, незаметный вошедшему по пояс в воду.

Бывает, что местные рыбаки раз за разом вытаскивают пустые сети, но вдруг пойдет косяк, и тогда им приходится, как сказано у Иоанна, «тащить на землю сеть, полную крупных рыб», и первое, о чем они беспокоятся, — чтобы сеть не порвалась.

Святой Иоанн, описывая это чудо, не забывает прозаически заметить, что «не прорвалась сеть». Кому, кроме рыбака или человека, близко знакомого с этим промыслом, придет в голову в такой момент упоминать об этом?

Рыба, которую мы поймали, называется мушт, или тилипия. Ее много в Галилейском море. Это плоская рыба длиной около шести дюймов, с огромной головой и похожим на гребень плавником на спине. Ее также называют рыбой святого Петра, потому что существует легенда: именно из рта этой рыбы святой Петр вынул две монеты, которыми Иисус смог заплатить дань мытарю.

Я смотрел на улов и вспоминал описание этой истории у святого Матфея. Иисус и Петр вместе пришли в Капернаум после Преображения в отрогах горы Хермон. К ним подошел человек и потребовал храмовую подать — две дидрахмы, взимаемые с каждого взрослого иудея на ежедневные жертвоприношения и другие нужды Иерусалимского храма. У Иисуса и Петра не было денег, и тогда Иисус сказал Петру: «...пойди на

море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай за Меня и за себя» (Мф 17, 27). Из чистого любопытства я открыл рыбине рот и положил в него три пиастра, монету величиной с английские два шиллинга. Монета вошла легко, потому что рот у этой рыбы непропорционально большой. Самец тилапии обычно носит во рту икру, а когда появляются мальки, они используют рот родителя как надежное убежище в минуты опасности. По мере того, как мальки растут, рот взрослой рыбы так растягивается, что трудно даже понять, как она может есть.

Но вернемся к рыбакам. Едва рыба уснула, один из них развел костер из тоненьких веточек. Другой сделал ножом по три разреза на спинах рыб и поджарил их на костре. Абдул сбегал в лодку и принес две-три плоских лепешки арабского хлеба, тонкого и ломкого, похожего на перепеченные блины.

Одну из рыб сняли с огня, положили на лепешку и протянули мне. Ели руками. Рыба оказалась очень вкусная.

И снова рыбаки «исполнили» один из самых важных и красивых эпизодов Евангелия от Иоанна. Христос, встав из могилы, велел семи своим ученикам приготовить чудесный улов именно так, как это принято у галилейских рыбаков.

Он показался на берегу в рассветных сумерках. Сначала они не узнали Его. Когда Он велел им забросить сети, они подумали, что это просто рыбац, который с берега увидел косяк тилапии. Но подойдя ближе, святой Иоанн прошептал: «Это Господь».

Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, — ибо он был наг, — и бросился в море.

А другие ученики приплыли в лодке, — ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, — таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть.

Иисус говорит им: придите, пообедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты? зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу (Ин 21, 7-13).

В Палестине я видел много такого, что не изменилось с библейских времен, но нигде больше мне не приходилось наблюдать, как современные люди невольно воспроизводят написанное в Евангелиях. Галилейские рыбаки могут быть арабами и мусульманами, иметь свои привычки и обычаи, но рыбу они ловят так же, как ее ловили Петр, Андрей и Филипп.

2

В марте журавли летят на север над морем Галилейским. Из Центральной Африки через Палестину — в Россию. «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает определения Господня», — сказано в Книге пророка Иеремии (Иер 8, 7).

Полет журавлей всегда казался мне одним из самых красивых зрелищ в Галилее. Птицы летят на большой высоте, вы можете даже не заметить их, пока солнце,

осветив белые перья, не покажет вам настоящий снегопад на голубом небе. Они летят медленно, выстраиваются в огромные клины. Иногда кажется, что они остановились и кружат над определенным местом, словно примериваясь сесть. Но через полчаса их уже не видно — скрылись за белой шапкой горы Хермон.

В окрестностях Табгхи повсюду можно увидеть зимородков. Они, как правило, парами кружат над Галилейским морем, как ястребы, ныряют в воду и почти всегда выныривают с небольшой рыбкой в клюве. Здешние белые и черные птички своим простым окрасом разительно отличаются от переливчатых зимородков английских ручьев. Об этой птице существует красивая легенда. Говорят, что изначально все они были серыми или белыми, но, выпорхнув из Ковчега, полетели прямо на закат солнца, которому и обязаны теперь ярким оперением. Как галилейские зимородки избежали общей судьбы — ума не приложу!

Есть несколько других птиц, очень похожих на наших северных птичек, — это козодои и щурки из Смирны.

Самый привычный звук на Галилейском море — чирикание воробьев. В Табгхе, в эвкалиптовой роще, их огромная колония, и каждый вечер они устраивают концерты, которые длятся до темноты.

Эта роща — самое прелестное место на побережье. Под высокими деревьями всегда прохладно, почва под ногами рыхлая и присыпана сухими листьями. Все это очень напоминает привычный нам лес.

Я часами сидел там, пережидая жару и наблюдая за зимородками и водяными черепахами. Вообще-то черепахи осторожны и даже боязливы, но иногда молодые и неопытные устраиваются на берегу ручья вместо того, чтобы лежать на камнях посередине. Их нетрудно поймать, и вы будете вознаграждены забавным зрелищем: смешная маленькая головка с

черными глазками-бусинками быстро втягивается под панцирь. Черепахи довольно проворно плавают под водой, их путь легко отследить — они высовывают свои тупые носики наружу всякий раз, как понадобится глотнуть воздуха. Я рад, что арабы не нашли никакого коммерческого применения их панцирям, — не то их давно истребили бы. Черепахи путешествуют по всему берегу Галилейского моря, но, кажется, больше всего любят теплые лужицы у скал.

У арабов есть занятная история о черепахе. Как-то раз одна женщина пекла хлеб. Другая проходила мимо и попросила немного. Хотя считается недопустимым отказать в куске хлеба кому бы то ни было, женщина сказала, что лишнего у нее нет. Тогда благочестивая Фатима, а это была именно она, наложила на посмевавшуюся ей отказать проклятье: та вечно будет передвигаться, нося свою печь на спине. Бедная женщина превратилась в черепаху, и арабы, вытащив животное из воды, покажут вам черные подпалины на печке, то есть на панцире.

Иногда вечером к берегу подплывала арабская лодка, и Абдул, на которого, похоже, произвели большое впечатление чаевые, которые я ему дал, спрыгивал в воду и скоро оказывался на берегу. Ему очень нравились английские сигареты — он блаженно затягивался, запрокинув голову.

Я спросил его как-то, рассказывают ли галилейские арабы какие-нибудь истории про Иисуса.

— О да, — ответил он. — Иисус исцелил дочь царя Гергесы, у которой были «бесы под ногтями».

Я понятия не имел, что это за «бесы под ногтями», и никто не мог объяснить мне [\[9\]](#).

Кроме того, арабы знают, что Иисус ходил по воде, и с большим почтением относятся к дереву, растущему на вершине холма, на том самом месте, где, согласно легенде, Иисус сотворил одно из своих чудес. Дерево

называют Благословенным и говорят, что если сжечь его веточку на костре, можно исцелиться от всех болезней.

Абдул все рассказывал и рассказывал свои истории, а может, они казались такими длинными, потому что он плохо говорил по-английски, или потому, что я не мог сосредоточиться, утомленный галилейским зноем... Мне нравилось слушать его монотонный голос, смотреть на голубую воду озера, на черепахи, которые грелись на камнях, на медленный полет журавлей на север.

3

Галилейское море — одно из известных мне мест, где присутствие Христа еще чувствуется. Здесь нет ни враждующих сект, ни оспариваемые разными церквями святынь — только вода и черные камни, скудные злаки, зреющие плоды, зимородки и щурки, яркое солнце днем и звезды ночью.

Время ничего не смогло поделаться с родиной христианства. Она еще прекраснее, чем рисовало нам воображение. Здесь нет рукотворных храмов, религиозных распрей, ревности, ненависти.

В ночной тишине маленькие рыбацьи лодки лежат на песке под звездами, как лежали и тогда, когда берег услышал Его голос: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф 4, 19).

Глава шестая

Благодатный огонь

*Я присутствую при сошествии
Благодатного огня в храме Гроба
Господня.*

Патриарх Армянской церкви любезно отвел мне место на галерее храма Гроба Господня. Мне велели явиться за четыре часа до начала церемонии Схождения Благодатного огня. К храму было не подойти из-за множества взволнованных людей, собравшихся перед входом, а войдя, я с трудом пробился сквозь толпу простоявших здесь всю ночь.

Со своего места я мог видеть Кувуклию. Передо мной также открывался хороший вид на Ротонду и на огромную толпу народа. Восточные христиане, среди которых много коптов и сирийцев, не выказывают перед Гробом Господним благоговения в привычном нам смысле этого слова. Но мы не вправе осуждать их. Они не видят ничего плохого в том, чтобы вблизи Гробницы кричать, бороться друг с другом за право первыми завладеть огнем, который, как они верят, сходит с небес. Их вера в то, что это так, столь велика, что даже страшна в своей неистовости и неколебимости, и язык не поворачивается сказать, что иногда своим поведением они позорят христианство.

Сотни людей провели эту ночь в храме. Между колоннами, поддерживающими центральный купол, установили нечто вроде деревянных лесов, так что образовались отсеки, напоминающие ложи в оперном театре. И в каждой из них можно было увидеть картинку из повседневной жизни. Многие «ложи» сняли богатые копты из Египта. Они сидели на подушках, скрестив

ноги, в окружении своих семей. Матери кормили младенцев. Мужчины либо перебирали четки из темного янтаря, либо сосредоточенно опускали вниз связки свечей, чтобы, когда наступит чудесный миг, кто-нибудь внизу в толпе зажег их.

Толпа шевелилась, как беспокойный зверь. Что-то постоянно происходило: кто-то яростно пытался вырваться наружу, кто-то наоборот — ворваться в храм. Из коптского придела доносилось нестройное восточное пение. Усевшись на плечи друг другу, опасно раскачиваясь, отбивая такт хлопками в ладоши, арабы пели громкими дикими голосами:

Огонь вспыхнул, и мы возликовали,
Мы пришли ко Гробу Господа нашего,
Господа нашего Иисуса Христа.
Господь явился и кровью своей искупил наши грехи.

И еще:

Сегодня мы ликуем,
А евреи печалются!
Ах, евреи, евреи!
Ваш праздник — праздник обезьян,
А наш — праздник Христа!
Нет другой веры, кроме Христовой![\[10\]](#)

Пение перемежалось речитативом, атмосфера накалялась, эти люди напомнили мне бедуинов Петры, которые хлопают в ладоши, подзадоривая себя во время танца. На одном из самых «густо населенных» участков возник серьезный конфликт: какого-то человека ошибочно или не ошибочно — не могу сказать —

приняли за иудея. Быстро появилась полиция, и его вывели.

Людям не раз объясняли, что Благодатный огонь — это всего лишь символ, но ничто не может поколебать их веры в то, что в этот день он сходит прямо с небес на Гроб Господень. Когда зародился этот обряд — невозможно точно определить. Монах Бернард упоминал о нем во время своего пребывания в Иерусалиме в 870 г. н. э. В ранний период христианства папы запрещали его, и, разумеется, сейчас в нем принимают участие только представители восточной церкви. Это всецело восточный и, вероятно, в основе своей языческий обычай. Декан Стэнли, например, полагал, что арабы и греки, которые, расталкивая друг друга, стремятся обойти Гроб Господень определенное число раз, не зная того, воспроизводят смутно памятный обряд погребальных игр вокруг гроба царя.

Возбуждение достигло своего пика, над толпой начали развеиваться знамена. Полиция с трудом прокладывала дорогу патриархам и священнослужителям.

По сторонам Кувуклия есть два круглых отверстия. Камень вокруг них почернел от Благодатного огня, опаляющего его много лет, и у этих отверстий стоят люди с пучками свечей, защищенных жестяными «колпаками». Как только «сойдет» огонь, они должны поспешить с зажженными свечами наружу, где их уже ждут другие, чтобы, приняв эстафету, прыгнуть в автомобили и развезти священный пламя по всем храмам страны. В старые времена в Яффе стоял наготове пароход, готовый отвезти Благодатный огонь в Россию.

Греческому и армянскому патриархам с помощью полиции наконец удастся пробиться к входу в Кувуклий. На ступенях, перед орущей, жестикулирующей толпой, с греческого патриарха торжественно снимают ризу и другие украшения. Запястья ему связывают льняными

ленточками. Перед галдящей толпой он выглядит слабым и беззащитным. Я обращаю внимание на десять морских офицеров, служащих ему охраной. Они напоминают регбистов-форвардов. Итак, греческий патриарх поворачивается к толпе спиной и входит в Кувуклий. Армянский ждет в приделе Ангела.

Три-четыре минуты не происходит ничего. Кажется, воздух вибрирует от напряженного ожидания. И вдруг из одного из отверстий вырывается пламя. Один факел немедленно зажигает греческий патриарх, другой — армянский. В следующий момент толпу охватывает безумие: люди топают, визжат, вопят. Над головами пылают факелы. Пытаются выйти с огнем. Зажигают свечу от свечи, радостно смеются. Некоторые подносят пламя к самому лицу. Женщины проводят горящими свечами под подбородком и у груди. Те, что ожидали на галереях, тянут к себе наверх связки зажженных свечей. А когда греческий патриарх со свечами в обеих руках выходит из Кувуклия, начинается настоящее столпотворение. Река толпы готова подхватить его и унести как щепку в половодье, но офицеры терпеливо прокладывают ему дорогу к греческому алтарю.

Толпа беснуется, колокола звонят, армяне на галерее бьют в деревянные гонги брусками металла. В храме царит хаос. Снова зажигают все светильники вокруг Гроба Господня. Итак, сотни обезумевших христиан поверили, что Господь послал им огонь с небес.

Я провел там еще час после схождения Благодатного огня, наблюдая бесновавшуюся толпу. Удивительно: огонь их не обжигал и даже не опалял волос, когда они подносили свечи к лицам, чуть ли не лизали пламя. Я подумал: как странно, что обряд, приводящий людей в такое неистовство, совершается не в роще Адониса, а рядом с Гробом Господним.

Глава седьмая

Абиссинцы ищут тело Христа

На крыше храма Гроба Господня я наблюдаю церемонию Абиссинской церкви — поиски тела воскресшего Христа.

Друг из Иерусалима предложил показать самую странную из всех церемоний Страстной недели. Она совершается черными абиссинскими монахами на крыше храма Гроба Господня.

Когда взошла луна, греческий монах впустил нас в храм через боковую дверь. Было темно, хоть глаз выколи. Нам приходилось то и дело чиркать спичками, поднимаясь по вытертым ступенькам на крышу часовни Святой Елены, где чернокожие монахи молятся Христу под звездами. Когда-то абиссинцы владели некоторыми святынями в храме, но не смогли отстоять их в борьбе с более сильными церквями. Понемногу их лишили священного наследия предков. Но, проявив присущее христианам упорство, которое собственно и позволило им сохранить свою веру с IV века, абиссинцы не ушли совсем, а обосновались на крыше.

У них нет места в храме, чтобы провести настоящую пышную церемонию, но каждый год на Страстной неделе они ставят палатку на крыше и совершают весьма забавный обряд под названием «Поиски тела Христова». На него-то меня и привели посмотреть.

Ярко светили звезды. Белые купола вокруг придавали крыше вид африканской деревни. Палатка из парчи, похожая на шатер, с одной стороны была открыта, чтобы мы, находясь снаружи, могли видеть происходившее внутри. Там, в теплом свете свечей, сидели довольно дикого вида люди, абиссинцы, в

роскошных одеждах и позолоченных, с острыми зубцами, коронах. Это были «крестоносцы».

Чернокожий монах подвел нас к плетеным стульям, поставленным в ряд. Отсюда нам были хорошо видны степенные, величественные абиссинцы в богатых ризах. Они напоминали волхвов.

Спустя примерно полчаса слышались нестройные африканские песнопения, и в шатер торжественно ввели абуну, то есть патриарха.

На полу перед ним уселись двое монахов и принялись часто-часто бить в большие, инкрустированные серебром барабаны. Остальные трясли систрами — инструментами, напоминающими погремушки, которые издают звуки, похожие на позвякивание монет в кармане.

Систр — это металлическая рамка с горизонтально расположенными в ней стержнями, а также тарелочками и колокольчиками. Когда рамку встряхивают, все это издает звон. На систрах «играли» в Древнем Египте в храмах Исиды, чтобы привлечь внимание молящихся, а заодно и отгонять злых духов. Я и не знал, что существуют еще религиозные общины, использующие систр в богослужениях. Инструменты в руках чернокожих монахов были той самой формы, что и древние систры, которые находят в египетских гробницах.

Слушая барабанный бой, дребезжание систров, пронзительные песнопения монахов, трудно поверить, что присутствуешь при христианском обряде на крыше храма Гроба Господня.

Тем не менее ритуал христиан-абиссинцев, напоминающий обряды древнего Израиля и Древнего Египта, производит огромное впечатление.

Ничто не могло бы служить лучшей иллюстрацией разнообразия религиозных культов, отправляемых в храме Гроба Господня. Обряды, давно забытые Западной

церковью, и поныне совершаются у Гроба Христа. Когда копты служат свою мессу, до нас долетает эхо языка, на котором говорили фараоны; язык сирийской литургии напоминает арамейский, а на нем, как известно, говорил Христос. В сравнении с этими языками греческий Нового Завета, который использует православная церковь, — современный язык.

В песнопениях абиссинцев, между тем, появились жалобные ноты. Мой приятель шепнул мне, что это они оплакивают смерть Христа. В барабан теперь били реже, систры звучали тише. Патриарху подали Евангелия, напечатанные на геэз, литературном эфиопском, и пока монахи окуривали все вокруг ладаном, он нараспев читал о Страстях Христовых.

Потом барабаны, создававшие тихий, пульсирующий фон, зазвучали громче и быстрее, и вот мы все, выстроившись попарно, с роскошными «волхвами» во главе, со свечами в руках вышли под звезды и полную луну — искать тело Христа.

Этот ритуал, по сути дела, драматическое воплощение Воскресения. Патриарх дочитал до того места, когда три Марии пришли к заваленной камнем пещере, чтобы умастить мертвое тело Спасителя благовониями. Здесь они увидели ангела в белых одеждах, который сообщил им, что Христос восстал из гроба...

И вот чернокожие монахи инсценируют этот рассказ. Странной шаркающей походкой они кружат по крыше в лунном свете, крича, что могила пуста, притворяясь, что ищут Его мертвое тело. У каждого в руке по свече, а патриарх почему-то шествует под зеленым с золотом зонтом.

Полная луна сияет над Иерусалимом, украшенные драгоценными камнями короны отбрасывают красные и зеленые блики. Фантастическое шествие мало-помалу

превращается в жутковатый ритуальный танец под звуки тамтамов и систров.

Четыре раза мы обошли крышу часовни Святой Елены. Невыразимо скорбные погребальные песнопения продолжались, били африканские барабаны, чернокожий патриарх, окруженный монахами, бродил под своим парадным зонтом и время от времени творил в лунном свете крестное знамение.

Все это напоминало бы дику африканскую глубинку, но пламя свечей, которые участники обряда держали в руках, освещало их мягкие черные лица, и на них отражались все оттенки истинного религиозного чувства.

На четвертом круге тамтамы смолкли, а сестры продолжали звякать. Стенания тоже не прекратились. Я вспомнил слова ангелов, обращенные к Марии-Магдалине:

«Жена! что ты плачешь?» и ее ответ: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его» (Ин 20, 13).

Эти чернокожие люди древним обрядом на крыше храма Гроба Господня по-своему, по-дикарски, выражали скорбь всего христианского мира о кончине Иисуса Христа.

Внезапно стенания прекратились. Чернокожие монахи молча вернулись в шатер и окружили патриарха. Мы тихонько удалились.

— Они будут горевать до утра, — прошептал мой друг, — а потом отпразднуют Воскресенье — и станут столь же счастливы, сколь сейчас удручены.

Мы спустились по темной лестнице, пересекли пустынный храм Гроба Господня и вышли на спящие улицы Иерусалима.

ИРАК

Глава первая Автобусом по пустыне в Багдад

Ночным автобусом я еду из Дамаска в Багдад, смотрю на пустыню за окном и обретаю на пару часов уголок Англии на остановке в местечке Эр-Рутба.



Перед закатом стало прохладно, воздух приобрел какой-то льдистый привкус. Зима, уже выбелившая Таврские горы, теперь дохнула и на Сирийскую пустыню. Я навалил на себя все одеяла и пальто, какие нашел. В окне в белом свете звезд сияла, безмолвна и тиха, Пальмира. Над развалинами, подобно привидениям, поднимались колонны. Я представил себе, сколько мужчин и женщин возлежат под землей на своем последнем пиру. Это, безусловно, великий город — как все умолкнувшие древние города, где когда-то надеялись и мечтали.

Ранним утром у гостиницы уже стоял длинный, видавший виды автобус, весь в коричневой пыли. На боку у него красовалась надпись «Нейрн транспорт компани». Это тяжеловатая и вытянутая разновидность модели, так резво курсирующей по английским пригородам. Водитель специально остановился в Пальмире, чтобы взять пассажиров; обычно автобус без остановок следует из Дамаска в Багдад.

Я вышел в фойе отеля. Несколько замерзших пассажиров пили кофе по-турецки. Они выглядели, как путешественники в почтовой карете на эстампе Алкена. Однако вместо полногрудых служанок по фойе шлепал заспанный мальчишка-араб в полосатой галабии и с подносом. Он разносил местный хлеб и мед в сотах цвета темного хереса. Топилась печь, от дыма пощипывало в глазах.

За столом администратора сидел широкоплечий мужчина футов шести ростом. На нем были старые фланелевые брюки и кожаная куртка для игры в гольф. Приглядевшись внимательней, я сообразил, что это один из тех крупных мужчин, внутри которых прячется мальчишка-школьник. Он спросил у меня паспорт, и я так понял, что он и есть водитель багдадского автобуса, тот самый, кого все называют Длинный Джек.

Мы с Длинным Джеком выпили по чашке кофе, и за это время он успел рассказать мне, что родился в Веллингтоне, в Новой Зеландии, а в Сирию приехал одиннадцатилетним мальчиком. Братья Нейрн, Джерри и Норман — тоже новозеландцы. Они служили в Палестине во время войны, а потом основали здесь свою транспортную компанию. Джека взяли водителем, и он уже со счета сбился, сколько раз съездил в Багдад и вернулся оттуда в Дамаск. К нему подошел сириец и что-то шепнул на ухо.

— Это мой напарник, — объяснил Джек. — В каждом автобусе по два водителя. Один спит, другой ведет машину, так что можем ехать ночью.

Он встал и объявил:

— По машинам!

Мы вышли в прохладное светлое утро.

Двигатель мощностью семьдесят пять лошадиных сил взревел, автобус мягко тронулся с места и покатил мимо руин Пальмиры. Было почти восемь утра. К следующему утру мы должны были добраться до Багдада.

2

Расстояние между Дамаском и Багдадом — пятьсот двадцать семь миль, и автобусы компании «Нейрн» преодолевают его за двадцать четыре часа, всего с двумя плановыми остановками: в форте Эр-Рутба — это середина пути, и на границе с Ираком в Рамади — где пассажиры проходят паспортный контроль. Караван верблюдов добредал до Багдада за два месяца.

Пустыня, тянущаяся по обе стороны до самого горизонта, — это не песок, а гравий, местами красноватый. В сухую погоду поверхность твердая, а после дождя становится вязкой. Ряды низких

коричневых холмов оживляют монотонный пейзаж, и время от времени попадаетея нечто похожее на вулканические породы. Длинные русла рек бороздят пустыню, в основном в северо-восточном направлении, в сторону Евфрата. Но они совершенно сухи и наполняются только после дождей. Дорога, как обычно бывает в пустыне, — это всего лишь колея от колес прошедших здесь раньше автомобилей. Когда поверхность стала более твердой, колея исчезла, и Длинный Джек, казалось, выбирал дорогу чисто интуитивно, но я несколько раз замечал, что, оказавшись снова на рыхлой земле, он безошибочно «попадал в след».

Вдалеке паслись несколько сотен верблюдов. Они глодали колючий кустарник, и у всех морды были обращены в одну сторону. Увидишь овцу или верблюда — знай, что где-то неподалеку родник или колодец. Встречаются они здесь редко, вокруг — мили и мили безжизненной пустыни. Первые признаки жизни мы обнаружили в местечке под названием Колодцы Хельба. Мужчины и женщины из племени рувалла мыли своих овец и верблюдов. Два бетонных колодца, устроенные здесь французскими военными, казалось, росли прямо из этой каменистой почвы. Вокруг них суетились девушки-бедуинки, пришедшие за водой. Здесь было около двухсот верблюдов и несколько сотен овец, и картина казалась иллюстрацией к странице Ветхого Завета.

Длинный Джек остановил автобус и объявил, что здесь мы стоим пять минут. Отправившись с ним к колодцу, я обнаружил, что он бегло говорит на бедуинском диалекте арабского. У него был дар смешить, и очень скоро все эти высокие коричневые люди хохотали как дети. У рувалла, о которых часто упоминает Доути в книге «Аравия пустынная», лучшие верблюды в Сирийской пустыне. Я заметил, что у некоторых женщин — типично монголоидные скуластые

лица. Длинные и широкие одежды были им явно велики и мешали двигаться, — некоторые подпоясались веревками; из-под подолов виднелись ярко-желтые, без каблучков, башмаки. Пока мы разговаривали с мужчинами, женщины продолжали работать, и лишь изредка улыбались, когда до них доносилась какая-нибудь шутка.

Колодцы здесь необыкновенно глубоки. Женщины опускали на веревке в бездонную яму кожаную бадью. Когда она наполнялась, три девушки вытаскивали ее и бежали, расплескивая воду, не меньше сорока ярдов. Мужчина выливал воду в корыто, еще одна девушка, присев на корточки, наполняла из корыта бурдюки, и еще одна грузила их на спину ослу.

Джек сказал нам, что, когда они заберут свои бадьи и веревки и уйдут со стадом, колодец станет совершенно недоступным и, значит, бесполезным. У каждого бедуина должна быть своя «снасть». А путешественник может умереть от жажды у колодца, если в этот момент рядом никого не окажется.

Мне пришли на ум слова женщины-самаритянки, которая увидела Иисуса, сидящего у колодца близ города Сихара. У нее были веревка и бадья, и он попросил воды. Иисус сказал женщине, что если бы она знала, кто просит у нее воды, то сама бы у него просила, и он бы дал ей «воду живую». Но она не поняла его, решив, что речь идет лишь о воде из колодца. Вероятно, ее слова, обращенные к Иисусу, — первое, что сказала бы любая бедуинская девушка, увидев у колодца человека без веревки и бадьи: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок, откуда же у тебя вода живая» (Ин 4, 11).

Горячее марево дрожало над равниной. Взгляды наши в поисках разнообразия блуждали по скалам, холмам и пересохшим руслам. Так в море человек с

удовольствием провожает глазами проходящий мимо корабль. Миновав пропускной пункт — кажется, там была еще колючая проволока, — мы въехали на территорию Ирака. Ни таможни, ни паспортного контроля, ничего, кроме волнистой равнины, усеянной камнями и гравием, похожей на пересохшую котловину гигантского озера.

Мы пересекли плато, где водятся газели. Эти красивые быстрые животные, потревоженные шумом мотора, целым стадом пробежали перед носом нашего автобуса. Казалось, их гипнотизирует движущийся объект — им непременно надо было перебежать ему дорогу. А может быть, мы согнали их с обычных мест выпаса, и они бросились защищать их. Иногда я угадывал их издали — по серой, движущейся полоске пыли на бесцветной равнине. Темной прерывистой линией они скользили на фоне неба. Только однажды нам повезло увидеть их очень близко, они пронеслись мимо нас со скоростью не меньше пятидесяти миль в час, сверкая на бегу своими белыми короткими хвостиками.

День тянулся медленно. Солнце за нашей спиной клонилось к западу. Тени удлинлись. Сначала сгустились сумерки, потом на пустыню опустилась темнота. Похолодало, засияли звезды. Когда на небе осталась лишь узкая полоска света, мы подъехали к форту, в плане квадратному: четыре укрепленные стены, четыре башни по углам. Над воротами развевался иракский флаг. У ворот стояли два-три легковых автомобиля и несколько грузовиков. Ходил туда-сюда вооруженный часовой в синей форме. Это был форт Эр-Рутба — мы проехали половину пути до Багдада.

Я вошел с бокового входа в темный двор. Солдаты возле казармы бросали на меня любопытные взгляды — прибытие автобуса, возможно, было самым значительным событием за весь однообразный день. По контрасту с безлюдной пустыней, в этом дворике кипела жизнь, в которой ощущался некоторый драматизм, всегда присущий происходящему взаперти, за толстыми стенами. Здесь будто готовились к долгой осаде. Гудела динамо-машина, а когда открывались двери низеньких зданий, вдоль стен форта в желтых прямоугольниках света можно было различить темнокожих мужчин за письменными столами, солдата, только что прибывшего с пакетом, радиста в наушниках.

Вышел араб и набрал воды из колодца, вокруг которого, собственно, и построен форт. Две темные фигуры сошлись посередине дворика. Двое бодро поприветствовали друг друга по-французски — хотя мне показалось, что один из них англичанин. Это были летчики. Один что-то сказал о ветре в Египте, другой — о дожде над Месопотамией. Потом, обменявшись сигаретами, они разошлись. Это удивительное, романтическое место, подумал я. Современная версия римской крепости.

Меня ожидал еще один сюрприз. Пока я плутал по двору, ища, где бы тут перекусить, — в Эр-Рутбе хорошо освещены служебные помещения, но на освещении дворика здесь явно экономят, — открылась дверь, и появился маленький, похожий на обезьянку человечек в белой короткой куртке. Он выглядел как стюард с какого-нибудь океанского лайнера, идущего в экзотические страны.

— Как насчет умыться и почиститься с дороги, сэр? — спросил он по-английски. — Есть горячая вода.

Я последовал за ним и вскоре оказался в комнате с двадцатью умывальниками! Рядом с каждым стоял эмалированный кувшин с горячей водой, накрытый

безупречно чистым полотенцем, лежали несколько чистых расчесок и кусок мыла. Я испытал гордость за свою страну, потому что все это явно было английское. Хотел уточнить у маленького человечка, но он уже исчез.

Выйдя на веранду, я увидел указатель: «В холл». Я пошел в этом направлении до ближайшей двери, распахнул ее, и моим глазам предстало любопытное зрелище: в помещении, уставленном плетеными столами, несколько мужчин и женщин сидели в плетеных креслах вокруг печки. Большинство из них были англичане. Некоторые курили, другие пили чай. Я вошел и сел рядом с женщиной в твидовом костюме, читавшей старый номер «Обсервер».

Итак, я попал в зал ожидания, устроенный компанией «Нейрн» в Эр-Рутбе. Все эти люди были пассажиры, следовавшие с востока на запад: британцы, французы, несколько иракцев, двое или трое персов. Забавно вдруг наткнуться на такую вот странную компанию в столь отдаленном месте, она кажется нереальной. Приземляется самолет. Мужчины в костюмах и женщины в мехах и парижских туфельках выходят размяться. Они прогуливаются по пустыне, может быть, что-нибудь съедают, выпивают чашку чая и снова поднимаются в воздух. Арабы-то ничему не удивляются — они с детства слышали о ковре-самолете. И все-таки странно видеть этих прилетевших или приехавших людей, сидящих в полутьме. Атмосфера настолько английская, что иракцы, будучи дома, чувствуют себя несколько неуютно, как в гостях.

Из холла можно пройти в небольшой обеденный зал с накрытыми столами. Все очень чисто, аккуратно — очень по-английски. Есть старый добрый английский стиль сервировки стола, которого дома мы просто не замечаем. Скатерть ниспадает почти до пола, стыдливо прикрывая ножки стола, и обычно на ней заглажены

складки. Англичанам чужда галльская безалаберность и латинская поспешность — они накрывают очень тщательно. Графинчику для уксуса предоставляется почетное место около соусника. Бокалы, как раз подходящие для полпинты эля, ставят справа, и в каждом из них — такая маленькая епископская митра — сложенная салфетка. Когда я вижу накрытый по-английски стол, напоминающий о загородных гостиницах в Хэмпшире и Девоншире или маленьких ресторанчиках на побережье, где хозяйничают высокие седовласые джентльмены, сердце мое переполняет нежность к моей милой родине. В тот вечер я решил щедро лить во все, что подадут, соусы «Ли» и «Перрине» — просто из любви к Англии.

На доске объявлений рядом с извинениями за высокие цены на бутылочное пиво я заметил предупреждение, которое вернуло меня обратно в реальность:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Выходя за пределы форта, старайтесь не выпускать его из поля зрения. Были случаи, когда люди, отправившись пройтись, с внезапным наступлением темноты теряли ориентацию. Не подвергайте свою жизнь опасности. Избавьте полицию от лишних хлопот.

Комендант форта

Я просмаковал слово «пройтись», здесь, в Месопотамии, напомнившее мне прогулки в Истберне. Только англичанин, находясь в Эр-Рутбе, мог сказать «пройтись»!

Я задумался о том, кому обязан всеми этими благословенными дарами. Надо сказать, что мое любопытство было довольно скоро удовлетворено появлением низенького полноватого человека в сером фланелевом костюме. Он быстро прошел через обеденный зал, отдавая распоряжения по-арабски. У официантов его появление вызвало реакцию, похожую на удар электрическим током: кто метнулся в кухню, кто попытался спрятаться, кто споткнулся о стул, кто опрокинул солонку в припадке служебного рвения. Этот мужчина в сером курил сигарету, и его приказы тонули в облаках дыма. В бледно-голубых глазах застыло выражение ожидания самого худшего; такой взгляд бывает у людей, которым приходилось много общаться с военными. Судя по выправке, он был старый солдат, а по быстроте движений и хорошей реакции — бывший боксер или легкоатлет. В обоих своих предположениях я оказался недалек от истины.

Это был Джордж Брайант, хозяин гостиницы для путешественников. Я попытался с ним поговорить, но это оказалось нелегко, потому что каждые две секунды его куда-то отзывали официанты. Он легко вскакивал и исчезал, блеснув ледяными голубыми глазами, чтобы через минуту появиться с таким видом, как будто только что подавил мятеж. Во время его первой отлучки я придирчиво изучил меню, прислоненное к графинчику с уксусом:

Обед:
Томатный суп
Жареная рыба
Соус тартар
Ростбиф
Соус с хреном
Жареный картофель
Цветная капуста

Йоркширский пудинг
Пудинг с изюмом, лимонный сироп
Фрукты. Кофе.

Призываю сначала ознакомиться с меню, потом найти на карте место, где находится Эр-Рутба — и поверить мне, что и сегодня вечером в доме за крепостными стенами подают именно такой обед. В наш изменчивый век очень радостно встретить непоколебимую убежденность в том, что в любой уголок мира можно перенести частичку своего дома. И только когда там станет как дома, можно будет сказать, что там хорошо. Сколько угодно смейтесь над людьми, которые повсюду возят с собой свою Англию. А что еще с собой возить? Этот час на развилке дорог в пустыне — одни направлялись к Средиземному морю, другие — к Индийскому океану — мы прожили в мирной и уютной, складывавшейся веками атмосфере английской семьи.

Когда Джордж Брайант вернулся, я стал расспрашивать его с удвоенным интересом. Нет, никакая женщина ему не помогает. Официантов и поваров он учит сам. Откуда он? Он родился в Бате, играл в регби за Бристоль, служил в палестинской полиции в Назарете, вышел в отставку и с тех пор живет в пустыне. Вот все, что мне удалось выяснить в промежутках между его внезапными отлучками.

— Как вам обед? Ничего, правда? — Его льдистые глаза на секунду потеплели. — Трудно ли приходится? Да нелегко. Во все надо вникать самому, вот в чем секрет. Ничего нельзя пускать на самотек. Простите, я на минутку... — Он действительно скоро вернулся. — А как рыба?

— Я как раз хотел спросить, где вы достаете рыбу в пустыне.

— Нам привозят из Багдада. Выловлена в Тигре. Забрасывают нам, когда везут почту на восток. Немного

грубовата, но недурна, правда?

Да, она была недурна, эта бедная рыба, выловленная в Тигре. Проникнувшись духом заведения, она согласилась приобрести вид и вкус «жареной рыбы под соусом тартар», такой, как ее готовят в гораздо менее экзотических местах.

Длинный Джек пришел сказать, что автобус подан. Мне выдали подушку и два одеяла. Джордж Брайант проводил меня: миновав темный двор, мы оказались в пустыне, огромной, безмолвной, освещенной звездами. Автобус вибрировал в ожидании пассажиров, два белых луча пронзали пустоту, в которую нам предстояло нырнуть.

— Всего хорошего! — попрощался Джордж Брайант. — Заглядывайте на обратном пути.

И, быстро пройдя мимо часового, он скрылся за стенами форта.

Та ночь была безлунной, пустыню омывал голубой свет звезд, в котором камни казались беспорядочно разбросанными тенями. Лучи наших фар гасли в бесконечном пространстве впереди. Предметы то светились, то ускользали от света звезд, и пустыня казалась даже более оживленной, чем днем. Совсем рядом с автобусом вспорхнула песчаная куропатка; мы испугнули стайку голубей; а еще все вокруг просто кишело странными существами с пружинками внутри: это были крысы пустыни — тушканчики, похожие на маленьких кенгуру. Они одного цвета с песком, необыкновенно прыгучи, двигаются со скоростью птиц, так что надо сильно напрячь зрение, чтобы разглядеть их.

Я откинул спинку кресла, завернулся в одеяла и наслаждался полусном с яркими, фантастическими сновидениями. Изредка пробуждаясь, почему-то с чувством утраты, я видел Длинного Джека,

прикорнувшего на переднем сиденьи. Его большое тело было совершенно расслабленно — в буквальном смысле слова он спал как убитый. Водитель-сириец сидел за баранкой, и по салону струился дымок от его иракской сигареты.

Так я и спал: то повернешься на левый бок, то на правый, десять минут спишь, полчаса бодрствуешь. Море бледного звездного света, огни фар, рев двигателя.

Внезапно я совершенно проснулся и увидел, что автобус стоит на песчаной дороге с домами по обеим сторонам. Было темно, и, взглянув на часы, я увидел, что еще только 2 часа 30 минут. Длинный Джек разговаривал с полицейским, держа в руке паспорта пассажиров. Я понял, что мы в Рамади — проходим паспортный контроль при въезде в Ирак. Это значило, что до Багдада осталось девяносто миль. Выйдя из автобуса размяться, я понял: что-то изменилось в воздухе. Ветер в акациях — вот что это было... Я вспомнил, что уже много дней не видел настоящих деревьев.

Рядом с будкой таможни стоял небольшой домик с садом. Отель «Вавилон». В окнах горел свет. Я вошел в вестибюль, где маленькие смуглые официанты в белых куртках — такие официанты могли быть и в форте Эр-Рутба — суетились, разнося заспанным пассажирам чайники с чаем и тарелочки с английским печеньем. Нам предлагали чай с печеньем в Эр-Рутбе, а теперь и здесь то же самое! Неужели мы в Сирии? Я выпил четыре чашки крепкого чая и выкурил сигарету. Само фойе напоминало магазин персидских ковров. Еще я заметил на стене портрет молодого короля Ирака Гази. Но официанты говорили по-английски и подавали чай так, что можно было не сомневаться — они учились этому у англичан.

Я расплатился с официантом банкнотой в десять шиллингов, и он дал мне сдачу. Это были первые иракские деньги, которые я держал в руках. С 1931 года Ирак имеет собственные деньги, на основе фунта стерлингов. Один динар — сразу заставляющий вспомнить фильм «Чу-чин-чоу» — равен английскому фунту и состоит из ста филов; серебряные монеты бывают по 20, 50 и 100 филов, никелевые неправильной формы, похожие на наши по три пенни, — достоинством 4 и 10 филов; медные монеты — в 1 и 2 фила. Но, видимо, удовлетворение моего вкуса стоило так дорого, что я так и не понял, что, кроме благодарности маленьких официантов, можно купить на мелкие монеты.

Настойчивый клаксон напомнил, что пора в автобус. Когда мы проезжали по деревянному мосту, я успел увидеть, как быстро бежит под ним вода. Это то место, где Евфрат, попетляв по Месопотамии, будто собираясь в Багдад, внезапно «передумывает» и поворачивает на юг, уступив Багдад Тигру.

Пробудившись от крепкого сна, я понял, что мы едем по равнине, по довольно плохой дороге, а впереди у нас — скопление землистого цвета зданий и минаретов. И несколько башен среди равнины, широкой и плоской под низким небом, как в Голландии. Взошло солнце.

Глава вторая

Багдад

Я осматриваю город, знакомый по сказкам, посещаю городской музей и книжный магазин. Знакомлюсь с окрестностями.

1

Безупречное издание «Тысячи и одной ночи» в переводе Лейна, которое когда-то можно было найти во всех викторианских библиотеках, возможно, объясняет, почему слово Багдад звучит для нас так волшебно. У меня было в высшей степени романтическое представление об этом городе. Жизненный опыт его не разрушил, но я прекрасно понимал, что Багдад окажется другим.

Когда наш автобус на рассвете подъезжал к Багдаду, я, вспомнив юношеские мечтания, сказал себе, что город с серыми зданиями и далекой мечетью, чей золотой отблеск виден мне, — действительно город калифов.

Мы переехали через реку по деревянному понтонному мосту — его секции мягко колебались под тяжелым транспортом. Тигр в Багдаде, пожалуй, немного шире, чем Темза в районе Лондонского моста. На западном берегу в зеленой бахrome финиковых пальм стоят дома с белыми балконами; на восточном теснится современный Багдад со своей единственной главной улицей и невообразимым хаосом более мелких улиц и переулков. Синее небо, горячее солнце, длинная и широкая главная улица (называемая — ваше сердце

учащенно забьется — улицей Аль-Рашид) с маленькими магазинчиками и открытыми экипажами — таковы мои первые впечатления от Багдада.

Я вошел в гостиницу на улице, носившей имя генерала Мода. Слуга называл меня «сахиб», официант в ресторане принес мне лучшую яичницу с беконом, какую я когда-либо ел, и тоже именовал меня сахибом. Впервые со мной общались в киплинговском стиле. И я подумал, что приятно приехать туда, где Запад бледнеет и ты настраиваешься на восточную волну. Средиземное море где-то далеко и кажется чужим, а Индийский океан — близок и реален. Ирак — именно такое место. Индия тут рядом, за углом.

Я вспомнил, что про некоторых знакомых, выполнявших обязанности администраторов в Ираке, я знал, что до этого они были государственными служащими в Индии, и многое для меня прояснилось: яичница с беконом, чай и печенье «пти бер» в Рамади и все остальное.

Довольный своими дедуктивными способностями, я отправился смотреть Багдад.

2

За три века до войны Ирак разделил участь Османской империи — смерть при жизни. Война вывела его из оцепенения, и, пробыв десять лет британской подмандатной территорией, он стал независимым арабским государством, и правит им Гази, сын короля Фейсала.

Багдад, возможно, таит в себе море очарования для уроженца этого города или человека, долго в нем прожившего. Для приезжего это большой, грязного цвета город на берегу грязного цвета реки. При малейшем ветерке пыль, легкая, как пыльца, летит по

улицам. По давней вавилонской традиции основным строительным материалом здесь являются саманные кирпичи, а главным архитектурным украшением с библейских времен считается глазированная плитка. В современном Багдаде она встречается разве что на куполах нескольких мечетей.

Бедность и ужасающая инертность властей в период турецкого владычества все еще сказываются на облике Багдада. Понадобилось более десяти лет западного влияния, чтобы стереть память о трехстах годах застоя и коррупции. Конечно, сейчас дух новизны уже проник всюду. Появились хорошие больницы, отлично работающая полиция, школы, развилась сфера бытовых услуг, и, главное, возникло трогательное чувство национальной гордости. Слово старое дерево подрезали надлежащим образом и оно дало новые побеги. Длинная главная улица с ее развалюхами все еще выглядит по-турецки, хотя время от времени натыкаешься на какой-нибудь фешенебельный салон красоты или современную аптеку.

На главной улице кипит жизнь. С утра до ночи снуют туда-сюда маленькие повозки, запряженные двумя лошадьми каждая. Этих проворных экипажей так много, и цены такие скромные, что нет нужды куда-либо идти пешком. Если не вдаваться в более тонкие различия, люди на улицах делятся, как Библия — на Ветхий и Новый Заветы, — на старых и новых. Новые носят европейскую одежду и головные уборы из голубой ткани, напоминающие фуражки, вроде тех, что надевают члены Церковных бригад мальчиков; а старые — все, что угодно, от зеленых тюбанов и струящихся риз до жалких мешковатых одежд, в которых ходят носильщики-курды.

В столице этой страны, больше всего на свете похожей на бильярдный стол, о том, что существуют и другие формы рельефа, упорно напоминают лишь

дикого вида оборванцы, в которых сразу распознаешь жителей гор. Это кочевники из Курдистана или с высокогорья в районе Мосула. Есть еще персы, арабы, евреи, афганцы, индусы, негры — гремучая смесь. Кто ездит верхом, кто ходит пешком, кто валяется в пыли на главной улице Багдада.

Причины, по которым сегодня в Багдаде не осталось ничего от главного города халифата Аббасидов, историкам еще предстоит выяснить. Город грабили и разрушали, перестраивали и затапливали, снова и снова, поэтому мало что в столице Ирака напоминает сегодня о стране доброго Гаруна аль-Рашида.

Здесьние базары — запутанный лабиринт коридоров и проходов. Торгуют дешевыми японскими набивными ситцами, разнообразнейшими медными изделиями, золотыми и серебряными безделушками. Обычно здесь темно, разве что лучи, в которых стоят столбики пыли, пробиваются между кусками ткани, покрывающими базар сверху. Тщетно искал я караван-сарай, какие видел в Каире, Дамаске, Иерусалиме, Алеппо. Багдад — город великого, но невидимого прошлого, в нем сейчас нет архитектурных достопримечательностей, достойных упоминания.

Очутившись в Багдаде, прежде всего надо идти в музей. Здесь выставлены поразительные находки, найденные в шумерском городе Ур, и многое другое. Странно: все слышаны о сокровищах гробницы Тутанхамона, а ведь они не намного расширили наши познания о мире. Находки же в Уре, благодаря которым начало истории переместилось из Египта в Вавилон, да еще на тысячу лет назад, не нашли громкого отклика в широких массах, разве что среди тех, кто вообще интересуется подобными вещами.

На главной улице мне попался единственный магазин, который произвел на меня впечатление в этом городе. Он называется «Книжная лавка Маккензи». В

Оксфорде или Кембридже его можно было бы и не заметить, но среди восточных лавочек он сразу обращает на себя внимание. Магазин от пола до потолка набит новыми и старыми английскими книгами и, безусловно, является своеобразным памятником периоду британского влияния. И сейчас он имеет особенное значение, гораздо большее, чем когда здесь хозяйничали англичане. Теперешние покупатели — в основном, молодые иракцы. Здесь вечно болтается молодежь, листает последние новинки. Возможно, Англия и Франция не оставили значительного следа в культуре Палестины, Трансиордании или Сирии, но в случае Ирака это не так.

За десять лет британского правления иракцы научились говорить на нашем языке и читать наши книги. И, судя по размерам «Лавки Маккензи» и, что еще важнее, по характеру книг, имеющих в продаже, в Багдаде вполне развитые литературные вкусы и критически настроенный читатель.

Днем я взял такси и попросил шофера свозить меня куда-нибудь за город на пару часов.

Мы некоторое время тряслись по грязной дороге с возделанными полями по обеим сторонам. Всякий верховой обдавал нас коричневой пылью, а колеса нашего автомобиля устраивали настоящие песчаные бури для несчастных пешеходов. Скоро возделанные поля кончились, и я получил некоторое представление о разнице между этой страной сегодня и в древние времена.

Современная привычка называть Месопотамией территории в нижнем течении Тигра и Евфрата, возможно, выработалась во время войны, когда пресса и военные источники постоянно именовали их Меспотом. Но древняя Месопотамия — страна, расположенная к северу от Багдада, это широкие, поросшие травой

равнины между двумя реками. Южнее Багдада стоял Вавилон.

Глядя сегодня на эту землю, голую, бурую, простирающуюся до горизонта, покрытую зеленью только по берегам рек и в орошаемых зонах, трудно себе представить, что такая пустыня могла быть колыбелью великой цивилизации. Но Авраам, рожденный в городе Ур, и сыны Израилевы во время вавилонского плена видели совсем другую страну. Если заменить пшеничные прерии Канады финиковыми рощами, пересеченными во всех направлениях каналами, мы получим некоторое представление о древнем Вавилоне.

Сельское хозяйство здесь всегда было сопряжено со значительными трудностями. Надо собрать воду двух разливающихся весной рек, а потом использовать ее для полива в период засухи. Халдеи, вавилоняне, ассирийцы — большие специалисты в ирригации — взнуздали Тигр и Евфрат и создали сложную систему распределения воды. Ее унаследовали персы, потом арабы, но когда Халифат ослабел, система обветшала, а после нашествия монголов в XIII веке великолепные водоводы, сложные плотины и дамбы окончательно пришли в негодность, и это чудо великой цивилизации было потеряно навсегда.

Сейчас инженеры работают над проблемой ирригации, но решить ее непросто. Русла рек за века небрежения претерпели некоторые изменения. Дело в том, что воду для индивидуальных нужд брали таким образом, что русла не могли восстанавливаться правильно, а рытье каналов, которое велось без всякого плана, часто способствовало наводнениям. Так что возвращение Вавилону его прежнего плодородия — это не одна проблема, а сотни, из которых не последняя — культура пользования ирригационной системой. Тем не менее даже одного взгляда, брошенного на просторные сухие равнины, хватит для того, чтобы поверить: если

Ираку снова удастся достичь плодородия древнего Вавилона, соотношение сил на мировом рынке пшеницы значительно изменится.

Глава третья

Шииты-флагелланты

В гостях у местных жителей я из окна наблюдаю шествие шиитов-флагеллантов.

1

Я обнаружил, что мне, как всякой «христианской собаке» по выражению XVII века, в шиитские мечети Багдада путь заказан. Шла первая неделя первого месяца мусульманского календаря мукаррам. В это время шииты предаются самобичеванию, режут себе ножами кожу на голове, таким образом доводя себя до религиозного экстаза. Все завершается полным страсти действием, изображающим смерть Хусейна, внука Мухаммада.

Я, бывало, подолгу стоял около мечетей и смотрел на входивших и выходивших мужчин. Мечети в это время напоминают гудящие улы. Фанатичной толпе чуждо какое бы то ни было чувство юмора. А если ты не имеешь отношения к объекту их мании, тебя просто не видят. Эти люди страшны в своей целеустремленности. Они вовсе не кажутся подавленными и убитыми горем — скорее, одержимыми жаждой мести. Глядя на них, я понял, что в древности разрядить обстановку могли только человеческие жертвоприношения. Шииты всегда жаждали крови.

Мне, вероятно, следует пояснить, что ислам разделяется на две ветви. Первая — ортодоксальное большинство (сунниты), вторая — фанатичное меньшинство (шииты). Раскол датируют 680 годом, когда пресекся род Пророка — Хусейна, внука

Мухаммада, убили в Кербеле (Ирак). Шииты считают, что с этого момента все халифы были узурпаторами и самозванцами. Такой нонконформизм характерен больше для Индии и Персии. У шиитов свои мечети, своя иерархия священнослужителей, даже своя интерпретация Корана. Если ортодоксальные мусульмане-сунниты во время молитвы обращаются лицом к Мекке, то шииты — к Ираку, где находятся четыре святых для них города — Наджаф, Кербела, Кадиман и Самарра. Их ежегодно посещают двести тысяч паломников.

Первые десять дней мухаррама шииты отмечают с присущей им мрачной суровостью смерть Хусейна в Кербеле. В Багдаде в этот период полно паломников, которые, достигнув цели своего путешествия, маршируют по улицам ночью и безжалостно себя бичуют. Христианину, да и мусульманину-сунниту не поздоровится, если нарвется на такую процессию.

Подружившись с несколькими местными христианами, прихожанами древней Халдейской церкви, я рассказал им о своем желании увидеть шествие флагеллантов, и один из них согласился отвести меня к своему другу, живущему на одной из глухих улочек Багдада. Мимо его окон пролегал путь шиитов от одной мечети к другой. Знакомый обещал зайти за мной в восемь вечера.

Когда мы отправились, уже стемнело, но на улице было полно народа, потому что жители Багдада переняли западную привычку бесцельно шататься вечерами, — возможно, все дело в том, что улицы стали освещать электричеством, и в том, что клерки не слишком сильно устают на работе. Свернув с главной улицы, мы углубились в узкие переулки. Наши шаги отдавались гулким эхом. Местами все очень напоминало трущобы Нью-Йорка. Дома жались друг к другу, выдвинув вперед верхние этажи. Над головой

оставалась лишь узкая, как лезвие ножа, полоска неба. Улочки так причудливо переплетались, что казалось, город проектировало стадо сумасшедших баранов. С наступлением темноты старый Багдад вновь обретает былую таинственность. Я почувствовал, что здесь и вправду можно встретить халифа, вышедшего из дворца навстречу ночным приключениям. А какой-нибудь карлик, столь часто встречающийся в восточных сказках персонаж, быть может, глядит сейчас на меня откуда-нибудь с чердака.

Те, кто ходит по этим улицам, не похожи на благовоспитанных эфенди, фланирующих в центре города в накрахмаленных воротничках и шляпах. Здесь бесшумно, как летучие мыши, мелькают молчаливые субъекты в туфлях без задников. Проходя мимо, они успевают бросить на вас косой взгляд из-под яшмага, головного платка, придерживаемого на голове жгутом. Иной раз из-за стены донесется тоскливый вопль турецкой музыки, и представишь себе, что за жизнь ведут здесь эти люди, — будто в засаде сидят.

Мой провожатый остановился перед одной из серых стен и постучал в дверь. Мы услышали стук шагов — кто-то спускался по лестнице, а потом голос из-за двери спросил, кто там. Дверь быстро открыли, и за ней оказался не евнух, как можно было бы ожидать в именно этом районе именно этого города, не купец в тюрбане и шелковом халате, а молодой человек в темном пиджаке, полосатых брюках и черных лакированных туфлях.

Беседуя с нами на хорошем английском, он провел нас по каменной лестнице наверх, в комнату окнами во двор. Там стояли два дивана с персидской обивкой и белыми покрывалами. Лампочки были без абажуров. На стенах — несколько китайских картин, на бамбуковых столах — разные безделушки. Наибольшее впечатление производило чучело: кобра душит мангуста. Оно стояло на тумбочке, очень реалистичное и страшное, придавая

комнате индийский колорит, который я уже начал подмечать повсюду в Багдаде.

Темноволосая девушка в красном, как мак, платье с улыбкой встала с дивана, где сидела в очень официальной позе ожидания, и робко поздоровалась с нами за руку. Вот и хозяйка дома. Она совсем недавно окончила школу, стеснялась своего английского, однако время от времени все-таки вставляла в разговор слова «да» и «нет». Мы всякий раз это отмечали и в конце концов так смутили ее, что она потупилась и покраснела, как ее платье.

Слуга принес поднос с чаем, английским печеньем, апельсинами и сладкими лимонами.

Мы сидели и разговаривали о шиитах, которых мои собеседники, будучи христианами, осуждали и считали опасной и фанатичной сектой. Нам рассказали о физических истязаниях, которым подвергают себя шииты каждый год в месяц мухаррам. Те, кого нам сегодня предстояло увидеть, то есть бичующие себя — это обычные флагелланты. Они просто десять ночей подряд странствуют из одной мечети в другую, хлеща себя плетью по спине и груди. А есть и такие, что лупят себя цепями. А самый дикий способ умерщвления плоти — изрезать себе кожу на голове. Так делают особо фанатичные шииты утром десятого дня месяца мухаррама.

Хозяину дома случалось видеть такое в Наджафе и Багдаде. Он сказал мне, что в экзекуциях участвуют самые разные люди, но турки проявляют особое рвение и, случается, не рассчитав, убивают себя. В государственном учреждении, где он служит, некоторые специально берут отгул на один день, чтобы присоединиться к процессии «головорезов».

Я попросил нашего хозяина рассказать, как именно они это делают. Итак, толпа людей, которые не один

день готовились к предстоящей эмоциональной встряске, собирается в мечети.

— В Кербеле или Наджафе, — сказал он, — за несколько дней до процессии можно увидеть этих людей на улице — они что-то шепчут над своими мечами, точат их, начищают.

В мечети они становятся в кружок и начинают «водить хоровод» вокруг главного, повторяя имена Али, Хасана и Хусейна, чем взвинчивают себя до предела. Потом главный испускает дикий вопль и бьет себя мечом по голове. Увидев кровь, остальные просто теряют рассудок. С криками «Хусейн!», «Али!», «Хасан!» эти люди кромсают себе головы мечами, пока их белые одеяния не покроются красными пятнами крови.

Потом флагелланты попарно выходят из мечети и шагают по городу, продолжая наносить себе удары. Брызги крови летят на стены домов. Жители города, услышав крики фанатиков и увидев струящуюся по их лицам кровь, горестно стенают. Иногда люди, которые, в общем, не имеют никакого отношения к этой оргии, теряют над собой всякий контроль, хватаются за перочинные ножи или ножницы, режут себе вены.

Пока хозяин дома обо всем этом рассказывал, вдали слышались тоскливые ритмичные звуки.

— Они идут! — сказал он. — Нам надо подняться.

Мы поднялись еще на один лестничный пролет, в маленькую спальню с окнами на улицу. В комнате горел свет, но его тут же выключили, спросив предварительно, не возражаем ли мы посидеть в темноте. Так как комната примерно на ярд выдавалась во двор, мы себя чувствовали, как в оперной ложе. Тростью я мог бы дотянуться до головы любого проходящего внизу. Нас обступили темные и таинственные дома. Улочка, извиваясь, терялась из вида, перетекая, может быть, в другую, столь же извилистую и узкую. Единственным источником света был табачный киоск на

противоположной стороне улицы. Среди беспорядочно наваленных пачек сигарет и коробок табака, скрестив ноги по-турецки, сидел старик. Оставаясь невидимыми, мы могли наблюдать за происходившим внизу — в этом было нечто приятно авантюрное. К табачному киоску подходили покупатели и попадали в круг света, а потом снова исчезали в темноте. Иногда до нас доносился, постепенно усиливаясь, странный звук: как будто тысяча нянек, воспользовавшись отсутствием хозяек, ритмично и с наслаждением шлепали по попкам тысячу детишек. Но по мере того, как звук приближался, становилась понятна и его горестная и яростная окраска. Это были стоны и вопли. В какой-то момент шум сделался просто нестерпимым. На улочке появилась самая странная процессия из всех, какие я только видел. Первыми шли юноши и молодые мужчины со знаменами, которые они с истинно восточной непоследовательностью наклоняли то в одну сторону, то в другую. За ними следовали люди с носилками. Узкая улочка озарилась оранжевым сиянием парафинового пламени. За носилками по восемь человек в ряд шли обнаженные до пояса мужчины. Их смуглые лица и торсы блестели от экстатического пота. Они были словно полк полуобнаженных воинов, брошенный на врага. И у каждой роты имелся командир, и за каждой ротой плыли эти странные носилки-ковчеги, дымящиеся, светящиеся желтым светом. Войско останавливалось через каждые несколько ярдов, командир поворачивался лицом к подчиненным и выкрикивал: «Хусейн!» И сразу раздавался дружный, мучительный ответный вопль сотен голосов. «Хасан!» — еще вопль. За ними следовали ритмичные арабские песнопения, вся рота скандировала: «О, Хусейн, добро пожаловать в Кербелу!»

После каждого слова мужчины воздевали руки, а потом хлестали себя по голым торсам. Вместо спин у них было отвратительное, кровавое месиво. Тела некоторых

покрывали вспухающие рубцы, грозящие стать ранами. У них были бледные, покрытые испариной лица. Смотрели они вперед, в одну точку, словно мученики, идущие на костер.

Военная выправка, ритмичные взмахи рук, прекрасная реакция на команды, беспрекословное повиновение начальникам — все это странно контрастировало с чуть ли не волочащимися по земле знаменами и вихляющимися носилками. Эти люди будто явились из какого-то страшного сна, и в их глазах я видел муку Хусейна, которого мучили и пытали огнем в пустыне Кербела.

Я смотрел на эти лица, старые и молодые, на мужчин с волосатой грудью и на стройных и безволосых юношей, на бородатых и на чисто выбритых и думал: зачем, черт возьми, эти люди так себя ведут, из какой тьмы веков явился такой страшный обычай?

Подобные самоистязания пророк Илия видел на горе Кармель, где жрецы Ваала с громкими криками полосовали себя ножами и стилетами, пока не зальют кровью все вокруг себя. В Ветхом Завете такую странную, дикую скорбь по Хусейну называли бы одним из последних грехов вавилонских. Я смотрел на лица и на израненные тела, на плывущие ковчеги с огнем — и понимал, что вижу то, что происходило в этой стране давным-давно, когда на зиккуратах курились алтари Ваала и Астарты.

Мимо наших окон прошло около тысячи человек, мы уже попривыкли к их окровавленным торсам и однообразным выкрикам. Каждая последующая группа, по сути, ничем не отличалась от предыдущей. Иногда скорбными воплями подливали масла в огонь женщины на улице или в окнах. Тогда флагелланты принимались хлестать себя с удвоенным рвением. Наконец последние скрылись за поворотом, и я понял, что теперь никогда в жизни не забуду их пронзительного «иль-алла», этот

крик навсегда застрял в моем мозгу. Я встал, чтобы попрощаться и уйти. Хозяин дома включил свет, но сказал, что пока шииты не доберутся до своей мечети, выходить на улицу небезопасно. Так что эти добрые люди опять угостили нас чаем, печеньем и сладкими лимонами. И только ближе к полуночи по пустынным улицам я отправился домой спать.

Глава четвертая

Вавилон

Осматривая Вавилонские развалины, я вспоминаю историю — Вавилонскую башню, Висячие сады и Вавилонский плен.

1

Едва ли не самым нелепым поступком в моей жизни было путешествие в Вавилон на такси. Дело в том, что багдадские таксисты, не понимающие глубокого несоответствия масштабов своих транспортных средств и великого Вавилона, то и дело тормозят у обочины и предлагают такси по сниженным ценам.

Развалины находятся в шестидесяти милях к югу от Багдада, и поездка туда занимает от трех до четырех часов. Сначала дорога довольно хорошая, но вскоре появляются рытвины и ухабы. Я понял, что уже близко, когда мы пересекли узкоколейку, проложенную по песку, и я увидел доску, на которой по-английски и по-арабски было написано: «Платформа Вавилон».

Я читал о том, как Время посмеялось над могущественным когда-то городом, но этот щит словно перевел на язык моей цивилизации все постигшие его унижения. Итак, «краса царств, гордость халдеев» теперь должна называться «платформой», которую даже пригородные поезда минуют с вызывающим свистом. Это показалось мне чуть ли не горестней любого из пророчеств Исайи.

Вдоль дороги высились кучи песка — одни достаточно высокие, чтобы их можно было назвать холмами, другие — небольшие гряды, а иногда просто

неуклюжие возвышения. На мили вокруг все было пропитано недоброй памяти древним Вавилоном. И так, здесь стоял город, чьи висячие сады были одним из семи чудес света. Повозка, запряженная четырьмя лошадьми, могла свободно проехать по его стене. Только на одном алтаре каждый год курили на тысячу талантов ладана.

Я вскарабкался на песчаный холм, внутри которого немецкие археологи в период с 1899 по 1917 год провели весьма обширные раскопки. Честно говоря, мне трудно было понять их рвение — я видел акр за акром коричневые стены, разрушенные своды, нижние этажи и кладовые, находящиеся в таком беспорядке, что только квалифицированный архитектор смог бы разобраться, что это такое. Время уравнивает дворцы и лачуги, широкие дороги и узкие тропки. Но одна руина по-прежнему великолепна: знаменитые ворота Иштар, построенные в Вавилоне Навуходоносором. Башни поднимаются на сорок футов, на бурых стенах — барельефы, изображающие сто пятьдесят два вида животных почти в натуральную величину. Целые ряды быков и драконов. Когда-то их покрывала эмаль, а сейчас видна глина, из которой они вылеплены.

Что это была за счастливая находка! Ничего нет тоскливее кирпичей из глины с рубленой соломой, одинаковых по форме, скучных по цвету, крошащихся, стремящихся обратиться в пыль, из которой их когда-то и спрессовали. Даже необработанный камень выглядит красивее, чем саманные кирпичи. Глядя на эти акры вавилонских кирпичей, невольно думаешь: а так ли были красивы здешние здания, как нам внушают. Но сохранившиеся на воротах Иштар быки и драконы развеивают все сомнения. Быки, причесанные, как французские пудели, ступают с грацией молодых коней. Шерсть вдоль хребта, от головы до хвоста, вокруг морды, под брюхом, на груди, на ляжках лежит мелкими тугими колечками, к которым, возможно, привязывали

разные драгоценные безделушки или бусины. Что за великолепные животные! Они не такие массивные, как египетский Апис, не похожи на фантастических полулюдей — ассирийских быков. Эти гордые, сильные существа шествуют в голубое утро по воротам, снабженным пятью засовами.

Их спутники — драконы, или сирруши, тоже выполнены прекрасно, но они не так привлекательны. В действительности таких животных не существует. Возможно, их поместили сюда, чтобы отпугивать мидян и персов. Сирруш — это нечто среднее между змеей, рысью и орлом: голова, туловище и хвост — от змеи, передние лапы — рысьи, а задние, заканчивающиеся когтями, могли бы принадлежать крупной хищной птице.

Вавилоняне часто изображали сиррушей. Профессор Колдуэй, открывший ворота Иштар, допускает, что жрецы держали во тьме храма странных, напоминающих рептилий животных, очень похожих на сиррушей. Если так, то это проливает свет на историю о драконе из «Книги пророка Даниила». Суть истории в том, что Даниил отказался поклоняться дракону в Вавилоне и вызвался победить и убить его. Смельчака впустили в логово зверя, веря, что ему больше оттуда не выйти. Однако Даниил взял с собой сильнодействующее снадобье (смесь смолы, жира и волос) и заставил дракона проглотить его. Бедный сирруш издох. Точнее, рассеялся.

С вершины холма вы смотрите вниз на фундамент, на кирпичную кладку дворца Навуходоносора. Как трудно осознать, что эта несуразная масса строительного материала — все, что осталось от Висячих садов, что линия, едва намеченная и теряющаяся вдаль, — контур могучих стен, некогда окружавших Вавилон и поражавших воображение.

Эта плоская страна расстелена под небом — голая, невыразительная, безводная. Разве что на западе, по узенькому участку, засаженному пальмовыми деревьями, течет Евфрат. Самой реки вы не видите, а только полоску листвы, которая тянется мили и мили, лежит, как зеленая змея на песке. Даже «реки вавилонские» оставили город. В древние времена река протекала вдоль западного склона холма Каср, принося с собою ароматы цветов. Словно повинаясь приказу свыше, чтобы ничего живого не осталось вблизи Вавилона, Евфрат проложил себе новое русло и ушел в сторону, унося с собой жизнь.

Я стоял на груде развалин. Ко мне подошел араб и сказал, что работал здесь с профессором Колдуэем, что зовут его Умран Хамид, что он «гид по Вавилону». Этот славный малый поднабрался у немецких археологов информации, которой не уставал делиться. Мы с ним прогулялись по развалинам, и мой провожатый обратил мое внимание на многое, что без него я бы пропустил.

Он показал мне следы трех колодцев в фундаменте Висячих садов и помещение, про которое сказал, что оно было «рефрижератором». Поскольку он только что вместо «наряд» сказал «заряд», я на всякий случай поинтересовался, что он имел в виду, сказав «рефрижератор».

— Здесь хранили еду холодной — в снегу, — ответил он, честно глядя мне в глаза.

— Вы когда-нибудь видели рефрижератор?

— Нет, сэр, — признался он, — но я слышал, как немцы говорили.

Итак, если Умран услышал правильно, возможно, в нижних этажах Висячих садов хранились замороженные продукты, холодный шербет и другие лакомства для мидийской принцессы, ради которой Навуходоносор все это здесь и устроил. На равнинах Вавилона она заскучала по своим родным горам, как, должно быть,

скучали и евреи во времена вавилонского плена, и, чтобы развлечь ее, царь приказал сделать террасы и разбить на них сады.

Слово «висячие», пожалуй, тут не подходит, хотя по-гречески они действительно именовались «kremastos» — так древние греки называли, например, повешенного, а в новогреческом это слово обозначает подвесной мост.

Тем не менее Висячие сады не менее прочно стояли на земле, чем пирамиды. Как и все остальное в Вавилоне, они были построены из саманных кирпичей и располагались пирамидой или, точнее, зиккуратом, напоминая террасы Маппин в Лондонском зоопарке. Воду для орошения садов качали из колодцев в фундаменте. На террасах сажали деревья и цветы; в искусственных водоводах, вероятно, очень музыкально журчала вода. В этом чудесном ботаническом саду и прогуливалась принцесса, тоскуя по настоящим скалам. Будем надеяться, что Навуходоносору удалось компенсировать своей избраннице перемену среды обитания. Ни один мужчина не совершал для своей возлюбленной ничего подобного. Но история и, конечно же, судьбы обыкновенных людей свидетельствуют о том, что такие масштабные жесты не всегда окупаются. Возможно, где-то здесь, под костями обитателей Вавилона, лежит табличка, на которой зафиксировано, как именно отреагировала девушка с гор на проявление царской любви, предъявленное ей после многих месяцев упорного труда землекопов и садовников. А вдруг она сказала: «И ты называешь это садом? Да это даже не холм!»?

Я спросил Умрана, как он себе представляет Висячие сады. Он восторженно улыбнулся и ответил:

— Похоже на райские кущи!

Он подвел меня к месту, где поверхность земли словно свело судорогой — такое можно увидеть и в лондонском Сити, когда сносят какое-нибудь крупное

здание. А здесь прежде находился зиккурат, башня под названием Э-темен-ан-ки, которую традиционно называют Вавилонской башней. Это явно была башня типично вавилонской формы, поднимающаяся ярусами над пыльной равниной достаточно высоко, чтобы позволить астрономам без помех наблюдать небо с ее вершины. В самом верхнем ярусе был храм, где, как свидетельствует Геродот, стояли лишь стол и кровать, предназначенные для единственной женщины, избранной божеством из всех женщин земли. Соответствующая надпись доказывает, что этот храм и его высокая башня относятся к первому столетию существования Вавилона и что башня восстанавливалась время от времени разными царями.

Мы подошли к нескольким разрушенным аркам, которые когда-то поддерживали пиршественный зал Навуходоносора. Это тот самый зал, где, согласно Книге пророка Даниила, Валтасар увидел огненную надпись на стене.

Пока мы скитались по безлюдным руинам, чье безмолвие нарушало лишь жужжание диких пчел и шершней, я думал, как буквально сбылось пророчество Исаяи о падении Вавилона. Он действительно повержен, как повержены были Содом и Гоморра:

И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем; не раскинет Аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены — в увеселительных домах (Ис 13, 19-22).

Широкие стены Вавилона разрушены до основания, как предсказывал и Иеремия; ворота его «сожжены огнем»; город действительно обращен в пустыню, и слышно здесь только «шипение». Слова Иеремии осуществились буквально: город лежит в развалинах. Именно это слово лучше выражает царящее здесь запустение. «И Вавилон будет грудой развалин».

Исайя предсказывал, что населять эти развалины будут киппод. Это древнееврейское слово ввело в заблуждение переводчиков Библии. В «официальном варианте»^[11] оно переводится как «выпи», в исправленном издании — как «дикобразы». Я нарисовал у себя в блокноте дикобраза, показал его Умрану и спросил, видел ли он тут что-нибудь подобное.

Его лицо тут же осветила радость узнавания.

— Да, как же! — воскликнул он. — Это же *кунфуд*! Они пугливые и приходят только по ночам.

Я лично не видел дикобразов, шакалов, змей, филинов и прочей фауны, предсказанной пророком, но видел одно животное, которое им не было упомянуто, — зайца. Это было единственное существо, которое мы потревожили, гуляя по развалинам. Мы испугнули его неподалеку от пиршественного зала Навуходоносора.

— Смотрите! — воскликнул Умран, — *арнаб*!

Крупный заяц выскочил и умчался к центру стоявшего здесь когда-то города.

Когда мы вернулись к воротам Иштар, Умран показал ров, куда Даниила бросили на съедение львам. Вполне возможно, что львов держали во рву около ворот Иштар. Кстати, когда профессор Колдуэй начал раскопки, он обнаружил в этом месте тысячи цветных плиток. Из них можно было сложить мозаичные фигуры львов с белыми телами и красными гривами. По расчетам Колдуэя, не меньше ста двадцати львов охраняли главные ворота Вавилона.

Одна из самых интересных вещей, которую можно увидеть в Вавилоне, это кирпичи, скрепленные битумом, использовавшимся в качестве строительного раствора, — именно такие, какие описывает Геродот. Он побывал в Вавилоне спустя век после его падения. Это был все еще великий город, хотя некоторые здания и разрушились. Возможно, встряска, которую задал Вавилону Ксеркс, создала строителям новый фронт работ, так что Геродот частенько видел здесь тележки с кипящим битумом.

Каждый ряд кирпичей покрывали тонким слоем горячей «земляной смолы», и кладка получалась такая прочная, что ее и киркой не разобьешь. Время от времени клали еще слой тростника, и там, где тростник сгнил, теперь видны его отпечатки на битуме. Геродот пишет, что значительные запасы битума имелись в Хите, в семидесяти милях на северо-запад от Багдада. Этот город и сегодня отвратительно пахнет сероводородом. Там имеются две битумные скважины, примерно в тридцати футах одна от другой. Битум, разумеется, можно найти и в персидских месторождениях нефти, а также в окрестностях Мосула.

2

Что делали евреи в Вавилонском плену? Чем занимались? Все ли они плакали на реках вавилонских, или у этой медали есть и другая сторона? Видимо, есть, хотя бы потому, что евреи не торопились возвращаться и отстраивать Сион, даже когда им это разрешили. В Вавилоне они вовсе не были жалкими рабами, как их предки в Египте. Никто не принуждал их делать кирпичи, хотя они поселились в стране, где кирпичей делали много. Если бы их угнетали, мы узнали бы об этом от пророков. Что приходилось нелегко, что с

разными пленными обращались по-разному — с кем-то хорошо, а с кем-то плохо, — это бесспорно. Пророк, известный как Второисайя, ненавидевший Вавилон, упоминает, что вавилоняне не знали жалости, что старикам приходилось нести такое же ярмо, как молодым. То есть это значит, что некоторых, независимо от возраста, принуждали трудиться на строительстве каналов и дамб или выполнять какую-нибудь другую тяжелую работу, которая всегда найдется в стране орошаемого земледелия.

С другой стороны, Иезекииль описывает Вавилон как «страну торговцев», «город купцов», «плодородную долину», в которую еврейскую колонию пересадили, как иву в жирную почву, и в этом описании нет ни намека на угнетение. А Иеремия, будучи реалистом, не стал бы советовать высланным из Иерусалима, чтобы пустили в изгнании корни, сажали сады, трудились в поте лица своего, если бы не был уверен, что в ссылке возможна благополучная жизнь.

Огромный город Вавилон с его плодородной землей, развитым чиновничьим аппаратом, торговлей, пристанями, бесчисленными ремеслами давал предприимчивым евреям тысячи возможностей наладить свою жизнь. Без сомнения, в Вавилоне евреи сразу взялись за дело.

Не был ли известный банкирский дом Эгиби, который на памяти множества поколений финансировал вавилонский двор, еврейским предприятием? В развалинах Вавилона нашли множество глиняных табличек с банковскими расчетами и описаниями торговых сделок. Эти таблички находятся в Британском музее. Известно, что Эгиби — это Иаков, и предполагается, что основатель фирмы мог принадлежать к тем самым «десяти пропавшим коленам Израиля», которые, придя в Вавилон из Ассирии, осели здесь и процветали. На многих табличках — записи об

одалживании денег под 20 процентов, из чего видно, что «Эгиби и К°» презрели старомодный древнееврейский запрет на занятия ростовщичеством. Интересно также, что хотя название фирмы осталось Эгиби («Иаков и компания»), все члены семьи взяли себе вавилонские имена, такие как Итти-Мардук-балату и Мардук-Назир-аплу, предусмотрительно включающие в себя имя местного божества. Ну что ж, на Западе тоже многие евреи полагали, что называться Макинтошем для дела лучше, чем Коганом.

Дом Эгиби, видимо, занимался продажей земли и недвижимости, пальмовых рощ, а также работорговлей, и был готов вести любые сделки: начиная от продажи лука и кончая операциями с серебряными шекелями. Даже в том случае, если к ссыльным относились с холодной неприязнью, что вполне возможно, достигнутые успехи должны были будить амбиции и открывать перед евреями новые горизонты.

Если бы не небольшая группа очень религиозных людей, чья прозорливость и неколебимая вера в будущее ярко воссияли именно в изгнании, евреи могли бы затеряться среди победителей. Первым среди духовных наставников стал Иезекииль, чей дом всегда служил местом встреч и собраний иудеев. Иезекииль считал изгнание в Вавилон еще одним шансом для своего народа, жил будущим, и у него имелась развернутая программа теократического государства, ядром и центром которого являлся храм Божий, а не царский дворец. Иезекииль необычен еще и тем, что, переходя из дома в дом, проповедуя и пророчествуя, излагая свой проект Нового Иерусалима, он первым воплотил в жизнь концепцию Доброго Пастыря, заботящегося о своем стаде, впервые в истории религии проявлял заботу о душах своей паствы и этим напоминает нам Святого Павла:

Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог (Иез 34, 12; 15).

Эти слова Иезекииля, сказанные в Вавилоне, кажется, могли бы войти в Новый Завет.

Когда прошло около шестидесяти лет вавилонского плена, евреи стали свидетелями события, которое часто неправильно считают «падением Вавилона». После смерти Навуходоносора корона быстро переходила от одного к другому и наконец была возложена на голову Набонида или Набунахида, помешанного на древностях. Он раскапывал разрушенные храмы, интересовался древними культами. Есть нечто трогательное в стремлении этого властителя пролить свет на прошлое своей страны именно тогда, когда она вот-вот погибнет. Набонид совершил роковую ошибку: впустил в столицу древних богов Вавилонии. Он собрал их отовсюду и велел народу поклоняться им. Содержать таких гостей оказалось дорого, пришлось выделять значительные суммы из средств, отведенных на религию. Жрецы были недовольны, люди, которых лишили их привычных богов, почувствовали, что больше не имеют защитников на небесах. Правление Набонида — предупреждение всем любителям древностей, склонным внедрять свои невинные пристрастия в современную жизнь. В конце концов царь полностью погрузился в ученые изыскания, запершись во дворце в Тейме, и передал власть над Вавилоном сыну, Бэл-шар-уцуру (Валтасару).

Как вавилоняне, так и евреи видели в персах освободителей от «археологической» монархии. Персидский царь Кир был готов сыграть эту

историческую роль и двинул свои войска на Вавилон. Возможно, мы так никогда и не узнаем, как пал Вавилон. Сейчас всеми признано, что Книга пророка Даниила, в которой сказано о последней ночи Вавилона и огненной надписи на стене, была написана двумя столетиями позже, чтобы поддержать борьбу Маккавеев против Селевкидов, и скорее может претендовать на религиозную значимость, чем на историческую точность. Она в еврейской Библии стоит особняком, а факты, в ней изложенные, не соответствуют тем, что мы находим в источниках периода Вавилонского пленения.

Бесспорно лишь то, что ужасные подробности падения Вавилона, предсказанные Второисаией и Иеремией, не осуществились. Захват Вавилона Киром был таким же бескровным, как марш Муссолини на Рим. Так что «падение Вавилона», которое ассоциируется с жуткими картинами пожаров, обрушения бастiónов, массовых убийств, было всего лишь мирной сменой династии.

Пророки пугали рассказами о том, как младенцев будут разрывать на части на глазах у родителей, грабить дома, резать, словно скот на бойне, мирных жителей. И все источники пересохнут от пожаров. Даже в самом чудесном из псалмов, 136-м, «На реках вавилонских» далее мы читаем ужасные слова: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!»

Разграбления Вавилона, которое с таким жаром предсказывали иудейские пророки, не произошло. Вместо этого персидская армия в 539 г. до н. э., имея приказ уважать собственность местных жителей и не оскорблять их достоинство, вошла в город, ни разу не прибегнув к насилию. «Пал Вавилон и разбился; рыдайте о нем!» — восклицает Иеремия (Иер 51, 8) еще до падения Вавилона. Но не о чем было плакать, потому что город, казалось, радовался своему поражению. Народ действительно был потрясен, как и предсказывали

пророки, но не самим фактом падения, а тем, что Вавилон, при мощнейших крепостных стенах и прочих средствах защиты, практически сдался без боя.

Войдя в город через две недели после своей армии, Кир взял на себя редкую в истории роль — завоевателя-филантропа. Вместо того, чтобы крушить дома, он отстраивал их. Он реставрировал храмы и общественные здания. Он отправил древних богов обратно в их опустевшие святилища и объявил евреям, к их удивлению и даже испугу, что они могут отправляться домой. Если внимательно читать Второисаю, пророков Аггея и Нехамию, а также неопровержимые свидетельства вавилонских евреев в эллинистический и другие периоды, становится ясно, что очень немногие изгнанные в Вавилон, получив разрешение вернуться, горели желанием оставить насиженные места и отправляться восстанавливать утраченное отечество.

Теперь, когда они были вольны уйти, они поняли, что им вовсе не плохо в Вавилоне, — пишет Гастон Масперо в своей книге «Гибель империй». — Им пришлось бы покинуть свои дома, поля, налаженное хозяйство, отказаться от привычки держаться в стороне от политики и пуститься в опасное путешествие продолжительностью в три-четыре месяца, чтобы в конце концов очутиться среди развалин, в бедной стране, в окружении враждебно настроенных соседей. Такая перспектива прельщала немногих: жрецов, левитов и наиболее рьяных представителей низших классов, которые поддерживали идею возвращения домой с трогательным трепетом.

Так что весьма незначительное количество евреев через два года после окончания вавилонского плена

отправилось в путь с Шешбаззаром, и прошло не меньше двадцати лет, прежде чем на горе Сион снова был построен храм. Тем временем вавилонские евреи укрепили свое имущественное и социальное положение. Они отказались возвращаться домой, но, обладая даром успевать везде, считали храм в Иерусалиме своим духовным домом и по мере сил способствовали его процветанию. Во главе еврейской общины в Вавилоне стоял призрачный царь евреев, принц из дома Давидова, носивший титул «глава изгнанников» — реш-галута. У него были телохранители, министры, двор, он появлялся на людях в одеждах с золотым шитьем, сопровождаемый своими гвардейцами. Он был известен гостеприимством, а его двор — великолепием. Когда Вавилон погиб, его славу унаследовал город Селевкия, а затем Багдад. Во времена халифов у реш-галуты все еще был его двор. Он, последний отсвет славы Соломона, возглавлял вавилонских евреев вплоть до XII века н. э.

Покидая пустынные, безмолвные холмы, пещеристые развалины построек из бурых пыльных кирпичей, я думал, что, может быть, пророки иначе представляли себе падение Вавилона, но в конечном итоге их предсказания сбылись; ведь время всегда на стороне пророков.

ТУРЦИЯ

Глава первая

Поезд до Аданы

На поезде я приезжаю в Турцию, знакоюсь с новыми порядками и останавливаюсь в Американской миссии. Брожу по улицам Аданы и посещаю городской музей.



1

Я заснул на час-другой и проснулся в серых предутренних сумерках. Поезд стоял на станции Алеппо. Этот большой город с башнями, минаретами, многоквартирными домами с плоскими крышами и стенами грязного цвета, лежащий, как и Дамаск, на краю пустыни, крепко спал. Могучий храп богатого сирийца в соседнем купе сотрясал хрупкую перегородку. Интересно, зачем он едет в Турцию?

Потом в тишине загремел вагонами усталый состав, покрытый пылью долгих путешествий. И я понял, что этот утренний поезд-бродяга — встречный Таврский экспресс из Константинополя или, как его следует правильно называть, Стамбула.

Итак, два состава встретились в Алеппо: один — перед последним этапом своего пути на север; другой — в начале пути на юг. За те несколько минут, что поезда стояли, а солнце всходило над башнями, минаретами и обыкновенными домами, проводники спальных вагонов в униформе цвета шоколада успели обменяться несколькими фразами по-французски.

Такие же поезда ходят в Берлин, Париж, Рим, Вену, Будапешт и Афины. Люди в шоколадной форме стелют постели, будят пассажиров утром. Возможно, международные спальные вагоны — единственные современные транспортные средства, связывающие нас с Малой Азией Святого Павла.

Во времена Древнего Рима международные связи были хорошо налажены от Британии на западе до Каспийского моря на востоке. По римской дороге вы могли отправиться из Иерусалима в Булонь, и греческий и латынь верно служили бы вам в течение всего пути. Случись с вами в дороге какая-нибудь неприятность, достаточно было просто заявить о своем римском гражданстве, как это сделал Павел, — и «полиция» оказала бы всяческое содействие, будь то в Эфесе, Антиохии, Александрии, не говоря уже о самом Риме. Но если вы намерены совершить подобное путешествие сегодня, вам придется встретиться с часто неприветливыми представителями очень разных пограничных служб: французской, швейцарской, югославской, сербской, болгарской, греческой, турецкой, сирийской и палестинской. То, что раньше было открытой дорогой, теперь стало чередой границ, с таможенниками и паспортной службой; и все эти люди

обращаются с путешественником так, будто точно знают, что он шпион или контрабандист.

И только международные спальные вагоны, чьи койки, простыни и одеяла одинаковы в Париже и Стамбуле, а тяжелые голубые тарелки — в Белграде и Барселоне, возвращают вам прежнее, единое, «римское» ощущение.

Над Алеппо розовела заря, а мы уже ехали на север, навстречу жаре. Я смотрел в окно и восхищался неизменным в своей дикости Востоком: цепочки верблюдов, переходящих через мостики, всадники с винтовками за спиной, направляющиеся в дальнюю, выстроенную из саманных кирпичей деревушку. А еще мне было приятно думать, что в вагоне-ресторане соблюдаются те же правила, что и на Виа Эгнатиа, хотя, честно говоря, пока я не получил никаких тому подтверждений.

Напротив меня сидел чисто выбритый и пахнущий одеколоном сириец и пил кофе. Феску он носил вызывающе набекрень. Сказал, что едет в Стамбул. И добавил, что теперь это вымирающий город. Турецкий диктатор Кемаль, или, как его еще называют, Ататюрк, «отец *турок*», обрек Стамбул на медленную смерть, решив сделать столицей республиканской Турции Анкару.

— Как можно убить Стамбул! — восклицал сириец, патетически всплескивая ухоженными руками. — Природа сотворила его мостом между Востоком и Западом. Этот город всегда был одновременно и крепостью, и базаром. Как можно его убить!

Мне очень хотелось узнать, по какому делу мой попутчик едет в Стамбул, но я воздержался от вопросов. Вряд ли он честно ответил бы на них — в красной феске и довольно вульгарном костюме, надушенный, с маникюром, он, особенно на фоне Стамбула, как я себе

его представлял, слишком походил на персонаж детективного романа.

Через несколько часов поезд пересек границу Сирии и начал подниматься в горы Аманус.

Равнина, пальмы, деревни, караваны верблюдов остались позади. Перед нами открылся суровый горный пейзаж: вздымающиеся вершины, еловые и сосновые леса, темные ущелья с бурлящими ручьями. Горы, отделяющие страну Св. Павла от страны Христа, напоминали мне то Швейцарию, то Шотландию. Временами казалось, что подъезжаем к Сент-Морицу, а иногда — что сейчас покажется Форт-Уильям.

Остановились на пограничной станции Февзипаса. Красный флаг с белыми полумесяцем и звездой свидетельствовал о том, что мы в Турции. Приказ Гази^[12], повелевающий туркам носить европейскую одежду, неукоснительно выполняется: люди на станции одеты в нечто очень старое и потрепанное, но европейского покроя. В национальных лохмотьях можно выглядеть достойно, но если на тебе синий европейский костюм с коричневыми заплатами, ты жалок, и больше ничего.

Полицейские в фуражках с красной лентой, в серых, похожих на немецкие, мундирах с красными манжетами, с коричневыми кобурами, из которых торчали блестящие черные рукоятки револьверов, вошли в поезд и потребовали предъявить паспорта. По вагонам прошли таможенники, добросовестно порылись в багаже в поисках контрабанды, даже встряхнули зачем-то занавески на окнах.

Тем временем невозмутимые люди в обносках и старых кепках бродили по платформе и заглядывали в окна поезда. Станцию патрулировали солдаты с винтовками. Наконец поезд тронулся, и я стал смотреть в окно. Никогда не забуду этот пейзаж.

Вероятно, святой Павел, совершая свои многочисленные путешествия из Антиохии в Малую Азию, видел то же, что и я. Огромная равнина, простирающаяся до подножий гор; мили и мили невозделанной земли, на которой под присмотром пастухов в плащах с подкладными плечами пасутся стада овец. Эти войлочные бурки, называемые *кепениклер*, непроницаемы для ветра и воды. Плащ такой жесткий, что человек может выйти из него, а плащ останется стоять. Их делают из грубой шерсти киликийских коз. Сегодня, как и во времена святого Павла, она идет на палатки, паруса и веревки.

Я смотрел на пастухов, напоминавших в своих киликийских доспехах огородные пугала, и думал, что и Павел в долгих странствиях, должно быть, заворачивался в такой плащ. Разве в письме из римской темницы («Второе послание к Тимофею») не умолял он своего «возлюбленного сына» прислать ему фелонь, «плащ, который я оставил в Трое, в доме Карпа»? Несомненно, имелся в виду плащ из шерсти киликийских овец. Только такой мог согреть его в сырой темнице.

Поезд торопился вниз, на равнину. В Адане, откуда отходит железнодорожная ветка на Тарсус, мне пришлось сделать пересадку. Тарсус — это около двадцати миль на восток. Выйдя из поезда, я увидел сирийца из Триполи, выглядывающего в окно. Вместо традиционной фески на голове у него был черный берет. Какой удачный компромисс!

Берет — европейский головной убор, и, следовательно, согласно декрету Ататюрка, уместен в Турции, но поскольку он, в отличие от шляпы, не имеет полей, то и Пророк ничего против него не имел бы.

Некоторое время я стоял на платформе Аданы, прикидывая, как бы по-турецки позвать носильщика. Станция новая, построена из бетонных плит. Мальчишки катили тележки с шоколадом, апельсинами, буханками

хлеба с кунжутом *семит*, а также с мехами — лисы и куницы. Более проворные продавцы подбегали к окнам поезда и спешили предложить утомленным путешествием пассажирам палочки сахарного тростника.

Я так и стоял в некотором замешательстве, пока кто-то не тронул меня за плечо. Оглянувшись, я увидел, что на меня неотрывно смотрят пара подозрительных глаз. Мне рассказывали, что в Турции и шага не сделаешь, не привлекая к себе внимания полиции, но я в это не верил. Мой паспорт вызвал у них еще больше подозрений. Меня тут же препроводили в отделение при станции. За столом сидел старший офицер с револьвером за поясом. Я потихоньку начинал чувствовать себя персонажем шпионского фильма. По подозрительному виду, с которым офицер рассматривал паспорт, по явно неодобрительным замечаниям, которыми он обменивался со своими товарищами, по косым взглядам я понял, что наткнулся на железную бюрократическую стену, построенную на страхе и полном незнании жизни. Немец, француз, англичанин по разным мелочам, например по моему багажу, сразу поняли бы, что я не представляю опасности, но этим людям я казался невероятно таинственным. Разумеется, оказалось, что полицейский не говорит по-английски. Ситуация представлялась мне совершенно безвыходной, пока один из офицеров не привел молодого американца. Юноша оказался сотрудником Американской миссии в Адане.

— Они хотят знать, что вы здесь делаете, — сказал он.

— Я приехал посмотреть Тарсус.

— Они хотят знать, зачем вам это.

— Я пишу книгу о святом Павле.

Я почувствовал, что несгибаемый полицейский дрогнул. Офицер встал со стула, закурил сигарету,

повернулся ко мне и откровенно спросил:

— В вашей книге будет политика?

— Нет.

После недолгих мрачных раздумий они решили на всякий случай оставить у себя мой паспорт. Мне вежливо, но так, чтобы я понял, что нахожусь под неусыпным наблюдением полиции, сообщили, что я могу ехать в Тарсус на следующее утро. Поезд отходит в семь утра.

В первые же десять минут в Турции я понял, что здесь, чтобы свободно передвигаться, кроме паспорта, неплохо бы иметь рекомендательное письмо от самого Гази, подтверждающее мою благонадежность.

До сих пор не представляю, что могло бы со мной случиться, если бы Американская миссия не оказала мне гостеприимство. Стараниями республиканского правительства функции миссии сократились до присутствия на станции дежурного американского врача. Он-то и разрешил мне переночевать в бывшей родильной палате уже не действующей больницы.

Контраст между интерьером палаты и тем, что я видел, выглянув в окно, был разительный. Под окном прямо в грязи стали лагерем беженцы-курды. Соорудили домики из каких-то обломков и жестянок из-под керосина. По улице бродили куры, иногда заходили в дома. Жалкие постройки содрогались от любого звука — даже от простого чихания. Я был поражен, вдруг услышав кашель какого-то сверхчеловеческого масштаба. Какая же грудная клетка выдержит такой сокрушительный напор, подумал я, но вскоре с облегчением понял, что звук исходит от нескольких лежавших в грязи верблюдов.

Раньше Американская миссия вела в Турции большую работу. Она была основана в 1819 году с целью обеспечить местному населению бесплатное

образование и медицинское обслуживание. Колледжи, средние школы для мальчиков и девочек, больницы и церкви росли по всей стране, как грибы. Миссия высоко несла факел христианской благотворительности, зажженный здесь святым Павлом в незапамятные времена. Но теперь республиканская Турция следует девизу «Турция — для турок», и Американской миссии, что называется, подрезали крылья.

2

Адана — третий по величине город в Турции. Он лежит на благодатной Киликийской равнине. Это центр текстильной промышленности. Здесь производят хлопчатобумажные ткани. Одна из двух крупных фабрик работает на экспорт.

Это типичный старый турецкий город: домишки — развалюхи, деревянные магазинчики, узкие улочки, где утоптанная в сухое время года земля в сезон дождей превращается в топкое болото.

Верблюды гуськом тянутся по улицам, заваленным тюками хлопка. Толстые мужчины на осликах прокладывают себе путь сквозь толпу. Радиоточки в кафе орут турецкие песни. Дикие обитатели равнин и суровые горцы, спустившиеся с Таврских гор, смотрят, разинув рты, на жалкие лавчонки и думают, что они в большом городе. И все же во всем заметно стремление республики к европейскому образу жизни. Нарядные виллы, разбросанные тут и там, кажутся перенесенными сюда из окрестностей Гамбурга. В парке стоит памятник Гази. Похожие можно увидеть в любом городе.

Сама по себе статуя — это революционное явление, невозможное в старой Турции. Мусульманам религия запрещает изображать человека. Первому памятнику, воздвигнутому в Турции, всего несколько лет. Должно

быть, его открытие произвело фурор. Он находится в Стамбуле и символизирует рождение республики. Бросая вызов исламу и заодно наверстывая упущенное, скульптор сотворил целую толпу бронзовых людей. Редко увидишь столько статуй на одном пьедестале — здесь почти все значительные лица в республике. Теперь памятники Ататюрку распространились по всей стране и не пугают даже самых упрямых консерваторов.

Войдя в небольшой музей в Адане, я сразу увидел гипсовую копию статуи Венеры Милосской. Она резко контрастирует с хеттскими экспонатами. Мне сказали, что «для порядка», то есть для повышения культурного уровня населения, этот слепок присутствует во всех музеях. Народ, который дробил статуи Праксителя, а потом использовал обломки как строительный материал, разбивал работы Фидия о стены конюшен, теперь призывают любоваться тем, что он так долго разрушал.

Однако, при теперешнем отходе турок от ислама, удивляться этому не приходится. Нынешние правители поняли, что мусульманский запрет на изображение человека извратил ум и закупорил душу народа. Век за веком в этой стране не разрешалось любоваться красотой человеческого лица и тела, художники и архитекторы вынуждены были ограничивать себя геометрическими узорами. Какая бездна иронии в том, что нежная Венера Милосская, поставленная у входа в музей, призвана эстетически воспитывать людей, чьи предки в свое время построили мечеть на месте Парфенона.

Одна из самых интересных достопримечательностей в Адане — это изящный мост длиной около трехсот ярдов через реку Сейхан (древнее название — Сарус). Есть еще арка (очень распространенного типа), которая, говорят, была частью моста, построенного по приказу императрицы Елены. Она тогда ехала из

Константинополя в Иерусалим, где позже нашла Святой Крест.

Бродя по улицам Аданы, я услышал призыв на молитву и, запрокинув голову, увидел на минарете муэдзина — не в развевающихся одеждах и тюрбане, а в синем костюме из магазина готового платья. Его пронзительный высокий голос в сочетании с костюмом производил довольно нелепое впечатление. Человека, одетого таким образом, легче было представить торгующим рыбой, чем созывающим верующих на молитву.

Реформы Гази в Турции потрясают. Он самый бесстрашный в новейшей истории борец с предрассудками. Подобно тому как Советы в России стерли с лица земли царский режим, Кемаль Ататюрк стирает в своей стране даже память о султанате и халифате, выстраивает в сознании граждан барьер между современной республиканской Турцией и застойной Турцией прошлого.

Он покусился даже на твердыни ислама, и никто не осмелился возразить. Великая мечеть в храме Святой Софии в Стамбуле превращена в музей. Орден дервишей и другие религиозные общины распущены, мечети превращены в концертные залы. Святой для мусульман день, пятницу, отменили, вернее, заменили христианским воскресеньем. Религиозные школы закрыли, в обычных средних школах не ведется никакого религиозного воспитания.

Европейцы посмеиваются, читая о том, что всех турок обязали носить шляпы вместо фесок. Думают, это всего лишь детское подражание европейскому стилю в одежде. А между тем, эта реформа подрывает самые основы прежней религиозной и социальной жизни. Это еще сокрушительнее, чем разрешить женщинам ходить с открытыми лицами.

На Востоке головной убор всегда имел огромное значение. Одного взгляда на него достаточно, чтобы узнать вероисповедание и социальный статус его хозяина. Феска — не есть истинно турецкий головной убор, он греческий по происхождению. Два века назад, когда турки еще носили тюрбаны, всякому чиновнику или вельможе во дворце султана полагался тюрбан определенного типа. Когда тюрбаны запретили и национальным головным убором объявили феску, некоторые старые турки решили, что наступил конец света. Сходные настроения появились у некоторой части населения, когда Кемаль запретил фески. А уж заставить соотечественников носить шляпы, какие носят христиане, неверные собаки, — никаким другим способом Гази не мог бы утвердить новую власть более надежно.

Мусульманский головной убор не должен иметь полей. Правоверный мусульманин не может коснуться лбом земли во время молитвы, если на нем шляпа. Так что очень легко превратить молитву в мечети в нелепое и невозможное мероприятие — стоит только заставить верующих носить головные уборы с полями. Но турецкий диктатор проявил гуманность: туркам разрешено молиться... в матерчатых кепках.

Войдя в турецкую мечеть, вы сразу поймете, почему этот самый ужасный из западных головных уборов так популярен у верующих. Если повернуть кепку так, чтобы козырек был сзади, гладкая поверхность оказывается на лбу и можно спокойно прикоснуться лбом к полу. Сотрудники музеев, таможенные чиновники, даже полицейские, откликающиеся на зов муэдзина, могут молиться, повернув козырьком назад свои фуражки.

В тот вечер в «штаб-квартире» Американской миссии собрались члены небольшой христианской общины в Адане, несколько сирийцев, армяне и одна девушка-

гречанка. Усевшись в кружок, мы говорили о том, о чем говорят сейчас все, — о необходимости мира во всем мире.

Перед тем, как лечь спать, я вышел постоять на плоской крыше. На синем бархатном небе сияли огромные звезды. Далеко на севере виднелся темный хребет Таврских гор. А вокруг меня была сплошная, огромная пустота — никаких звуков, кроме надрывного кашля курдских беженцев и лая собак вдали.

Глава вторая

Тарсус

На улицах города, где родился святой Павел, я ищу в новом Тарсусе древний Таре.

1

Мы наняли повозку и, проехав некоторое время по длинной прямой дороге, оказались в ветхом маленьком городке, где деревянные лачуги смотрят друг на друга через узкие улицы. Когда идут дожди, улицы просто грязные, а когда сухо — грязь затвердевает и начинает пылить. Этот пыльный рассадник малярии и есть Тарсус, в древности — Тарс.

Я искал хоть какую-нибудь малость, которая могла сохраниться со времен гордого расцвета этого города, но не нашел ничего. Набеги, войны, века застоя стерли все следы прошлого. Мне сказали, что остатки древнего города лежат на пятнадцать-двадцать футов ниже поверхности современного Тарсуса. Лопаты людей, копавших у себя в погребе или на заднем дворе, натыкались на своды арок и капители колонн, погребенные под землей.

Мне показали арку, называемую Аркой Святого Павла, но не имеющую никакого отношения к апостолу. Возможно, это византийская арка, которой греческое православное духовенство, выдворенное отсюда в 1922-м, успело дать ее гордое имя.

Современный город занимает лишь небольшую часть земли, на которой стояли когда-то мраморные храмы, колоннады, бани, площади римского Тарса. Довольно

далеко от города, на пустырях и в хлопковых полях торчат, как гнилые зубы, остатки городских стен. И хрустально-чистый Кидн, гордость древнего Тарса, не течет больше через центр города. Император Юстиниан велел прорыть канал на восток, чтобы отводить лишнюю воду весной, но в годы упадка жители Тарса не чистили русла, и в результате в один прекрасный день Кидн хлынул в канал Юстиниана вместо того, чтобы мирно течь через город.

Те же самые ужасающие лень и небрежение привели к тому, что когда-то великолепные залив и гавань заросли илом. Теперь это — болото шириной тридцать миль, здесь гнездятся дикие утки и размножаются малярийные комары.

Если бы жители древнего Тарса, которые любили посидеть под мраморными колоннами на берегу Кидна и поболтать о том о сем, могли знать, во что превратится город, чьи великолепие и пышность так радовали их сердца, возможно, в греческом или древнееврейском не нашлось бы слов, способных адекватно передать их горечь.

Я был готов увидеть жалкие деревянные лачуги, немощеные дороги, пустыри, небритых угрюмых людей, лошадей с косматыми гривами — и тем не менее контраст сегодняшнего Тарсуса с прекрасным эллинистическим городом вызвал у меня настоящий шок. Если бы это был не Тарсус, пожалуй, мне было бы даже любопытно наблюдать здешнюю жизнь. Но то, что именно этот город находится в таком запустении, показалось мне настолько трагичным, что сразу захотелось бежать прочь.

И все же осталось в Тарсусе кое-что со времен святого Павла: это кусок земли двухсот восьми футов в длину и ста тридцати футов в ширину, окруженный римской стеной двадцати четырех футов в высоту и толщиной в двадцать футов. В центре участка — две

огромные платформы той же высоты, что и стена. Все вокруг заросло травой и асфоделями.

Турки называют это сооружение Дунук Таш или «опрокинутый камень». Говорят, что когда-то здесь был дворец принца, и принц этот оскорбил Мухаммада, за что Пророк опрокинул его дворец. Останки обидчика погребены под обломками. Менее причудливая, но столь же ошибочная теория утверждает, что это гробница Сарданапала.

Можно легко подняться на вершину стены, и думаю, что любой, оглядев строение, согласится, что это подиум, то есть основание римского храма. Очевидно, что обнажившаяся сейчас основа раньше была закрыта кирпичной кладкой, поверх которой лежал, возможно, еще и мрамор.

Руины во всех направлениях изрыты ходами, проложенными искателями сокровищ, но их лопаты скоро упирались в твердый, как сталь, римский цемент. Уильям Буркхарт Баркер в книге «Лары и пенаты», опубликованной в 1853 году, рассказывает о нескольких-решительных штурмах этой стены. Два-три образованных европейца, жившие в то время в городе, решили, что здесь гробница и что, пробравшись внутрь, можно найти несметные сокровища. Одним из самых энергичных старателей оказался французский консул, который после многочисленных разочарований был вознагражден находкой — «два пальца, явно принадлежавшие огромному мраморному человеку, соединенные вместе; но выглядят они не так, как будто их отбили от статуи, а так, как будто они сами по себе являются законченным произведением».

Современный путешественник оценит эти руины, потому что стена — единственное место в Тарсусе, откуда открывается хороший вид на окрестности. Даже оттуда, сверху, не увидишь Средиземного моря, но течение Кидна проследить можно, — река, петляя по

равнине, ползет на юг, к заболоченному заливу, что находится в пяти милях. На севере равнина постепенно поднимается, а через тридцать миль уже стоит огромная стена Таврских гор.

Когда родился святой Павел, Тарс уже был одним из древнейших городов эллинистического мира. Процветание объяснялось географическим положением города и предприимчивостью его жителей. Подобно жителям Глазго, которые веками углубляли Клайд и в конце концов сделали его одной из великих судоходных рек мира, граждане Тарса старательно углубляли лагуну, куда впадает их река перед тем, как повернуть к морю.

Итак, они прорыли судоходный канал и углубили залив. Они построили доки и пакгаузы — фундаменты до сих пор лежат в болоте. Пока местные инженеры заботились о дренировании канала и вели работы в гавани, здесь был крупный порт Древнего мира.

Строители провели дорогу сквозь Киликийские ворота, и таким образом получился исторический горный перевал на дороге от Евфрата к Эфесу и Риму. Итак, Тарс был не только знаменитым портом и богатым торговым городом, но и звеном, связующим Восток и Запад. Весьма символично, что человек, избранный для того, чтобы растолковать христианство Востоку, — уроженец города, более, чем любой другой в эллинистическом мире олицетворявшего смешение Востока и Запада.

Таре оставил свой след и в истории муниципального управления, так как в этом городе некоторое время правили философы. Знаменитый университет в Тарсе славился во всем мире. По тяге к знаниям и усердию студентов Страбон ставил его выше Афинского и Александрийского университетов. Та же бьющая через край энергия, которая побуждала сыновей Тарса

изменять природу, ставя ее на службу торговле, вдохновляла их и в интеллектуальной сфере. Среди многих качеств, которые мы ценим в святом Павле, — его огромная сила воли, целеустремленность и то, что англичане называли бы драйвом. Он был истинный сын своего города, прорубившего в скале Киликийские ворота. Важно помнить, что святой Павел родился не в погруженном в истому восточном оазисе, а в городе, где царил дух физических и интеллектуальных свершений.

Все студенты университета в Тарсе были из Киликии. В отличие от Александрии и Афин, Тарс не привлекал чужих. Но студенты Тарса любили посещать другие университеты, чтобы усовершенствовать свое образование, и немногие из них, говорит Страбон, возвращались домой, с их жаждой знаний и усердием к наукам они везде могли найти себе место. Если достижениями в физической сфере Тарс напоминает нам Глазго, то интеллектуальной атмосферой он, возможно, схож с Абердином.

Именно из Тарса Марк Антоний — он отдыхал здесь после битвы при Филиппах — послал за царицей Египта Клеопатрой, чтобы наказать ее за то, что помогла Кассию. Клеопатра, зная, как Марк Антоний расправляется с врагами, решила ошеломить его своим появлением, и этот сюжет обессмертили впоследствии Плутарх и Шекспир. Когда египетский флот из моря вошел в залив, Антоний, сидевший на мраморном троне, установленном на улице Тарса, заметил, что толпа горожан как будто растаяла, оставив его в одиночестве: все побежали смотреть на приближавшиеся корабли. Появился корабль с золоченой кормой, пурпурными парусами и серебряными веслами. Звучали флейты и арфы. Одета богиней любви Клеопатра возлежала под балдахином, усыпанным блестками, а мальчики-купидоны обмахивали ее опахалами. На палубе стояли самые красивые рабыни, одетые nereидами и грациями.

До толпы на берегу доносился аромат благовоний, которые курили на палубе корабля.

Как часто, должно быть, святой Павел слышал этот рассказ от стариков, помнивших прибытие Клеопатры.

2

Я шел по одному из переулков Тарсуса. Несколько убогих лавочек приглашали прохожих зайти. Там, внутри, в темноте пряли нить из овечьей шерсти и ткали грубую ткань.

Улица ткачей — единственное, что связывает этот город с Тарсом, в котором родился святой Павел. Я с удивлением и радостью обнаружил, что эти люди и сейчас изготавливают ткани, из которых шили свои шатры кочевники с Таврских гор.

Мой интерес был так заметен, что ткачи показали мне весь процесс, от начала до конца. Они проявили такую доброту, учтивость и чувство юмора, что я почувствовал себя как дома, в Англии.

Шерсть берут от овец с Таврских гор, где снег лежит до мая. В таком холоде животные отращивают великолепные шубы. Ткань из их шерсти всегда славилась своей прочностью и долговечностью.

На Востоке ткань для шатров ткут грубую. В античные времена на родине апостола изготавливали превосходный киликиум — так называли эту грубую власную ткань по имени провинции Киликия. Память о ней живет в современном французском названии власницы — «cilice».

Технология очень примитивная. Прядильщик с мешком, полным овечьей шерсти, то приближается к прялке, то отступает — вытягивая нить. В соседней мастерской на полу, опустив ноги в яму, сидят ткачи. Их станки практически ничем не отличаются от тех,

которые использовали на заре истории. Нити свисают с валика, а готовая ткань наматывается на тот же валик. Неуклюжие, но эффективные и очень живописные приспособления — единственный тип ткацкого станка, который использовали в Греции и Риме. Я вспомнил роспись на греческой вазе в Британском музее, где Пенелопа сидит за станком того же образца.

Наблюдая за ткачами, я понимал, что вижу нечто, что видел в свое время и святой Павел. Вернись он сейчас в Тарсус, он не нашел бы здесь храмов, терм, статуй, рыночной площади, даже реки. Но в маленьких мастерских по-прежнему занимаются ремеслом, которое кормило людей в Фессалонике, Коринфе и Эфесе.

Такие нехитрые ремесла обычно переживают империи, потому что удовлетворяют простые человеческие нужды. Сколько бы варвары ни разбивали мраморные статуи, сколько бы ни разрушали акведуки, какая бы ни случилась война, осада, резня, в один прекрасный день опять наступит мирная жизнь, и в Тарсусе снова можно будет купить отрез ткани.

Глава третья

Конья

Я совершаю «гастрономическое путешествие» на поезде по Турции в Конью. Останавливаюсь в русском отеле. Знакомлюсь с реформами Гази, посещаю местную школу и прихожу с визитом в дом современного местного чиновника.

1

Весь день барабанил дождь.

Никогда не забуду три четверти часа при выезде из Аданы — мы со скоростью улитки поднимались в горы, въезжали в тоннели и выныривали из них, а слева зияли страшные ущелья, в которых, несмотря на то что ярко сияло солнце, было темно. Они напомнили мне ущелье близ перевала Килликранки в Шотландии, только здешние — гораздо глубже. Далеко внизу прыгал с камня на камень, иногда прячась в трещины, небольшой ручеек. Елки и сосны, как и мы, стремились вверх, в горы.

Мы выбрались на высокое плато, где воздух был холоднее, чем в Тарсусе или Мерсине. Сюда весна приходит, по крайней мере, на месяц позже, чем на Кипр и на Киликийскую равнину. Над обширными склонами Султан-дага нависли тучи. Проехав через Киликийские ворота, мы меньше чем за час попали с Востока на Запад.

Я устал смотреть в окно на однообразную, зеленовато-коричневую равнину, оживляемую время от времени всадниками или большими стадами овец.

Пастухи в войлочных плащах с квадратными плечами останавливались, смотрели на проходящий поезд, иногда махали палками. Большие белые собаки, готовые, если надо, защитить свое стадо, скалили зубы. Когда псы вытягивали шеи, мне хорошо были видны массивные ошейники, усеянные шипами по три дюйма каждый, — от волков. Такие надевают всем пастушьим собакам в Малой Азии.

Час следовал за часом, а перед нами по-прежнему оставался тот же самый пейзаж — далекие холмы. Иногда попадались бедные и жалкие деревни, но в основном, мы проезжали только пустынные нагорья, унылые и дикие, по которым с видом первопроходцев бродили компании недружелюбно настроенных йоруков^[13].

О том, что мы подъезжаем к городу, свидетельствовали неуклюжие четырехколесные повозки, громыхавшие по плохой дороге вдоль рельсов. Где есть повозка, должна быть и дорога, а все дороги ведут в город. Наверняка через несколько минут на горизонте покажутся пышные тополя и белые минареты. И мы остановимся передохнуть на какой-нибудь станции, и празднующиеся местные жители будут молча разглядывать нас.

Железную дорогу патрулируют солдаты в плохо пригнанной, цвета оконной шпаклевки форме и с болтающимися на спинах винтовками. Вездесущие полицейские с красными петлицами на мундирах и красными лентами вокруг тулий фуражек обшаривают платформу взглядами.

Однако в путешествиях по Турции есть и хорошая сторона. В сущности, здесь любая поездка — это длительный пикник, потому что только в поездах из новой столицы Анкары возможна такая роскошь, как спальные вагоны и вагоны-рестораны. В обычных поездах пассажиру приходится позаботиться о себе

самому, и пополнение запасов провизии становится главной заботой на маленьких станциях, где поезд стоит несколько минут.

Некоторые станции специализируются на кебабах. Это жаркое, поджаренное на вертеле. Кебабы продают мальчишки — ходят по вагону и громко расхваливают свой товар. Ловко снимают кусочки жареного мяса с шампура в подставленный кулек из газеты.

На станциях торгуют апельсинами, яблоками, жареными каштанами. И всегда в продаже чудесные лепешки с семенами кунжута и маленькие чашечки горячего сладкого кофе. Их тоже проворно разносят по вагонам мальчишки.

Но в поезде в Конью мне не пришлось покупать еду. Мой спутник Хасан вез большую корзину, полную жареных цыплят, сыра и хлеба.

Другой пассажир из нашего вагона тоже проявил щедрость и гостеприимство. Это был молодой пехотный офицер, возвращавшийся в свой полк из отпуска. Меня поразил его багаж: воротник из чернобурки и банка с пятью золотыми рыбками. Он то и дело зачерпывал из банки стаканчиком воду и выплескивал ее в окно. Потом бежал к умывальнику в конце вагона, возвращался со свежей водой и выливал ее в банку.

Мама дала ему в дорогу еды на целый полк. Большая жестяная коробка была полна всяческих турецких деликатесов. Мне запомнилась долма — баранина и вкуснейший рис, завернутые в виноградные листья. Всем этим молодой человек щедро делился с нами. Мы предложили ему цыпленка, но он в ответ открыл другую жестяную коробку — у него тоже был холодный жареный цыпленок.

Первым делом, распаковав сумку, офицер вынул бутылку ароматизированной воды под названием «Лосьон Кемаль» и освежил руки и лицо. За водой

последовала бутылка прекрасного белого турецкого вина.

Итак, нам было чем занять время, пока бурые равнины проносились мимо наших окон. Солнце медленно катилось по небу. Офицер снял тужурку и, предусмотрительно убрав золотых рыбок от солнечного света, лег спать. Хасан положил под голову свой плащ и тоже уснул.

Я все смотрел в окно. Местность очень напоминала мне равнину Солсбери — только шире и просторнее.

2

Хасан был в Конье несколько лет назад, когда командовал эскадрой республиканской кавалерии. По мере того, как поезд приближался к городу, ему все больше не терпелось вновь увидеть места своих прошлых подвигов.

— Смотрите! — взволнованно воскликнул он, указывая на деревья. — Я сжег эту ферму дотла! Там прятались враги. Мы подожгли дом — они выбегали, задыхаясь от дыма, и попадали прямо в руки к моим людям.

Кажется, он был разочарован тем, что все отстроили.

Я с любопытством смотрел на этот город, на древнюю Иконию из Нового Завета, ради которой и приехал. Уже несколько миль поезд шел мимо пышных деревьев и ярко-зеленых садов — приятный контраст с бурой, усеянной камнями Лакаонийской равниной, которую мы наблюдали с утра. В какую сторону ни взгляни, повсюду на горизонте маячили, как острова в море, голубые горы. Только на севере до самого горизонта тянулась унылая равнина.

Деревья, одноэтажные дома. Изредка попадались мечети с минаретами. Медленной вереницей шествовали

верблюды. Еще я увидел старый «форд», пытавшийся догнать поезд по довольно приличной дороге, которая вдруг вынырнула неизвестно откуда и несколько миль бежала вдоль рельсов. Глядя на Конью и пытаюсь представить себе римскую Иконию, я понял, почему святой Павел сравнивал этот город с Дамаском.

Оба города, Конья и Дамаск, утопают в зелени, потому что поблизости есть вода. Река Абана, пробившись сквозь горы Антиливан, создала Дамаск; вода, стекающая с гор Писидии, орошает равнину, на которой стоит Конья. И Конья, и Дамаск расположены довольно высоко над уровнем моря, и во времена святого Павла через оба города пролегали большие караванные пути.

Едва поезд остановился, мы поспешили на платформу и слились с пестрой толпой, обычной на турецких железнодорожных станциях. Усталые люди в рубашках с короткими рукавами высовывались из окон вагонов и покупали у разносчиков кебабы, воду в бутылках, апельсины. Из окон вагонов первого класса выглядывали офицеры турецкой армии. В своих гимнастерках цвета хаки они напоминали британцев, а когда надевали серые френчи с высокой талией — немцев.

У станции дожидалось около тридцати тряских старых повозок, в каждую запряжены две ладные маленькие лошадки. На козлах сидели и щелкали кнутахми извозчики. В дореспубликанские времена они были бы в турецкой одежде, а сейчас вынуждены носить дешевое европейское тряпье. Вещи на них были такие ветхие и латанные, что им ужаснулись бы даже на блошином рынке в Париже.

— Да, они выглядят оборванными, — согласился Хасан, — но это неважно. Зато такая одежда свидетельствует о переменах в их мировоззрении, о том, что они порвали со старыми традициями.

Мы выбрали себе арбу и под шелканье кнута отправились в город, который находился в некотором отдалении от станции. На окраине в маленьком сквере я увидел недавно поставленный памятник президенту. Он был в военной форме и стоял на интересно украшенном пьедестале. Возможно, другой такой статуи полководца нет нигде — скульптор, желая подчеркнуть мирную политику, проводимую Кемалем, сделал так, что рука его покоится одновременно на рукояти меча и на снопе созревшего ячменя.

Лошадки с цоканьем домчали нас до города. Конья — самый крупный из всех городов, находящихся между Смирной и Таврскими горами. Здесь есть и просторные новые районы, и узкий извилистый лабиринт старого города.

Бок о бок с новыми домами и магазинами в Конье можно увидеть руины сельджукских построек XI века и осыпающиеся городские стены того же периода, и тесные мастерские, где ремесленники изготавливают свой товар и тут же продают его.

Над всей этой странной смесью старого и нового поднимаются минареты множества прекрасных мечетей и похожий на огарок конус, облицованный серовато-зеленой плиткой, — древняя резиденция ныне упраздненного Мевлеви — Ордена танцующих дервишей.

В Конье, куда гости, особенно иностранцы, приезжают далеко не каждый день, наше появление вызвало большой интерес. Всякий раз, как я попадался на глаза полицейскому, мне приходилось, к большому удовольствию Хасана, предъявлять документы.

У нас возникли трудности с отелем. В том, куда мы сначала отправились, был граммофон, из него непрерывно лились турецкие танцевальные мелодии, что нас вовсе не прельщало. Наконец мы нашли скромный отель под названием «Сельджукский дворец».

Он стоял в стороне от дороги, в маленьком садике. Мне сказали, что хозяева — русские.

Люди оказались очаровательные. Они поспешно внесли наш багаж, быстренько завладели нашими паспортами и, без сомнения, сразу же побежали с ними в полицию.

Мне отвели маленькую спальню с платяным шкафом, стулом и кроватью. На безукоризненно чистом дощатом полу лежали два потертых коврика. Коротенькие, куцые занавески на окнах не позволяли рассчитывать на полное уединение. Самым важным, как я понял позже, предметом обстановки была печка с большой черной, ползущей до потолка, а потом по нему, трубой, выходящей затем наверх, на крышу. В Конье, высота которой над уровнем моря наполовину меньше высоты горы Бен Невис, случаются жаркие дни, но ночью температура может быть чуть выше нуля. Стоит затопить русскую печку — и в комнате становится тепло уже через десять минут.

За обедом улыбающийся официант без галстука принес мне отбитый и зажаренный кусок мяса с картошкой, которую сначала аккуратно нарезали соломкой, затем, судя по всему, вымочили в каком-то отвратительном масле, а потом уже подвергли термической обработке. По выражению страстного ожидания на лицах официанта, хозяина гостиницы и его жены я понял, что это либо их фирменное блюдо, либо смертный приговор мне. Я опасливо отправил в рот первую порцию кушанья. Официант изогнулся в поклоне, улыбаясь до ушей, а хозяин подошел и, тоже поклонившись, указывая на мою тарелку, с некоторым затруднением произнес: «Ростбиф!»

И я понял, что так эти люди со свойственной им добротой, преодолевающей всякие барьеры между народами, показывают свое уважение к Англии. Я встал и знаками дал им понять, что мясо великолепно. Они

рассмеялись счастливым смехом и еще раз почтительно поклонились. А когда комната на какое-то время опустела, голодный пес, прятавшийся под столом, оказал мне неоценимую услугу.

Тишина опустилась на Конью. И вдруг ночь прорезал скорбный свист. Засвистели еще, и еще раз. Словно в Конье одновременно закричало множество сов. Казалось, свистят прямо у меня под окном. Я на цыпочках подкрался к окну и выглянул. Кто-то большой вышел из тени противоположной стены на залитую звездным светом улицу.

Человек был в меховой шапке и огромной овечьей шубе шерстью наружу. В руках он держал толстую палку, а на поясе у него висел револьвер. Через определенные промежутки времени он подносил свисток к губам, издавая длинный, печальный зов. Вскоре послышался ответный свист. Человек пошел дальше. Эта странная нелепая фигура ассоциировалась у меня с бивачными кострами Чингиз-хана.

Так я впервые услышал свист ночных сторожей, охраняющих Конью.

3

Всякого, кто бывал в Турции в прежние времена, современная Конья очень удивит. Женщины, которые прежде ходили закутанными с головы до пят, теперь носят европейскую одежду и даже останавливаются на улице поговорить со знакомыми мужчинами. Они читают модные журналы и старательно копируют последние парижские фасоны.

Старомодная внушительная матрона, растолстевшая от сладостей и безделья, — теперь пережиток прошлого. Современный турок предпочитает женщин стройных, и на любой рекламе сигарет или другого товара,

являющегося поводом для изображения хорошенькой девушки, мы увидим даму с изящной фигурой, одетую по последней моде. Частенько она еще и курит сигарету с независимым видом в духе эмансипе.

Серьезная примета нового времени — большая начальная школа, которую я вижу из своего окна, — самое лучшее и современное здание в городе. За полчаса до того, как сторож отопрет ворота, перед входом начинают собираться шумные мальчишки и девочки с книгами подмышкой. Им явно не терпится войти. Как только ворота открываются, дети, пробежав через площадку для игр, скрываются в здании. Стайки молодых девушек-турчанок лет восемнадцати проходят мимо моего дома с портфелями или папками. Они в темно-синих пиджачках и юбках и в кокетливых «фуражках» с золотистым кантом. В прежние времена на них уже надели бы чадры и отправили в гарем.

Чем дольше наблюдаю турецкую жизнь, тем больше восхищаюсь достижениями Гази и офицеров его штаба в Анкаре. Десять мирных лет — и вот перед нами новая и очень интересная страна.

Нынешнему правительству Турции досталось государство-банкрот, погрязшее в безделье и коррупции, которые, к тому же, были освящены традициями и обычаями. Ататюрк сумел изменить его: бросил вызов дедовским обычаям, выгнал иностранцев из экономики, заново запустил государственную машину.

Кемаль Ататюрк отчасти напоминает Альфреда Великого, который изгнал датчан из своего королевства, и теперь, отложив меч, вырабатывает новые законы для своего народа.

В основе политики Кемалю лежит, безусловно, национальная идея. Турки веками подчинялись то грекам, то армянам, то евреям, то другим иностранцам, прибиравшим к рукам всю торговлю. Арабские слова

наводнили турецкий язык. Гази создал новую, турецкую Турцию и, чтобы сделать это, разбил множество идолов. Иностранному капиталу пришлось убраться из Турции.

Удивительно, с каким спокойствием этот народ воспринял разрушение вековых традиций, исчезновение султана и халифа, социальные перемены, освобождение женщин, запрет на ношение национальной одежды, фактический запрет на религию.

Даже те европейцы, которые с циничной усмешкой наблюдают, как в Турции входят в моду коктейли, фокстрот, шляпы, не могут не признать огромной энергии и смелости Гази, решившего во что бы то ни стало придать Турции статус европейской страны. Он даже переписывает историю Турции, чтобы дать своим соотечественникам возможность взглянуть на нее с европейской точки зрения.

Из всех достижений нового правительства самым интересным является, пожалуй, система образования.

Когда я сказал Хасану, что хотел бы посетить ту самую большую начальную школу в Конье, он, к моему удивлению, ответил:

— Пожалуй, вам следует отправиться туда одному. Если я пойду с вами, боюсь, я не выдержу и заплачу.

Я изумленно посмотрел на него. И это тот самый неустрашимый военный, который хвастался сожженными фермами, убитыми повстанцами, тем, как он крушил греков и роялистов?

— Вы не понимаете! — воскликнул он. — Вы из страны, где образование получить нетрудно, где школа — вещь совершенно обычная. Но только представьте себе — мальчиком я сидел на грязном полу в здании за мечетью, а старик читал нам Коран, и ему было совершенно все равно, слушаем мы его или нет. Такова была Турция моей юности. Но сейчас все по-другому. Каждый маленький турок, будь то мальчик или девочка, имеет возможность учиться. Обучение в этой стране

теперь бесплатное, как вода. Везде — бесплатно! Говорю же, вам этого не понять. Когда я смотрю на этих детей, я... я...

И лихой кавалерист Хасан звучно высморкался.

Тем не менее мы отправились в школу вместе. Это было просторное здание, построенное по современным стандартам. В вестибюле стоял бюст Ататюрка.

Директор сказал, что классы смешанные — мальчики и девочки учатся вместе. Есть учителя-мужчины, есть женщины. Старый арабский алфавит запрещен. В школе говорят и читают на новом турецком языке, пишут латинскими буквами. Религиозного воспитания дети не получают.

Мы вошли в класс. Пятьдесят маленьких мальчиков и девочек встали, приветствуя нас. Такую классную комнату можно было бы увидеть в любой школе любого английского графства. У каждого ученика — своя парта. Молодая учительница что-то пишет на доске. В задней части класса стоит большой поддон с песком — приблизительно шесть на три фута. Совсем маленькие дети осваивают алфавит приятным и оригинальным способом — набирают песок в маленькие трубочки и, подобно тому, как кондитер украшает кремом торт, выдавливают очертания букв, приложив палец к отверстию трубочки и таким образом регулируя толщину струйки.

Когда директор спросил, не хочет ли кто-нибудь пойти к доске и написать на ней любую фразу, поднялся лес рук. Выбрали коротко стриженного маленького мальчика. Он без всякой робости вышел к доске, взял мел, очень уверенно написал несколько слов, поклонился директору, после чего вернулся за свою парту.

— Что он написал? — поинтересовался я.

— Он написал, — ответил директор, — «Когда я вырасту, я буду служить своей стране».

Я обернулся сказать что-то Хасану и увидел, что тот выходит из класса, утирая платком слезы.

Меня водили из класса в класс. Большое впечатление произвели две вещи: уверенность учеников в себе и тот факт, что мальчики и девочки учатся вместе и держатся совершенно на равных. Веками в Турции было принято смотреть на женщину как на существо низшее. Сын — это маленький божок в доме, дочь — прислуга. Не было бы ничего удивительного, если бы такой взгляд на вещи, укоренившись за долгие годы, проявился при смешанном обучении. Но нет, это поколение не отравлено атмосферой гарема.

Зазвенел звонок. По всей школе захлопали крышки парт — дети встали и, построившись попарно, отправились на перемену с патриотической песней на устах.

Хасан опять утирал глаза, кашлял и усиленно сморкался.

— Вы видите новую Турцию, — прошептал он. — Это же потрясающе!

Директор школы сиял, глядя на марширующих учеников.

— Это — учителя, врачи, архитекторы новой Турции! — воскликнул Хасан дрогнувшим от волнения голосом.

Маленькие черноглазые и голубоглазые турки с песнями шагали мимо бюста Ататюрка.

4

После вечерних разговоров с Хасаном я склонен был разделить его энтузиазм в отношении Гази. Этот человек не только объединил свой народ и научил его самоуважению. Он дал ему новую духовную жизнь. Он заставил его отвлечься от прошлого и вступить на новый

путь, который может привести (почему бы и нет!) к великому будущему.

Хасан рассказывал мне об одном из самых важных шагов в национальном возрождении Турции — изгнании чужаков.

— Помните, я сказал вам, что нам, туркам, надо бы поставить памятник Ллойд Джорджу? Вы еще улыбнулись, — напомнил он. — Я сказал это вам в Соли. Помните? Но это действительно так, и я готов снова повторить это. Именно потому, что европейские политики позволили Венизелосу развязать против нас войну в 1920–1921 годах, мы и собрались с силами, окрепли духом, почувствовали себя единой нацией, какой не были, даже когда захватили Константинополь в Средние века. Мы, слабые и поверженные, сразились с греками — и одержали победу! Новая Турция родилась за столом переговоров в Лозанне. С этого момента Турция должна была стать турецкой. Иностранцам пришлось уйти. Много ли греков и армян вы сегодня видите в Турции? Нет. Сейчас в Турции меньше греков, чем было при Александре Великом. Согласно Лозаннскому мирному договору, греки должны были покинуть Турцию, а турки, которые жили в Македонии и Греции, — вернуться на родину. С 1921 по 1927 год более миллиона трехсот пятидесяти тысяч греков уехало из Турции, и почти пятьсот тысяч турок приехало сюда из Греции. Европейские экономисты смеялись над нами. Они говорили: «Какой там прогресс, если эта глупая страна выгоняет своих коммерсантов?!» Но ведь греки и армяне были, в основном, посредниками. Они перепродавали нам европейские товары, которые мы с таким же успехом можем покупать и без них. Так что мы не пострадали. Следующим ходом Гази было выгнать халифа. «Что это они делают! — воскликнула Европа. — Они же всегда мечтали о панисламизме? Они что, с ума сошли?» Вот потому-то мы и прогнали халифа. Ислам

статичен. В рамках мусульманства невозможен никакой прогресс. Новая Турция понимала, что если она хочет стать современным государством, надо освобождаться от традиций, привязывающих к прошлому.

Хасан достал бумагу и карандаш и быстро набросал мне схему возрождения турецкой экономики. Строительство железных дорог ширилось с каждым годом. Открывались новые угольные шахты. Нужны были и побочные продукты — такие, как бензол, гудрон, газ. Скоро начнется добыча меди. В Кекиборлу налаживается добыча серы. В Бруссе открылась шелковая фабрика; в Анкаре — фабрика по производству шерстяной одежды; стеклодувная фабрика в Пашабахче, на Босфоре, скоро будет давать пять тысяч тонн фасонного стекла в год; в Алпуллу заработал сахарный завод, и строятся еще — в Усаке, Эскишехире и Турхале.

— Это как — прогресс или не прогресс? — спросил Хасан, и глаза его горели.

— И вся прибыль идет на армию и образование? — спросил я.

— Естественно, — ответил Хасан. — Мы должны заботиться о безопасности страны и воспитывать наших детей, которым жить в новой Турции.

— Вам не приходило в голову, Хасан, что новой Турцией, которой вы так гордитесь, вы обязаны христианству?

Он удивленно поглядел на меня и ответил, что в Турции религию каждый свободный гражданин выбирает сам.

— Вы не совсем поняли меня. Европа, такая, какая она есть, — результат столетий христианства. Все то, за что вы сейчас боретесь, — результат христианской культуры. Вы даже перенесли выходной с мусульманской пятницы на христианское воскресенье. Возможно, настанет день, когда вы, поразмыслив, начнете праздновать Рождество.

Нас пригласили на обед в дом муниципального чиновника, с которым мне уже приходилось иметь дело. Это был спокойный, покладистый человек. Одевался он как лондонский клерк — черный пиджак и полосатые брюки.

Дом стоял на темной узкой улочке, пока не заасфальтированной. Выглядел он весьма зловеще, так что приходили на память гаремы и прочие атрибуты старой Турции. Но внутри, несомненно, была республика!

Хозяйка, дама лет тридцати, встретила нас в прихожей. Сзади, как принято в Европе, стоял муж. Мы пожали друг другу руки, и он провел нас в комнату, обставленную в подчеркнуто западных традициях. Стены были выкрашены в серый цвет и увешаны портретами в рамках — наш хозяин в военной форме. Мебель — из мореного дуба с табачного цвета бархатной обивкой. Стол был накрыт для обеда. Решительный отпор старой Турции символизировала маленькая металлическая фигурка балерины, позолоченная и раскрашенная, какие можно увидеть во французских магазинчиках, торгующих подержанной мебелью. Она застыла в пируэте на каминной полке — домашний божок, напоминающий о кабаре и фраках.

Хозяин предложил нам местную водку *раки* в маленьких стопках, и мы пригубляли из них, пока его жизнерадостная жена руководила сервировкой роскошного обеда.

Все это было очень странно. Приди я в этот дом в 1920-м, жены я бы вообще не увидел. Не было бы ни обеденного стола, ни мебели из мореного дуба, возможно, мне пришлось бы сидеть по-турецки,

обмениваясь любезностями с абсолютно иначе одетым хозяином.

Откуда, спросил я себя, турецким семьям в Малой Азии знать, как обставить свои дома по-европейски? Если бы лондонской семье вдруг вздумалось оформить гостиную в турецком стиле, она оказалась бы совершенно беспомощна. Потом я понял, что французские и немецкие иллюстрированные журналы дают им все, что нужно. Интерьеры домов в Париже и Берлине, картинки с изображениями нарядных дам в Лоншане гораздо более известны, чем кажется их создателям.

Наше меню включало в себя густой суп, красную икру, плов. Обед заканчивался пахлавой, липкой восточной сладостью с медом — фирменным блюдом Тарсуса. Напиток новой Турции — белое вино с серым волком на этикетке. Вино прекрасное. Если бы его можно было экспортировать по умеренным ценам, оно имело бы успех в Европе.

Меня очень заинтересовала хозяйка дома. Это была типичная современная эмансипированная турецкая женщина. Она вполне прилично говорила по-английски, закончила американский колледж в Тарсусе. И во всем, что она говорила, чувствовалось, как горячо она поддерживает республику и как ценит новые возможности, которые получили теперь турчанки. Ее служанка, рассказывала она, — крестьянская девушка из ближней деревни, очень отсталая и темная. Стоит большого труда заставить некоторых из этих людей усвоить новые идеи. Их еще воспитывать и воспитывать. Мужа этой молодой крестьянки призвали в армию, и когда он отправился нести военную службу, она с новорожденным ребенком приехала в город.

— У нее от прежней жизни остались дикие, неправильные понятия, — хмурится хозяйка. — Например, она считает, что ребенка нельзя купать до

шести месяцев. Она думает, что он от этого умрет. И не знает, что стоит ей выйти, как я бросаюсь к ее ребенку и мою его. Гигиена — это ведь очень важно, не правда ли?

После обеда хозяйка предложила мне пепельницу из цветного стекла по эскизу Лалика в форме нимфы с развевающимися волосами, — вещицу, которая привела бы в ужас ее мать, и страшно представить, какое впечатление произвела бы на бабушку. Пока хозяин дома и Хасан играли в триктрак, хозяйка сидела рядом со мной на канаве из мореного дуба и показывала фотографии, на которых ее муж был запечатлен на разных стадиях младенчества и в более зрелом возрасте. Как ни странно, это позволило мне ближе взглянуть на изменения в социальной жизни и даже политике. Сначала я увидел толстенького маленького турчонка в запрещенной теперь феске. Мальчик держался за руку древнего старика в старинной турецкой одежде.

— Это его дедушка, — пояснила жена с усмешкой.

В новой Турции принято посмеиваться над старым и отжившим.

По мере того, как она переворачивала страницы, наш хозяин становился все более и более европейцем. Его высокая каракулевая шапка сменилась фуражкой, а ближе к республике мы уже видим его во всей красе: котелок, полосатые брюки, черный пиджак.

Когда закончилась игра в триктрак, хозяин и гость обсудили вопрос наследования имущества в мусульманских странах. Новое правительство реформировало прежнюю нелепую систему наследования. В старые времена человек не имел возможности завещать свое имущество какому-нибудь конкретному лицу, оно автоматически делилось между ближайшими родственниками. Так что случалось, что после смерти хозяина его дом, например, становился собственностью пятнадцати или более человек, каждый

из которых мог вселиться со всеми своими домочадцами. Даже у коровы и лошади на Востоке бывает множество хозяев. Нередко встретишь человека, владеющего одной десятой коровы или одной пятой оливы.

Отчасти этим объясняется запущенность восточных городов: многие дома принадлежат целой орде вечно ссорящихся родственников и разрушаются просто потому, что владельцы не могут прийти к единому решению и продать дом.

Теперь, когда Турция приняла швейцарский кодекс, у человека будет стимул передать свое имущество одному наследнику, который, по крайней мере, будет содержать его в порядке. Может быть, поэтому в современной Турции строят из камня, а прежде строили из самых дешевых сортов дерева.

Пришли еще двое гостей — супружеская пара. Муж — застенчивый молодой человек, владеющий только турецким; жена — очень милая и разговорчивая, напоминала мне бутон туберозы. Как у многих миниатюрных девушек, у нее были манеры котенка, и она грациозно и резво прыгала по этой комнате, полной безделушек. Она тоже получила образование в американском колледже, но не так хорошо освоила английский, как наша хозяйка, так что я скоро понял, что запас слов у нее на уровне детского сада.

— Вы говорите по-английски, мадам? — спросил я.

Она энергично закивала и, умильно сложив ручки, пристально глядя на меня большими темными глазами, медленно и торжественно продекламировала: «Гдэ ты была сигодна, кыска? — У каралэвы, у английской. Што ты выдала пры дворэ? — Выдала мышку на коврэ».

Я поощрил ее бурными аплодисментами, но, возможно показав себя педантом, поправил произношение в последней строчке. Я заметил, что все остальные смолкли и с интересом слушали меня.

— Но разве такое возможно? — очень серьезно спросил Хасан. — Разве могла в королевском дворце оказатьсямышь?

— Вряд ли, — ответил я.

Он кивнул головой, явно успокоенный.

— Я так и думал, — сказал он. — Но все же лучше знать наверняка.

Я обогатил словарь Розочки стишком, который она разучила с очаровательной серьезностью: «Скрып-скрып, лэсэнка». Пришло время прощаться. Наш хозяин, вооружившись толстой тростью, сказал, что проводит нас до гостиницы. Мы умоляли его этого не делать. Он настаивал. Сказал, что собаки с наступлением темноты иногда нападают на пешеходов. Попрощавшись с хозяйкой дома, мы послушно последовали за ним по узким улицам.

Конья была очень красива в ту ночь — лунный свет лился на древние стены, половина улочки утопала в зеленоватом сиянии, половина была погружена во мрак. Завернув за угол, мы услышали пронзительный свист, и один из дюжих ночных стражей вышел к нам из темноты, держа руку на рукоятке револьвера.

Глава четвертая

Турецкий танец с кинжалами

Я попадаю на сельскую свадьбу и в компании местных жителей наблюдаю танец с кинжалами.

Примерно в трех милях от древнего и заброшенного теперь Дербе мы с Хасаном набрали на деревушку под названием Зоста. Мы смотрели сверху, с холма, на обычную неразбериху низких крыш, каменных и глинобитных стен. В центре высился купол мечети, как я потом узнал, сельджукского периода.

Жители деревни вышли загнать собак и поздороваться с нами. Один из них рассказал нам, что название деревни недавно изменили на Акар-Куей, что означает «белая деревня». Нас встречала целая толпа мужчин. Им было любопытно посмотреть на иностранца. Женщины осторожно выглядывали из-за угла, дети так и вились вокруг нас.

Несколько мужчин вели упрямого барана. Рога его были увиты полевыми цветами, к прядям шерсти привязаны монетки, на спине — покрывало из яркой ткани.

— О, так здесь свадьба! — воскликнул Хасан. — Они собираются принести этого барана в жертву, чтобы молодожены были счастливы.

Я знал, что в глухих турецких деревнях еще соблюдаются древние греческие и римские обычаи, и все-таки удивился, увидев жертвенное животное. Нечто подобное в нескольких милях отсюда, в Листре, в свое время наблюдали Павел и Варнава.

И вот в 1936 году я вижу, как потомки людей, упомянутых в Новом Завете, ведут украшенного

гирляндами барана к воротам. Мы влились в толпу. Один из крестьян подошел и пригласил нас к себе в дом.

— Надо бы пойти, — сказал Хасан. — Они приглашают вас на свадьбу.

Я поднялся по лестнице и вошел в комнату, сняв обувь у входа. Вдоль стен лежали полосатые верблюжьи ковры, в центре оставалось довольно много пустого места. Комната была около пяти ярдов в длину и четырех ярдов в ширину, на коврах разместилось не меньше пятидесяти мужчин.

С присущей туркам — в отличие от легко возбудимых арабов — сдержанностью, пожилые мужчины встали и протянули к нам руки, приветствуя нас. Мы нашли себе места, уселись на пол, и начался обмен любезностями.

— Откуда господин? — спросили Хасана.

— Из Англии, — ответил мой спутник.

Суровые старики, которые, возможно, не умели читать и писать и никогда раньше не видели англичанина, важно и с пониманием закивали головами, как будто к ним в деревню каждый день приезжали гости из Англии.

Турки во многом напоминают мне англичан. Одна из общих черт — сдержанная реакция на все необычное. И те и другие не любят признавать, что удивлены, и даже — что их вообще можно чем-то удивить. Удивительно, что здесь, в глинобитном доме, в центре Малой Азии, многие из собравшихся были светловолосы и голубоглазы и, если бы не их лохмотья и дикий вид, вполне могли бы сойти за англичан.

Вошел молодой турок с маленькими чашечками кофе. Кофе здесь, как по волшебству, может появиться даже в пустыне. Пока мы пили, трое музыкантов, расположившихся в углу, заиграли на гитаре, однострунной скрипке и барабане. Те, кто сидел ближе к середине комнаты, отодвинулись, и в освободившемся пространстве появился интереснейший персонаж.

Сначала я подумал, что это женщина, но, приглядевшись, по плоской груди понял, что это юноша, одетый в женское красное шелковое платье. Веки были насурьмлены, щеки — нарумянены. Повадкой юноша напоминал хищного кота.

Он начал танцевать под звуки барабана и тонкий визг скрипки: трясся, содрогался, топал ногами, медленно поворачивался, прикрывал глаза, запрокидывал голову, отбрасывал со лба черные волосы. Он вовсе не выглядел смешным. В его танце была некая первобытная ярость, как в движениях дикого животного, выпущенного на цирковую арену.

Шаги танцора убыстрились, глаза загорелись, лицо покраснело, дыханье участилось. Всякий раз, когда он резко поворачивался, юбка развевалась, обнажая сапоги в засохшей грязи, доходившие ему до колен. Над голенищами виднелись серые нитяные чулки. Он продолжал крутиться и топать, а я подумал, что вот так, наверно, могли забавляться воины Чингисхана при свете своих костров.

Восточный зритель очень своеобразен. У него внимательный, немигающий кошачий взгляд. На Востоке редко выражают свое одобрение или неодобрение — просто неотрывно смотрят. Мужчины, собравшиеся в комнате, наблюдали за неистовым молодым танцором холодно и отчужденно, время от времени гася окурки о пол, у самых своих ног. Когда танцор закончил, слышались выкрики с мест.

— Они просят исполнить танец с кинжалами, — прошептал Хасан. — Если он пойдет на вас с ножом, не показывайте, что вам не по себе.

Скоро я понял, что первый танец был просто введением к танцу с ножами. Танцор, вооружившись двумя кинжалами с тонкими лезвиями длиной приблизительно в один фут, чиркал ими друг о друга, приседал, подпрыгивал, кромсал воздух, издавая в пылу

«схватки» гортанные звуки. От подобных движений и сверкания стали, да еще в довольно тесном помещении, было очень неудобно.

Музыканты выдерживали монотонный, завораживающий ритм — одна и та же тема повторялась снова и снова. В комнате пыль стояла столбом, доходя танцору до пояса. Его сапоги с присохшей грязью, его красная юбка мелькали в пыльном вихре. Но лицо с нелепо раскрытым ртом и стальные лезвия находились выше пыльного облака. Теперь он показывал, как закалывают жертву. Вот уж дикая забава!

Он выбирал кого-нибудь из публики, одним прыжком оказывался рядом с ним и, нагнувшись, чиркал обоими ножами в дюйме от горла жертвы, а потом нацеливал острия человеку в глаза и останавливал движение в опасной близости от них. Человек, выбранный жертвой, не должен был показывать своего страха. Ему надлежало вести себя так, как будто он не чувствует, что ему только что едва не отсекали нос или чуть не подровняли бровь.

Я понял, почему Хасан меня предупредил — чтобы я успел внутренне подготовиться. Мне казалось, им будет интересно посмотреть, как поведет себя иностранец. Но с врожденной деликатностью, свойственной этим людям, они меня не тронули, не стали подвергать гостя такому испытанию.

Закончив, танцор бросил ножи кому-то из толпы и, более не заботясь об изяществе движений, вышел.

— Кто он такой? — спросил я Хасана.

— Просто местный житель, который хорошо танцует.

В заключение появился жених, застенчивый молодой парень, похожий на работника с фермы в Норфолке. Он поздоровался со мной за руку, а когда я пожелал ему счастья в семейной жизни и много сыновей, покраснел и сказал, что все в надежных руках Аллаха.

Мы встали и собрались уходить. Обулись у двери. Как славно было снова выйти на свежий воздух! Один из стариков сказал, что если господин из Англии, его наверняка интересуют древние камни. Не желаем ли взглянуть на камни в стене мечети и нескольких деревенских домов?

Я ответил, что ничего на свете не желаю так сильно, и, сопровождаемые толпой жителей, мы отправились в путешествие по грязным узким улочкам, вьющимся между каменных стен, и тесным дворикам. Дети забирались на крыши, чтобы получше нас разглядеть. Мне показали греческие камни с поблекшими надписями, фрагменты греческих алтарей и другие остатки большого города, когда-то стоявшего на ближайшем холме. Из этих самых камней, возможно, состояли дома, помнящие, как святой Павел проповедовал в Дербе.

Нас провожали всей деревней. Женщины стояли поодаль и с любопытством смотрели. Где-то неподалеку на порог дома пролили кровь барана, чтобы задобрить древних анатолийских богов, тех самых, которым поклонялись во времена святого Павла, тех, что еще живут в сердцах этих людей.

Я возвращался в Конью по широкой однообразной равнине и думал, что нигде приезжего не приняли бы так радушно и что нигде он не встретит лучше воспитанных людей.

Глава пятая

Эфес

На развалинах Эфеса вспоминаю о культе Дианы Эфесской и ее храме.

Развалины Эфеса находятся в сорока милях от Измира, или Смирны, рядом с деревней под названием Сельджук. Примерно в миле от нее стоит храм Дианы, а чтобы попасть в сам город, надо проехать еще милю в юго-западном направлении.

Я шел по пыльной дороге. Оставляя позади деревню, она минует огороженный садик, населенный примерно двадцатью безголовыми фигурами. Эта призрачная компания — с развалин Эфеса. Статуи аккуратно установлены на постаменты, и будь у них лица, они были бы обращены к дороге.

По одну сторону дороги тянутся поля, засеянные фасолью, по другую — стоит пшеница в три фута высотой. Только и видишь, что согнутые спины крестьян. Быки волокут за собой по черной земле плуги, такие же примитивные, как те, что изображены на стенах египетских гробниц. Воздух чистый и сияющий, какой всегда бывает в Малой Азии после недели дождей. Ярко светит солнце, кажется, дождя больше никогда не будет, земля нежится в тепле. Среди колосьев кивают головками маки. У дороги и на любом необработанном островке земли — желтые цветы полевого горошка, дикая горчица, анемоны, мелкие маргаритки, незабудки. Куда ни глянь — обломки камней. В радиусе мили от Эфеса не найдешь куска мрамора, который когда-то не был бы частью колонны или постамента.

Я повернул направо, пошел по узкой тропинке мимо пшеничного поля и вскоре оказался около большого

стоячего пруда, так густо покрытого белесыми водорослями, что на первый взгляд его поверхность казалась мраморной. Я остановился послушать лягушек. Их там было наверняка не меньше миллиона, и они старательно упражнялись в своих «квакс бре-ке-кекс» — будто гремели тысячи невидимых трещоток. Кваканье постепенно ритмизовалось в моем мозгу: «славься, Диана...славься, Диана...славься, Диана...славься, Диана Эфесская...»

Эту фразу, точно гвоздь, вбили в солнечное тихое утро. На месте затхлого пруда когда-то стоял великий храм Артемиды Эфесской — одно из семи чудес света.

Затопленные водой развалины в Эфесе, как никакие другие, поразили меня пафосом упадка. Храм, стоявший здесь когда-то — очертания его основания мерещились мне на поверхности воды, — был более знаменит, чем Парфенон. Павсаний писал, что он «превосходит все, что построено человеческими руками». Другой древний автор сказал: «Я видел стены и висячие сады Вавилона, статую Зевса Олимпийского, Колосс Родосский, величественные пирамиды и древнюю гробницу Мавзола. Но когда я узрел Эфесский храм, чья вершина теряется в облаках, другие чудеса померкли для меня».

Я сидел, слушал хор лягушек, и думал: возможно, через две тысячи лет какой-нибудь английский археолог будет бродить по болотам, заросшим ежевикой, на месте нынешней улицы Ладгейт-Хилл, ища обломки собора Святого Павла. Две тысячи лет назад Эфес считался вечным и непобедимым. Тогда сама мысль о том, что он может превратиться в гниющий пруд, показалась бы дикой.

Когда святой Павел пришел в Эфес, храм был в расцвете своей славы. Диану Эфесскую знали в Древнем мире — но не как грациозную Артемиду, легконогую сестру Аполлона. Диана Эфесская — таинственное и древнее азиатское божество, подобное страшным

великанам из глубокого прошлого. Верили, что она, подобно Афродите Пафосской, спустилась с небес. На самом деле это мог быть метеорит, которому суеверные первобытные люди стали приписывать чудесные свойства. В Неаполитанском музее есть статуя Дианы Эфесской — странная, диковатого вида фигура с женскими руками и лицом. Нижняя часть тела у нее запеленутая, как у мумии, а верхняя — усеяна странными наростами, которые, по мнению сэра Уильяма Рэмси, являются не чем иным, как пчелиными яйцами. Они указывают на то, что перед нами богиня плодородия.

Пчела — символ Эфеса. Ее можно увидеть на большинстве монет, и уверяю вас, это самая красивая пчела древнего изобразительного искусства. Итак, богиня — это пчелиная царица. При храме жили жрецы-мужчины (трутни), которые одевались как женщины, и жрицы, называемые мелиссами (рабочие пчелы). Эта необыкновенная община возникла здесь, в Анатолии, из примитивной веры в то, что в жизни пчелиного царства, как ни в чем другом, виден промысел божий.

Греки считали, что пчелиная царица — мужского пола, азиаты же, поклонявшиеся богине-пчеле, строили свой культ на знании истинного пола этого насекомого.

Жрецов-трутней и жриц-рабочих пчел окружало несметное количество флейтистов, глашатаев, трубачей, кадийщиков, танцоров, акробатов, а также людей, убирающих святилище и обряжающих статую божества. Особая конная «патрульная служба» охраняла храм и поддерживала порядок вокруг него. В эллинистический период проводились ежегодные игры в честь Артемиды (Артемисии), привлекавшие тысячи паломников со всех концов света. Вся жизнь на месяц останавливалась, и жители Эфеса и приезжие наслаждались зрелищем спортивных состязаний, представлений и торжественных жертвоприношений. Тысячи серебряных

«сувениров» увозили гости домой на память о своем паломничестве.

Люди испытывали в храме священный ужас. Статуя богини стояла перед алтарем, обычно закутанная в покрывало. Поднимали его почему-то сверху, с потолка. Например, покрывало статуи Зевса Олимпийского крепилось к постаменту. В храме Изиды, согласно описанию Апулея, занавеску с рассветом отодвигали. Почему же, интересно, покрывало Дианы поднималось вверх? Должна же быть причина тому, что сначала обнажали ноги богини, потом ее тело, и только потом появлялись голова и лицо.

Статуя Дианы была деревянной, но летописцы расходятся во мнениях относительно сорта древесины: некоторые называют березу или вяз, другие — кедр, третьи утверждают, что это виноградная лоза. На большинстве монет, где изображена богиня, от ее рук к полу идут две линии. Без этих подпорок — возможно, золотых — она была бы неустойчива. В праздники статую Дианы возили по Эфесу в повозке, запряженной мулами или волами.

В такие торжественные дни в честь Дианы днем и ночью пели гимны, и на улицах Эфеса раздавалось: «Да здравствует Диана Эфесская!»

Более шестидесяти лет тому назад заросший водорослями пруд открыл свою тайну английскому архитектору Дж. Т. Вуду, чьи исследования финансировал Британский музей. Веками развалины храма считались утраченными. Вуд шесть лет безрезультатно копал на участке, где предполагал их найти. Его вдохновляли книга Эдварда Фолкнера о потерянном храме и выстроенная этим автором его гипотетическая модель. Перед таким упорством, какое проявил Вуд, все трудности — ничто.

Вуд страдал от малярии, козней турецких властей, недостатка средств, высокопоставленных любопытных. И все-таки он год за годом делал свое дело — в цилиндре и сюртуке, — как и полагается твердолобому викторианцу. Сэр Джон Форсдаик показал мне пожелтевшую фотографию Вуда на дне глубокой ямы. Он все в том же живописном костюме, теперь принадлежащем Британскому музею. Это Вуд снялся после своего триумфа. Застегнутый на все пуговицы, обросший бородой, он стоит, с победоносным видом положив руку на капитель одной из найденных наконец колонн. Ах, бедняга! Если бы он только знал, позируя для этого снимка, что стоит на целом складе вещей из золота и сплава меди и серебра, а также статуй Артемиды из бронзы и слоновой кости. Теперь все эти вещи, найденные Д. Дж. Хогартом под алтарем через тридцать лет после обнаружения храма, хранятся в Археологическом музее Стамбула.

Как бы там ни было, а открытие Вуда — одно из самых романтических в археологии. Перекопав весь Эфес и не найдя ни следа храма, он решил копнуть в театре, в том самом, что упомянут в «Деяниях святых апостолов». И наткнулся на римскую надпись: некий римлянин по имени Вибий Салютарий, живший в Эфесе спустя пятьдесят лет после святого Павла, подарил храму Дианы множество серебряных и золотых статуй богини, и каждая из них весила от шести до семи фунтов. Еще он пожертвовал некоторую сумму на реставрацию и чистку статуй. И попросил лишь, чтобы, когда их понесут в день рождения Дианы из храма в театр, внесли в город через Магнезианские ворота, а вынесли из города на обратном пути — через Коресские ворота. Такой маршрут, без сомнения, подсказало ему тщеславие: хотел, чтобы как можно больше людей оценило щедрость его дара. Вуд сразу же оценил важность этой надписи. Благодаря тщеславию человека,

умершего восемнадцать столетий тому назад, археолог получил ключ к разгадке. Он понял, что если удастся найти те и другие ворота и отходящие от них дороги, они выведут его к храму.

Вуд взялся за работу с удвоенной энергией и нашел сначала Магнезианские ворота, а потом и Коресские. В последний день 1869 года, когда деньги, отпущенные на экспедицию, были уже на исходе, он точно определил участок, где находился храм. От поверхности земли до его развалин было не менее двадцати футов. Какой это был день для Вуда! Его и так уже три недели по ночам трясла лихорадка, а тут еще такие волнения! Но он взял себя в руки и продолжал работать. И нашел пол храма, капители колонн со скульптурным орнаментом, отличавшим храм Дианы от любого другого в греческом мире. О триумфальном открытии Вуда рассказано в несколько беспорядочной, но, в общем, неплохой книге под названием «Открытия в Эфесе».

Среди тех, кто посетил раскопки, был доктор Шлиман, который тогда еще не нашел Трою. Ему захотелось ощутить под ногами пол храма Дианы Эфесской. Посмотрев на раскопки, он с некоторой грустью сказал, что Вуд обессмертил свое имя. Наверно, это была интересная встреча: Вуд, добившийся своего, и Шлиман, который, обладая потрясающим даром отнимать у земли все, что она хранит, скоро завоюет еще большую славу — найдет древнюю Трою.

Массивные и тяжелые находки транспортировали в Англию на военном корабле. Благодаря Вуду и британскому флоту великолепные капители из Эфеса можно сегодня увидеть в Британском музее [\[14\]](#).

Глава шестая

Стамбул

*Я морем приезжаю в Стамбул, пешком
иду по Галатскому мосту, посещаю дворец
Топкапы-Сарай, осматриваю местные
достопримечательности и отдаю должное
восточным сладостям в местном
магазинчике. Удастаиваюсь аудиенции у
экуменического патриарха
константинопольского Вениамина I в
Фанаре.*

1

Мелкий дождь накрапывал над Босфором утром 17 ноября 1922 года. Британская карета скорой помощи подкатила к боковому входу во дворец султана в Константинополе. Рядом с водителем сидел молодой младший офицер. Как только автомобиль остановился, он вышел и открыл дверцы. Сразу запахло больницей.

Дверь открылась, из дворца поспешно вышли трое. Полный и очень взволнованный господин за шестьдесят держал зонт над головой бледного мальчика лет десяти. Третий был услужливый человек с высоким голосом. Он нес большую черную сумку. От волнения пожилой турок сделал попытку сесть в машину с раскрытым зонтом — произошла короткая и довольно забавная сценка. Британский офицер положил ей конец, взяв зонтик из мягких, белых рук пожилого господина. Он устроил пассажиров в стерильном полумраке салона, уселся сам и велел водителю ехать на английскую военно-морскую базу. Ни офицер, ни водитель не знали, что скорая

помощь увозит из Константинополя все, что осталось от Византии.

Пожилой турок был не кто иной, как султан Мехмед VI, Вахидеддин-эфенди, последний султан Османской империи, халиф правоверных; мальчик — наследник императорского трона, принц Эртугрул-эфенди; а человек с черной сумкой — дворцовый евнух, наскоро успевший собрать золотые кофейные чашки султана и кое-какие драгоценности.

Прибыв на военно-морскую базу, беглецы сели в адмиральский катер и скоро уже мчались к английскому военному кораблю «Малайя», готовому отплыть на Мальту. Четыре года спустя турецкий султан умер, неоплаканный и невоспетый, в чужом ему Сан-Ремо.

Из всех перемен, которые принесла война 1914–1918 годов, конец султаната был, возможно, наиболее заметной, во всяком случае, самой радикальной. Это была настоящая хирургическая операция после ряда паллиативом и подготовительных мер, проведенных в середине прошлого столетия. Пока в 1922 году кемалисты не захватили власть, ни у кого из реформаторов Турции не хватало смелости или чутья докопаться до самых корней болезни — покончить с Византией, упразднив султанат — ее пережиток.

На Западе не до конца отдают себе отчет в том, что все, что мы считаем турецким, на самом деле пришло из Византии: феска, турецкие бани, гаремы и даже полумесяц, который на красном фоне присутствовал на флаге Византийской империи. Тайны и церемонии при дворе султана, интриги его жен и придворных, до недавнего времени внушавшие трепет янычары — остатки прежней императорской гвардии, запутанное законодательство, даже бесподобная кухня — все турки заимствовали у Византии, когда захватили столицу Восточной Римской империи и укрепились в ней.

Говорят, что когда в 1453 году турки взяли Константинополь, победоносный султан Мохаммед II проехал по притихшим улицам города, а потом прошелся по царскому дворцу, бормоча себе под нос слова из персидского стихотворения, где говорится о том, что паук прядет свою паутину и в королевских покоях. Победивший воин испытал удивление, а может быть, и смирение, осознав, что оказался хозяином величайшего, богатейшего и, главное, такого непростого города. Турки заняли Константинополь, но ни в коем случае и ни в каком смысле не победили его, и пришло время, когда он стал побеждать победителей. Городом и империей, как в византийские времена, продолжали править греки и левантийцы. Однако турки контролировали армию. Такое положение вещей сохранялось с 1453 по 1922 год, когда Кемаль Ататюрк просто-напросто вышвырнул из Турции то, что осталось в ней от Византии, освободил, так сказать, турецкий дуб от левантийского плюща. Столь же радикальной мерой, как изгнание султана, был перенос столицы новой Турции из греческого Константинополя в Анкару, на суровые анатолийское нагорья.

Вот бы специалисты в истории Византии — область, которой почему-то пренебрегают — выбрали предметом исследований проникновение обычаев и привычек Нового Рима в турецкий Константинополь. Время от времени кто-нибудь из авторов, хорошо знающих Турцию, слегка касается этой увлекательной темы. Например, сэр Джордж Янг, описывая причудливые, столетней давности наряды придворных, говорит, что их фасоны намеренно копировали те, что были в моде в византийском Константинополе.

В изысканном и древнем церемониале, принятом во дворце султана, в низкопоклонстве многочисленных придворных, занимавших самые фантастические посты, в запутанной иерархии титулов, в гаремных интригах мы

видим перевернутую — как если бы смотрели в телескоп с другого конца, — блестящую, рассеянную, замысловатую жизнь греческих императоров.

Сэр Джордж Янг считает, что знаменитый *селамлик* — торжественный выезд султана в мечеть, повторявшийся каждую пятницу — есть не что иное, как пародия на подобную церемонию в византийские времена. А если так, то надтреснутые голоса придворных карликов на ступенях мечети, встречавших господина словами: «О, падишах, не вознось — есть выше тебя!», звучат эхом голосов, которые слышали Базилевс и его супруга, шествуя в сверкающих золотым шитьем одеждах на службу в храм Святой Софии.

«Это были византийцы в современной одежде, — пишет сэр Джордж Янг, — священнослужители, карлики, евнухи, пажи, астрологи, одалиски-черкешенки, принц в изгнании, сверкание сокровищ, тень неминуемой смерти... А самый главный византиец, “Великий убийца”, султан Абдул-Хамид, просматривал журналы, подписывал между делом смертные приговоры и наигрывал на фортепьяно маленьким дочкам отрывки из “La Fille de Madame Angot”»^[15].

2

Такие мысли бродили у меня в голове, когда я плыл на корабле по Мраморному морю к Стамбулу. Хотел бы я побывать в этом городе в XVIII веке, увидеть, как византийские сумерки опускаются на купола и минареты. А сейчас я знал, что мне предстоит увидеть не столицу, а город, отправленный в опалу парламентским актом.

Меня удивило промозглое холодное февральское утро — наверно, потому, что я много читал о Константинополе, изнывающим от зноя, и видел

только летние фотографии. Скоро я узнал, что местные жители отрицают наличие здесь какого бы то ни было климата — имеют значение только северные и южные ветры. Хотя город лежит на той же широте, что Неаполь и Мадрид, его близость к Балканам и Черному морю приводит к тому, что мягкой средиземноморской зимы, типичной для этих широт, здесь не бывает.

Когда мы подплывали к городу, начался снег с дождем — лицо кололи бесчисленные стальные иголки, а ветер кусался так, что хотелось повернуться к нему спиной. Турецкий офицер, поднявшийся на борт в Чанаке, рассказал мне, что зима здесь бывает и холодной, что иногда Босфор и бухта Золотой Рог замерзают и ледяные глыбы могут и забаррикадировать вход в Дарданеллы, так что люди и крупный рогатый скот спокойно переходят по ним из Азии в Европу.

Сквозь пелену снега с дождем, на фоне серого неба, похожего на небо над Манчестером или Абердином, я впервые увидел пологие холмы Константинополя, его темные купола и белые минареты.

На мосту, соединяющем центр Стамбула с торговым районом Галата, дребезжали трамваи. Снизу, с набережной, доносились пронзительные гудки автомобилей. Держа в руках карту, которую ветер все норовил вырвать, я смотрел сквозь дождь со снегом на прекрасные очертания молчаливого утреннего города. Я узнал мыс Сераль и огромный купол Святой Софии. Константинополь при таком скудном освещении выглядел довольно печально. Все это напоминало какую-то необычную рождественскую открытку.

Внизу, на набережной, в тоненьких плащиках, застегнутых до горла, с поднятыми воротниками и посиневшими от холода лицами, толпились решительно настроенные зазывалы. Они мертвой хваткой вцеплялись в пассажиров, едва те успевали спуститься по трапу. Я сошел на берег с красивой, но глупой идеей

перейти Галатский мост. За мной тут же увязался молодой человек в матерчатой кепке. Он шел за мной и бормотал что-то, отдаленно напоминавшее английские и французские слова. Под пальто он прятал какую-то вещь, которую, видимо, очень хотел показать мне, а я, подозревая самое худшее, твердо решил на нее не смотреть. Упрямо сжав челюсти, я шел вперед, то и дело повторяя «уходите» на всех языках, на каких только мог припомнить это слово.

Мое явное нежелание общаться не отпугнуло молодого человека. Он не отставал и время от времени легонько подталкивал меня в бок, умоляя взглянуть на вещь, которую прятал на груди. И настойчиво повторял: «Пять фунтов, сэр, всего пять фунтов!» Наконец, потеряв терпение, и, честно говоря, снедаемый любопытством, не скрывает ли это загадочное существо под верхней одеждой византийский молитвенник, инкрустированный драгоценными камнями, я оглянулся и увидел, что он хочет сбыть мне маленький гипсовый бюст Джона Уэсли. Когда я недвусмысленно дал юноше понять, что не намерен покупать его, он сбавил цену до пяти шиллингов, а когда и это не помогло, вежливо приподнял кепку и быстро смешался с толпой.

Я отправился к Святой Софии, которая в действительности еще красивее и величественнее, чем на картинках. Она была вся в лесах, а за ними из-под побелки XV века проступала великолепная мозаика, выложенная по приказу Юстиниана. Я попробовал выяснить у гидов и хранителей, не жалеют ли они о том, что самую знаменитую мечеть в Турции республиканское правительство превратило в музей и теперь большинство посетителей видит в ней не мусульманский, а христианский храм. Ни один не признался в том, что жалеет, — это было бы равносильно измене родине.

Не помню, на ипподроме или у цистерны Филоксена (что за жуткое место, с его высокими византийскими колоннами, уходящими под воду, и лодочником, подобно Харону увозящим вас во тьму!), ко мне привязался еще один молодой человек в потрепанном пальто. И снова я увидел знакомые черты Джона Уэсли. Цена колебалась между четырьмя фунтами и семью шиллингами шестью пенсами. Интересно, подумал я, почему именно Джон Уэсли преследует меня в Константинополе, какими судьбами этот христианин-нонконформист попал за пазуху к мусульманину в городе султанов.

Разумеется, я, как все, посетил Сераль, или, как его называют турки, Топкапы-Сарай — дворец и гарем султанов. До тех пор, пока в 1839 году Абдул-Меджид не переехал в другой дворец на Босфоре, здесь была резиденция султана и заседал знаменитый диван. Из-за пожара в 1865 году и железной дороги, проложенной позже вдоль стены, обращенной к морю, Сераль теперь пустует, если не считать нескольких проводимых здесь церемоний в год.

Мне это место показалось весьма интересным, но в то же время каким-то жалким, удручающим, примерно как Уайт-Сити или Уэмбли через несколько лет после того, как там перестали устраивать выставки. Ни в какое сравнение не идет с пышными описаниями в источниках XVII и XVIII веков. Но, возможно, в период своего расцвета — после свежей побелки, населенный яростными янычарами, черными и белыми евнухами, карликами, придворными в огромных тюрбанах и одеяниях из тончайшего шелка — Сераль действительно заслуживал восхищения. Топкапы-Сарай — наглядная иллюстрация того, что турецкую историю можно разделить на два периода: первый — когда султан в огромном тюрбане сидел на диване, поджав ноги и сжимая в руках ятаган; и второй — когда он сидел в кресле эпохи Людовика XV, одетый во что-то среднее

между генеральским и адмиральским мундиром. Старый Сераль принадлежит первому периоду и, следовательно, интереснее более поздних дворцов Стамбула, выглядящих как свадебные торты в австрийских или французских провинциальных кондитерских.

Сераль интересен, прежде всего, тем, что он, собственно говоря, не является дворцом в привычном понимании этого слова. Это целый парк с беседками и другими постройками, рассыпанными здесь и там, без всякого плана. Некоторые из них большие, другие — маленькие, как летние павильоны; некоторые стоят отдельно, другие соединены длинными извилистыми переходами. Мне пришло в голову, что этот комплекс, устроенный Мохаммедом II на месте форума Феодосия в 1453 году, сразу после захвата Константинополя, вполне отражает кочевой характер *турок*. В сущности, это просто военный лагерь с палатками — только выполненными из дерева и камня.

Я где-то читал, что дворцы византийских императоров представляли собой именно такие скопления беспорядочно расставленных зданий с внутренними дворами, и если это действительно так, то Мохаммед, планируя свою резиденцию, взял за образец византийские дворцы, разрушенные или сожженные во время осады города. Если любая мечеть в Стамбуле и во многих исламских странах является в каком-то смысле копией христианского храма Святой Софии, так почему бы и дворцу султана не повторить в уменьшенном виде великие дворцы византийской столицы.

Гиды в синей униформе и фуражках водят туристов по территории, куда проход запрещен даже туркам. Им чужд экстаз, в который впадают порою европейские гиды, когда водят посетителей по молчаливым дворцам изгнанных или бежавших монархов. В Турции гиды просто сопровождают вас, понемногу сообщая

некоторые сведения, то есть держатся как добросовестные английские церковные служки. Правда, иногда выдержка изменяет им — например, при виде фотоаппарата, который настырные туристы должны были бы оставить на входе, но пронесли внутрь. У современных турок от прежних времен остался маниакальный страх перед фотографией. То ли им кажется, что византийская колонна или апартаменты чернокожих евнухов являются стратегическими объектами, то ли они просто опасаются, что любительские фотографии могут составить конкуренцию открыткам. Мне так и не удалось выяснить, в чем дело. Одно скажу: если хотите вызвать на этой помнящей шаха Джемшида земле взрыв ярости примерно той же силы, как если бы вы проникли в гарем, достаньте фотоаппарат и попробуйте кого-нибудь или что-нибудь сфотографировать.

Путешествуя по приходящим в упадок «летним павильонам» с потрескавшейся краской на стенах, куполообразными потолками, ковриками и убранством в арабском стиле, по длинным каменным коридорам, мимо зарешеченных окон, из которых можно увидеть кусочек тропинки в саду или кипарис, проходя чередой пустынных комнат, в каждой из которых есть очаг, как в каждой мечети есть михраб, понимая, сколько здесь было возможностей для подглядываний, подслушиваний, всякого рода слежки, испытываешь некоторый ужас перед гаремными нравами. Комната для занятий принца, где — и это совершенно ясно — невозможна никакая учеба, находится по соседству со спальней главного евнуха и производит подавляющее впечатление. Причудливые украшения, орнамент в стиле рококо, позолоченные французские табуреты и стулья. Сюда приводили бледненьких претендентов на трон, чтобы дать им образование, которое должно было отличать их от остального человечества.

Нота роскошного дискомфорта звучит везде, кроме, пожалуй, ванной комнаты султана. Это действительно хорошая ванная комната, хотя, без сомнения, многие голливудские актеры оценили бы ее невысоко. Как многие помещения в Серале, она старше, чем выглядит. Плитка была положена «в 982 году хиджры», то есть в 1574-м.

Просторное помещение разделено на три отсека: две раздевалки и сама ванная комната — с мраморными раковинами и мраморной ванной с фонтанчиком. Интересно, где мылась королева Елизавета I? Возможно, европейские путешественники так восхищались ванной султана именно потому, что сравнение было не в пользу Европы. В XVI веке султан, без сомнения, жил богаче, чем многие монархи в Европе, но с того времени Европа очень продвинулась в смысле комфорта и роскоши, а старый добрый Сераль остался таким же, каким был.

Я бродил по печальным, украшенным в византийском стиле апартаментам султана и вдруг увидел фигурку, похожую на призрак из прошлого, переходящую из одного двора в другой. Это был карлик, широкоплечий и длиннорукий. Он прогуливался по тропинке между кипарисовыми деревьями. Я посмотрел на его печальное мудрое личико и увидел в глазах глубокую тоску. Его мир безвозвратно погиб.

Сокровищница султанов — собрание самых разных предметов. Некоторые из них представляют интерес и большую ценность, другие — отвратительно вычурны, и почти все являются дарами разных монархов правящему султану. Первый приз за уродство мог бы получить фарфоровый сервиз с огромными камнями — говорят, это изумруды и рубины, — вставленными в бока чашек и блюдца. Некоторые из камней достигают размеров голубинового яйца. Самые интересные экспонаты — турбаны. Они бывают гигантских размеров. Тут есть множество хитростей в закладывании складок. В

византийские времена в турецком Константинополе можно было по виду тюрбана определить ранг и положение человека.

Я вышел из Серая через недоброй памяти Врата мира. В помещениях по левую руку от них находилось все необходимое для экзекуций, включая вкопанный в землю бак, в котором знатных осужденных топили, прежде, чем отрубить им головы. В комнатах справа султан с особым удовольствием заставлял иностранных послов ожидать аудиенции, пока, устав от собственной шутки, не отдавал приказ «накормить собак». В одной из этих комнат слугитель в фуражке продал мне путеводитель на английском языке.

3

Если бы древняя кулинария была лучше изучена, думаю, можно было бы отследить происхождение изысканной турецкой кухни от византийской. Острая долма, искусно завернутая в виноградные листья, разнообразные пловы, странные, опасные на вид рыбные блюда, сервированные на створках огромных раковин, сладости в меду — все это, конечно, изобрели не турки. Готовить эти блюда турки научились в Константинополе, когда захватили этот Париж средневековья. Возможно, нынешние турки-республиканцы так же пристально внимательны к внешней стороне европейской жизни, особенно к европейской кухне и напиткам, как их предки были внимательны к византийским.

В квартале под названием Пера есть турецкий ресторан, в витрине которого выставлен огромный выбор блюд. Меню длинное, и plats du jour^[16], шипящие в широких мелких кастрюльках, радуют цветовой гаммой, острым запахом и сложным составом. Глядя на эти блюда, я подумал, что какой-нибудь подслеповатый

знаток византийского искусства мог бы поверить, что находится в музее и смотрит не на еду, а на произведения византийских кузнецов и художников по эмали. Вскоре после приезда в Стамбул мне уже трудно было отличить истинно турецкое от византийского — так безнадежно все здесь перемешано.

В Испании, например, еда имеет непередаваемо средневековый вкус. Вот и турецкие блюда не только насыщают, но и будят воображение. Есть оттенки и ароматы, известные в Древнем мире и совершенно утраченные европейской кухней, которые тем не менее можно еще встретить в некоторых уголках земного шара, особенно на Востоке. И что касается «гастрономической археологии», здесь Турция, безусловно, держит первое место; аромат и вкус еды, не говоря уже о цвете, заставляет задавать вопросы, на которые мог бы ответить разве что шеф-повар императрицы Феодоры. Как жаль, что он не оставил после себя кулинарную книгу! Попробовав фирменное блюдо в ресторане Перы, я почувствовал, что и у меня теперь есть нечто общее с Палеологами.

Турецкие сладости — отдельный предмет для научных изысканий. Не говоря уже о том, что это самые сладкие на свете сладости, — чего и следовало ожидать в стране, которая до недавнего времени была, по крайней мере теоретически, страной трезвенников. Но в Стамбуле, кроме традиционных сладостей, доступных во всех арабских странах, я мечтал отведать десерт «бычий глаз» и палочки «Маргит-Рок». Я ел их только в Англии, где в последнее время такое засилье шоколада, что приходится разыскивать старые добрые сладости в каких-нибудь деревенских лавочках при почте. Первое, что мне пришло в голову: английские производители, потеряв английский рынок, нашли новый — турецкий. Я бы удовольствовался этой версией, если бы в газете «Султан и его подданные» не прочитал о

книге, написанной Ричардом Дейви в 1907 году. На ее автора, как и на меня, сильное впечатление произвела «английскость» многих типично «турецких» сладостей — он встречал их до этого только в деревнях Норфолка. Ричард Дейви задается интереснейшим вопросом: «Не крестоносцы ли принесли нам первые “бычьи глаза”, чтобы проворные пальчики английских девушек повторили и увековечили опыт восточных кулинаров?»

На углу притулился скромный магазинчик, который показался мне гораздо романтичнее многих более знаменитых мест в этом городе. Магазин принадлежит некоему Хаджи Баба, чья семья готовила сладости для двора Его Величества Абдул-Хамида. Отсюда были все лакомства, которые, будем надеяться, отчасти компенсировали красавицам гарема необходимость покоряться их неприятному господину.

За прилавком, заваленным рахат-лукумом самых изысканных цветов, стоит сам хозяин, сын Хаджи, верного слуги Абдул-Хамида. Он отрезает толстые ломти своего фирменного лукума, усыпанного фисташками и грецкими орехами, огромные куски кристаллической халвы, взвешивает восхитительно мягкую малинового цвета нугу — ее еще варят в горячей воде, получая сладкую византийскую микстуру: добавят любой яд — и не почувствуешь.

Хаджи Баба — великий мастер, и он правильно делает, что ограничивается тремя-четырьмя видами сладостей. Зато готовит их лучше всех на свете. Рахат-лукум из коробок или жестянок — клейкая масса, которую можно есть с удовольствием разве только в детстве. Если человека постарше и повзыскательней заставить в Рождество положить в рот сладкий кубик, он задаст себе только один вопрос: почему эта тягучая масса, от которой болят зубы, приобрела такую славу? Что ж, ответ на него можно найти в Стамбуле, в магазине Хаджи Баба, где рахат-лукум, припудренный,

ароматизированный розовой водой и ненавязчиво начиненный орехами, — царь, а халва — царица восточных сладостей. И опять-таки должен заметить, что рахат-лукум, как и турецкая баня, не был изобретен турками, народом кочевников и воинов: он услаждал византийскую знать за несколько веков до того, как лучники Мохаммеда появились под стенами Константинополя. Подобно пирожным святой Терезы в Авиле, толедскому марципану и греческой рецине, он имеет привкус древности. Это как если бы мозаики Равенны вдруг стали съедобными.

4

Никто не станет отрицать, что Адольф Гитлер — хороший психолог, и было бы интересно понять, в какой степени его сатанинский дар является свойством его мозга, а в какой он обязан им знанию истории. Потому что были «психологи» и до него. Например, политическая стратегия турок и методы, использованные ими при захвате Константинополя в 1453 году, позволяют провести несколько поразительных параллелей с известной «технологией нацизма».

Султан захватил Константинополь и утвердился на троне цезарей, потому что ему противостоял раздробленный, раздираемый враждой, ревностью и религиозными разногласиями, неспособный к объединению христианский мир. Если бы латинская и греческая церковь забыли свою рознь, если бы христианские народы Запада пожелали объединиться, турки были бы разбиты. Но никто лучше султанов не знал, что огонь крестовых походов сжег самих же крестоносцев и что никогда больше христианские

короли не выступают вместе, как выступили против Саладина.

Турки тоже обладали всеми качествами, необходимыми для успешного военного государства: строгая дисциплина, сплоченность, крепкая броня, надежные пушки. В век отсутствия регулярных армий, когда большинство правителей пользовалось услугами небольших и дорогостоящих банд наемников, турки создали у себя военную элиту и регулярную армию, в которую вероломно рекрутировали солдат из числа подчиненных им христиан. Делали это так: набирали мальчиков от семи до двенадцати лет, обучали их военным искусствам и ничему другому не учили, обрекали на безбрачие, лишения, требовали от них беспрекословного подчинения командирам. Это были знаменитые янычары, или «ени-чери» — в переводе «новые войска».

Задолго до падения Константинополя мусульманство просачивалось в Византийскую империю, внося в нее разлад и смятение. Суровый абсолютизм всегда рядится в демократические одежды, всегда обещает крестьянам покоренных областей «новый порядок», настраивая их против собственных феодалов, а тех в свою очередь завлекая на службу к тирану. Султаны с распростертыми объятиями принимали при дворе оппозиционеров, дезертиров, смещенных властителей, авантюристов, в общем, всех недовольных, чье недовольство перед этим сами же мастерски провоцировали. Таким образом, в их распоряжении были мощная «пятая колонна», всегда готовая ударить по тылам соотечественников, и лучшая в мире шпионская сеть.

Очень высокомерные, уверенные в своем военном превосходстве, прекрасно умеющие культивировать предательство и сеять вражду, турецкие власти плели на Балканах паутину интриг, постепенно окружая свою жертву. Последние годы существования Византии —

весьма патетическая иллюстрация эфемерности мирной жизни.

В национальной библиотеке в Белграде есть сербский манускрипт XV века — предположительно речь султана Мохаммеда II, завоевателя Константинополя, о христианах, об этих herrenvolk^[17]. Документ переведен на английский язык Чедомилом Миятовичем^[18] и сейчас представляет собой в высшей степени познавательное чтение.

Возможно, Гитлер в глаза не видел этого текста, и тем не менее в свое время сам произнес нечто подобное.

Вы слышали, — говорит султан, — что христиане объединились против нас. Но не бойтесь. Им не превзойти нас в героизме. Вы хорошо знаете этих немытых гяуров, их повадки и манеры, не отличающиеся благородством. Это люди вялые, сонные, ленивые. Их легко привести в замешательство. Они любят поесть и выпить, терпеливо переносить невзгоды не умеют, а когда им везет, — делаются горды и заносчивы. Они любят понежиться на мягких пуховых перинах. Без женщин они скучают, без вина не могут договориться между собой. Не обладают военной хитростью. Держат лошадей только для прогулок, охотятся же с собаками. Если кому-нибудь из них нужна хорошая лошадь, они покупают ее у нас. Они не способны терпеть голод, холод, жару, сильное напряжение и тяжелый труд. Таскают за собой женщин на войне, а за столом сажают их на лучшие места. Они согревают тарелки, с которых едят. В общем, ни на что они не годны.

А вы, мои славные соплеменники, можете похвастаться многими достоинствами. Вы не заботитесь о ночлеге и пище. Вы мало спите, и

для сна вам не нужна мягкая постель. Любые доски служат вам обеденным столом, а земля — ложем. Для вас нет непреодолимых трудностей, нет ничего невозможного.

Кроме того, христиане постоянно дерутся между собой, потому что каждый из них желает быть королем или князем, словом, первым. Они говорят друг другу: «Брат мой, помоги нынче ты мне одолеть этого правителя, а завтра я тебе помогу одолеть того!» Не бойтесь их, меж ними нет согласия. Каждый заботится только о своем, никто не печется о главном. Они вздорные, непокорные, своевольные и упрямые. Они не умеют подчиняться вышестоящим, а ведь это решает все!

Когда они терпят поражение в битве, то всегда говорят: «Мы были плохо подготовлены!» или «Такой-то — предатель и выдал нас!» или «Нас было слишком мало, турок — гораздо больше!» или «Турки напали на нас без объявления войны, они действовали обманом!», «Они завладели нашей страной, воспользовавшись нашими внутренними трудностями!».

Вот что они говорят, не желая откровенно признаться: «Бог на стороне турок! Это Он им помогает, и по-этому они бьют нас!»

Отзвук того, что нам известно теперь как нацистская пропаганда, явственно слышится в речи султана, произнесенной в 1453 году — то ли до, то ли во время осады Константинополя. Эхо его яркой речи звучит в речах, которые сейчас гремят в Германии. Психологическая стратегия Третьего рейха, которую некоторые считают чем-то новым, была доведена до

совершенства почти пять веков тому назад турецкими султанами.

Константинополь пал 29 мая 1453 года после храброй, но безнадёжной обороны, продлившейся около двух месяцев. Как раз перед началом осады султан предусмотрительно подкупил лучшего в Константинополе пушечных дел мастера, и этот человек, по имени Урбан, отлил пушку-монстра, орудие самого крупного тогда калибра, стрелявшее огромными ядрами. Но даже без этой пушки у турок артиллерия была лучше, чем у греков. Лучшие греческие орудия стреляли каменными ядрами не тяжелее 150 фунтов, турецкие же пушки могли стрелять ядрами по 1200 фунтов.

А чего стоит утверждение, подготовленное годами интриг и призванное доказать отсутствие единства в рядах христиан, — что не менее 30 000 христиан сражались под знаменами мусульман. В действительности в Константинополе было не более 10 000 христиан, способных носить оружие. А версия, приводимая в доказательство жадности и беспринципности жителей Византии, — что это будто бы у купцов Галаты султан купил свиной жир в огромных количествах, чтобы смазать стапеля и за одну-единственную ночь, усилиями тысяч людей и буйволов, посуху перетащить военные корабли на расстояние пяти миль и спустить их на воду в бухте Золотой Рог!

В конце концов турки перелезли через разрушенные стены, а часть их вошла в город через неохраемые ворота. После захвата города турецкий солдат принес султану отсеченную голову императора Константина XII Палеолога, погибшего в последней схватке. Военачальники султана приказали солдату показать им тело. Они опознали обезглавленный труп по пурпурным туфлям с византийскими двуглавыми орлами.

Мохаммед приказал выставить голову императора на порфировой колонне перед императорским дворцом. И когда наконец все узнали, что император убит, тело похоронили по обряду греческой церкви и сам султан заплатил за масло в лампадах над гробом. Константин XII был восьмидесятым римским императором считая от Константина Великого и сто двенадцатым — считая от Октавиана.

5

Я удостоился аудиенции у экуменического патриарха константинопольского в Фанаре, части города, где живут оставшиеся в городе греки. Церковь пережила падение Константинополя. Патриарх константинопольский в современном мире — вроде призрака великого прошлого. Только в его титуле теперь звучит прежнее гордое имя поверженного города. Но прежде чем описывать Фанар и практически заточенного здесь патриарха, я кратко набросаю историю патриархии.

Когда Константин Великий в 330 г. н. э. перенес столицу империи из Рима в Византию, великие патриархаты Рима, Александрии, Антиохии, Иерусалима уже существовали. Византией управлял даже не архиепископ, а епископ. Когда Константинополь сделался самым великим, богатым, великолепным городом Римской империи, резиденцией императорского двора, естественно, возникла необходимость в создании пятого патриархата, который и был основан — и не по инициативе церковных властей, а, скорее, из политических соображений. Вскоре патриарх константинопольский стал первым среди восточных прелатов и первым по рангу после папы. Сам же он ставил себя настолько высоко, что часто противоречил

папе, что порождало серьезные проблемы в отношениях между западными и восточными христианами и разобщало их.

Когда Мохаммед в 1453 году захватил Константинополь и последний император был убит, греки, которых не зарубили сразу и не обратили в рабство, бежали, спасаясь от смерти. Султан получил безжизненный город, оказался хозяином обезлюдевшей столицы. Город, где процветали торговля и ремесла, достался воинственному народу, ничего не смыслившему ни в том, ни в другом. Чтобы богатая добыча не загнила на корню, чтобы город не превратился в руины, туркам надо было убедить греков работать на себя. Как они могли это сделать? С императорской властью было покончено, но византийская церковь выжила. Султан опасался, что доведенные до крайности византийцы могут вступить в сговор с папой и, объединившись с ним, разбить турок. Поэтому он решил первым договориться с византийской церковью и, пообещав грекам возможность свободно исповедовать свою веру, тем самым предотвратить возможный альянс с Римом и в то же время поощрить греков к возвращению в город.

Священнослужителям, оставшимся в захваченном Константинополе, было предложено выбрать патриарха — некоторое время эта должность была вакантна.

С назначением на нее фанатичного монаха, который яростно противился союзу с Римом, старая патриархия, поддерживаемая теперь мусульманским султаном, приобрела новые и удивительные черты. Патриарх носил титул паши с тремя бунчуками^[19], и его торжественно посвящал в сан сам султан — имитация церемонии, которую в христианские времена совершал император. Результат такого неестественного союза был поистине курьезным.

При христианских императорах патриархи были на вторых ролях и не обладали сколько-нибудь значительной светской властью. Император же, глава государства, имевший статус полубога, являлся также и главой церкви. У мусульманских властителей не было претензий на божественное происхождение, так что в результате новые патриархи получили гражданскую и духовную власть над всеми христианами в империи. Во всяком случае, теоретически у них сильно прибавилось власти, они стали равны понтификам.

Вероятно, будет правильным сказать, что при этом странном мусульманском правлении часть власти прежних императоров перешла к патриархам константинопольским. Патриарх, единственный сановник, уцелевший в Константинополе от прежних дней, существовал в этом печально изменившемся мире, как тень императора. И чтобы христианскому «королевству» было где обосноваться в мусульманском «царстве», грекам отвели место на берегу бухты Золотой Рог. Это предместье получило название Фанар, потому что неподалеку находился маяк.

Фанаром сначала назывался просто греческий квартал, но скоро это слово стало относиться и к патриарху, и его синоду и теперь употребляется именно в этом значении, как, например, слово «Ватикан». История Фанара порой связана с насилием, часто трагична — из-за нетерпимости, амбиций, торговли тем, что священо. Скоро стало модным покупать эту должность, и султаны смещали патриархов по самому незначительному поводу, а то и без повода, просто для того, чтобы нажиться на назначении следующего главы церкви. За четыреста восемьдесят лет, с тех пор, как пал христианский Константинополь, средний срок правления патриарха составил менее четырех лет! Только тридцать четыре патриарха из ста семи умерли

на своем посту, при этом восемь из них умерли насильственной смертью.

Фанар знал головокружительные взлеты и падения. Многих патриархов возвращали из ссылки, и некоторые правили по три-четыре раза! Это очень свойственно политической жизни на Балканах, а также очень в духе «Тысячи и одной ночи»: за падением и опалой часто следует быстрое возвращение былых милостей. Одним из результатов этой полной превратностей жизни стало устройство утопавшего в садах поместья на острове Принкипо, «загородного отеля» для опальных патриархов, где смещенные прелаты жили все вместе, и каждый ожидал, что его снова посадят на трон! В наши дни смещенный патриарх обычно удаляется в один из монастырей на горе Афон. Но самое странное для меня во всей этой истории о Фанаре — то, что столь ненадежная, полная интриг и опасностей жизнь оказалась так привлекательна для людей духовного звания. Известны случаи, когда принцы отказывались от трона, не желая такой доли, но константинопольский престол никогда не оставался без претендента, готового принести себя в жертву.

Власть Фанара и группировавшейся вокруг него греческой торговой верхушки достигла наивысшей точки в XVIII веке и с этого момента резко пошла на убыль. Сегодняшний Фанар, существующий в республиканской Турции, — всего лишь тень прежнего Фанара. Тем не менее формально все сохранено, и отсвет Византийской империи все еще падает на горстку греческих священнослужителей. Официальный титул патриарха звучит так: «Святейший Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх». Принятое обращение к нему — «Ваше Божественное Святейшество» или просто «Ваше Святейшество», а письма к нему до недавнего времени следовало начинать так: «Святейший Владыко, Богом

избранный, Богом призванный! Почтительно падаю ниц и припадаю к священным рукам и стопам». Правда, за последние сто лет этот византийский узор сделался не таким прихотливым.

Патриарха избирают греческие епископы в Турции, и кандидат обязательно должен быть турецким подданным. При нем состоит синод из двенадцати епископов. Церемониал избрания, действовавший при султанах, республика, разумеется, отменила. Он включал в себя аудиенцию вновь избранного у великого визиря, который дарил ему плащ, шапку, посох и белого коня. Лозаннский договор внес изменения в закон об избрании, но из-за массовой репатриации греков-христиан и потери Турцией части территорий после Первой мировой войны паства константинопольского патриарха сократилась приблизительно до 100 000 человек. В основном, это греческие торговцы, все еще проживающие в Стамбуле.

За последнее время Фанар может похвастаться только одним, очень неожиданным приобретением. В 1922 году православные греки, живущие в Соединенных Штатах, были переведены из юрисдикции греческой церкви в ведение Фанара. Это приблизительно 300 000 человек. Мелиос IV, находившийся тогда у власти, основал Американскую православную греко-кафолическую церковь под покровительством Константинополя, но не всем это понравилось, и поступило предложение учредить независимый святейший синод для Америки. Пока он не создан (если он вообще будет создан), патриарх константинопольский находится в странном положении — большая часть его паствы живет по другую сторону Атлантики, что, впрочем, вполне в духе запутанной и беспорядочной истории Фанара.

Такси доставило меня в ту часть Стамбула, где старые дома теснятся на склоне, над бухтой Золотой

Рог. Какое-то время мы ехали по плохой дороге, потом остановились перед высоким зданием. Греческий монах поспешно открыл дверь. Меня здесь явно ждали и, не задавая лишних вопросов, провели вверх по лестнице в одно из суровых, никогда не знавших женского глаза помещений, какие бывают в монастырях. Стены были увешаны фотографиями в человеческий рост, с которых пронизательными, но, как правило, добрыми глазами смотрели патриархи с внушительными бородами. В углу стоял позолоченный стул. Я сел на него и от нечего делать стал наблюдать, как под окном торговец продает хлеб из корзины. В зазор между домами виднелись часть волнореза и кусочек сверкающей на солнце бухты.

Я сидел на плетеном стуле, смотрел на стол, покрытый старой скатертью с кистями винного цвета, причем нескольких кистей не хватало, и думал, что это все равно что прийти в гости в знатное, но обедневшее семейство, которое ютится в комнатах верхнего этажа, но хранит воспоминания о былой роскоши. Это была приемная патриархов, когда-то бороновавших императоров Византии, служивших у высокого алтаря Святой Софии, состязавшихся в могуществе с самим папой, шествующих по страницам истории в своих раззолоченных одеждах, похожих на одежды святых на иконах, благословлявших союз государства и церкви, преклонявших колени разве что перед самим Базилевсом. В этом темном тихом доме в местечке Фанар живут тени императоров и императриц: самого Константина, Елены, Юстиниана, Феодоры, Гераклия, Василиев и Михаилах Македонских, Иоаннов Комнинов, Палеологов. Странно, что Византия, где был настоящий культ роскоши, съежилась до этой темной комнатки в Стамбуле.

Вошли два епископа, достойные пожилые люди, темноволосые и бородатые, в темном облачении. Улыбаясь, назвали себя. И мне показалось, что звучат

фанфары, ибо один из них был великий логофет, хранитель патриаршей печати, а другой — великий еkkлeзиарх, церемониймейстер, — два самых главных официальных лица при дворе патриарха.

Я спросил о здоровье его святейшества Вениамина I. И получил ответ, что он здоров. Это шестой патриарх, который правит в Фанаре с тех пор, как в 1923 году была установлена турецкая республика. Мелиос IV по политическим мотивам бежал на Афон в 1923 году и, в конце концов, отрекся. Его место занял Григорий VII. Он скончался в год своего избрания. Следующий патриарх, Константин VI, был смещен правительством за попытку восстановить бывшее могущество. Сменивший его Фотий II умер в 1935 году. И престол занял нынешний патриарх.

По атмосфере Фанара я почувствовал, что ограничение в правах, с которым всегда приходилось мириться христианам в мусульманской стране, не исчезло и при республиканском правлении. Новое правительство настояло на отделении патриархии от государства. Ей теперь надлежит быть чисто духовным учреждением, без каких бы то ни было политических или светских функций. Таким образом, раньше Фанар существовал в государстве, враждебном христианству, а теперь — в республике, которая не одобряет религию вообще. В современной Турции запрещено появляться в общественных местах в одежде священнослужителя. Исключение делается только для вселенского патриарха. Все остальные жители Фанара, выходя за пределы патриархии, должны одеваться в обычную одежду. Но даже в ней греческого священника с густой бородой легко узнать.

Пока мы беседовали, в дверях появился священнослужитель и объявил, что его святейшество готов нас принять. Вслед за великим еkkлeзиархом и великим логофетом я прошел через галерею комнат в небольшое помещение, где было полно епископов. Они

расступились, и я увидел сублильного пожилото человека, сидевшего за письменным столом с выдвигной крышкой. Я понял, что передо мной Вениамин I, патриарх Нового Рима. Он был в черной рясе, с прекрасным наперсным крестом и в калемаукионе, высокой митре православного священнослужителя. Я склонился над худой рукой в кольцах. Потом меня представили членам синода. И снова как будто бы зазвучали фанфары: такие пышные титулы произносились только во дворцах последних цезарей. Здесь были хартофилакс — архивариус, экономист, ведающий финансами, рефендарий — секретарь, протекдикос — арбитр, гипогонатон, в обязанности которого входит облачать патриарха, гипомимнескон — принимающий петиции, дидаскал — толкующий Евангелия и многие другие.

Видя перед собой эти тени Византийского императорского двора, испытываешь странное чувство. Человек внизу, в переулке, торгует хлебом, а могущественный правитель сидит за столом с выдвигной крышкой. А ведь собравшиеся, чтобы внимать ему, думал я, по рангу равны людям, которые собираются, чтобы слушать папу и кардиналов священной коллегии.

Меня поражает жизнеспособность институтов, основанных на вере. Потрясают громкие титулы, сохранившиеся даже теперь, когда мир, когда-то подаривший им их величие, канул в небытие. Но в этой комнате существовал микрокосм императорского двора Палеологов, который не исчез, как думают многие, со смертью последнего императора. Неудивительно, что султаны часто смещали патриарха внезапно, без всяких видимых причин! Сейчас я вполне мог себе представить, как султан, пробудившись от кошмарного сна, в котором видел, как рушатся минареты и вновь звонят колокола над Градом Божиим, внезапно осознает всю опасность

императорского двора в миниатюре, притаившегося в его столице.

На вопросы его святейшества об Англии я отвечал автоматически, и тем не менее они разбили лед отчуждения. Наш разговор получился более непринужденным, чем мог бы, если бы я только что не проехал по Малой Азии, посетив места миссионерских походов святого Павла. Так что, в отличие людей на обычной аудиенции, мы нашли о чем поговорить.

После аудиенции члены синода повели меня смотреть два единственно интересных места в Фанаре: сокровищницу и церковь. Я заметил, что здания, в которых помещается патриархия, больше, чем кажутся с улицы, и связаны друг с другом внешними лестницами. Нечто похожее я видел в одном из монастырей Афона. Мы поднялись по лестнице в комнату с надежной противопожарной защитой и крепкими дверьми от грабителей. Отыскав человека, у которого были ключи, мы вошли. Один из епископов включил свет, и мы увидели богатейшую коллекцию облачений, митр, посохов, футляров для Евангелий. Многие из них были очень древние и очень красивые. Все хранились под стеклом. Мне показали предметы, спасенные от разграбления Святой Софии в 1453 году. Теперь их используют во время литургии.

Затем мы спустились к церкви Святого Георгия. Патриархи обосновались в ней только в 1603 году. В силу разных обстоятельств, как правило малоприятных, они кочевали из одной церкви в другую. В этой церкви нет ничего выдающегося. Она была перестроена в 1720 году.

Мне показали сокровища, потом — столб бичевания, перенесенный, как сказали сопровождающие, из церкви Святых Апостолов, разрушенной в Средние века; затем — мощи святого Ефимия, третьего патриарха константинопольского, скончавшегося в 515 г. н. э.

Увидел я и патриарший престол — кресло, украшенное резьбой по кости, принадлежавшее, как меня уверяли, святому Иоанну Хризостому. Полагаю, что специалист датировал бы изготовление престола не ранее чем XV веком, но кто знает! Такие кресла чинят и реставрируют из века в век, и если после всех реставраций и починок сохранится хоть одна планка от первоначального изделия, то их продолжают называть по именам первых владельцев.

Епископы и священники проводили меня до ворот Фанара, где мы и распрощались. Я заметил, как опасливо они смотрят на улицу, как стараются ни в коем случае не заступить порог. Человек в облачении священника, как и человек в феске, появляясь на улице, нарушает турецкие законы.

Я покинул территорию его святейшества Вениамина I, архиепископа Константинополя — Нового Рима, вселенского патриарха.

ГРЕЦИЯ

Глава первая

Кавалла

Знакомлюсь с рыбным рынком Каваллы, осматриваю мемориал героям Балканских войн, посещаю место, где святой Павел ступил на сушу, прибыв из Малой Азии, узнаю о церкви Святого Николая.



Было раннее утро, но солнце уже довольно сильно грело. Судно стояло на якоре. Вода вокруг была, как зеленое стекло. Взглянув на берег, я увидел красный с

белым городок у подножия холма. Высокая скала выдавалась в море. Дома теснились на террасах, которые чем выше, тем становились уже. На вершине холма высились башни и стены древнего замка. Этот окруженный морем утес соединен с холмами на заднем плане двумя дугами римского акведука. Такова Кавалла, во времена святого Павла — греческая колония Неаполис. Именно в этом небольшом порту апостол впервые ступил на землю Европы.

В те времена это был почти остров, защищенный от палящего солнца холмом, на котором стоял храм, построенный по образу и подобию Афинского Парфенона. В нем хранилась статуя Венеры Неаполитанской. Флот Брута и Кассия стоял в бухте во время битвы при Филиппах. Брут велел похоронить тело Кассия на чудесном маленьком острове Тасос в нескольких милях от Каваллы — чтобы не упал моральный дух войска.

Неаполис, который увидел Павел, когда попутный ветер пригнал сюда корабль из Трои, должно быть, очень напоминал ту Каваллу, которую ясным тихим утром увидел я. Храм исчез с вершины холма, его место заняла византийско-турецкая крепость, но белые квадратные домики с красными черепичными крышами, должно быть, так же толпились на террасах, и самые нижние отражались в воде, как отражаются и сегодня.

На горизонте — все то же. Дикие горы Македонии не изменились. Они встают из изумрудно-зеленого моря, поднимаются — гора за горой, тянутся на север — до границы с Болгарией всего тридцать миль. Далеко на юге почти теряется в знойном мареве продолговатый силуэт горы Афон.

Никакой отъезд не кажется таким окончательным и бесповоротным, как отплытие на берег в шлюпке. Когда путешественник видит, как гребцы снизу принимают его багаж, когда он готовится спуститься по опасному

трапу, он чувствует, как земля уходит из-под ног, как наваливается на него одиночество высаженного на необитаемом острове.

Двое гребцов запели, как только весла коснулись воды. Я не мог разобрать ни слова. Слова были греческие, а вот мелодия, я уверен, турецкая. Я ступил на берег, на маленький песчаный пятачок, где толпились смуглые босоногие носильщики. Другие сновали вверх и вниз по сходням, сброшенным с парусников, перетаскивали на спинах вязанки дров, привезенные с острова Тасос, и мешки угля с горы Афон. Все это грузили на осликов и везли в город.

В нескольких ярдах от порта — рыбный рынок, очень важное в жизни городка место. Как интересно разглядывать здешний улов! Рыбам, которых я здесь увидел, больше подошло бы плавать в аквариуме, чем отправляться на кухню. Каких тут только не было: и плоские разноцветные, и длинные, тонкие и серебристые... Целые подносы черных и зеленых осьминогов, которых любят по всему побережью Эгейского и Средиземного морей. Кальмары — мертвые, дряблые и некрасивые. Но самый зловещий вид был у красных устриц в больших, покрытых наростами раковинах. Заметив мой интерес к устрицам, услужливый продавец выбрал одну из самых жутких и с любезным поклоном протянул мне. Я невольно оробел, и тогда жестом заправского фокусника он достал нож внушительных размеров, выковырял устрицу из раковины и лихо проглотил ее.

Я обнаружил, что Кавалла, как многие другие прибрежные города этих мест, изнутри выглядит совершенно иначе, чем с моря. Новый город с многочисленными каменными пакгаузами тянется вдоль береговой линии, а старый теснится вокруг крепостного холма, представляя собой лабиринт грунтовых дорог и узких улочек.

К счастью, я познакомился с молодым археологом Георгом Бакалакисом. Его влюбленность в Неаполис согрела мне душу. Как мрачен был бы этот мир без пылких молодых людей, готовых снести десяток городских стен в поисках одной древней надписи! Он отвел меня в какой-то сарай, где в пыли, среди шныряющих крыс, лежало то, что осталось от мраморного города времен святого Павла.

Пока мы шли по городу, мой гид сообщил мне, что Кавалла — табачный центр Македонии. Табачный лист хранят на больших складах недалеко от гавани. Самый лучший сорт табака, до сих пор известный как «турецкий», выращивают именно в этом районе, а рабочие с табачных плантаций — единственные избиратели в Греции, поставляющие коммунистов в Афинский парламент.

В центре, в маленьком сквере — мемориал героев прошедшей войны. Это не бог весть какой оригинальный памятник: каменный кенотаф с взбешенным львом. Но меня очень заинтересовала надпись по-гречески: «Тем, кто погиб в 1912-1922 гг.»

И наши мемориалы, где выбито 1914-1918, напоминают о том, какими долгими были страдания. Но Македония пережила еще десять лет войны. Когда в 1912 году разразилась Первая балканская война, страна находилась под властью Турции. Когда турок выгнали, Каваллу захватили болгары; потом началась Вторая балканская война, в результате которой город стал греческим. В Первую мировую снова ворвались болгары, творили ужасные зверства, но в 1918 году греки вернули свои территории и в 1921 году перенесли боевые действия в Турцию.

Мы поднялись на вершину холма, и я разочарованно убедился, что дворец, казавшийся столь великолепным с моря, — всего лишь пустая скорлупка. На террасе, выходящей на море и остров Тасос, — закутанная в

материю конная статуя, скрываемая от чужих глаз уже много лет. Это великий Магомет-Али. Покойный король Египта Фуад обещал открыть ее, но так этого и не сделал.

Единственная туристская достопримечательность в Кавалле — дом, где в 1769 году родился Магомет-Али. Теперь это собственность правительства Египта, и оно держит там смотрителя в феске. Это интересный старый турецкий дом с забранными решетками окнами гарема и многозначительно скрипящими половицами. Я и не подозревал, что паша Магомет-Али, вице-король Египта, до тридцати двух лет был обыкновенным купцом и торговал табаком в Кавалле.

Спустившись с холма, мы вышли на небольшую площадь неподалеку от гавани, где под циновками, растянутыми на шестах, мужское население Каваллы, свободное от упаковывания табака, разгружало уголь, торговало рыбой, угощалось кофе и насаждало по мере сил турецкие обычаи, играя в триктрак. Скоро я понял, что, усевшись за столик под навесом, сразу же привлекаешь внимание мальчишек, хрипло кричащих «Loostro verneeki!» Какой-нибудь, воинственно ударив щеткой для чистки обуви о лоток с ваксой, болтающийся у него на шее, непременно бросается тебе под ноги. Вероятно, число греков, начинающих свой трудовой путь чистильщиками обуви, огромно.

Недалеко от причала находится греческая церковь. История ее забавна и поучительна. Когда-то она была посвящена святому Павлу, затем стала турецкой мечетью, и вот теперь снова сделалась христианской церковью, но уже святого Николая.

Настоятель, крупный бородатый грек, похожий на иудейского пророка, просиял, когда я сказал ему, что стыдно было Кавалле не назвать этот храм в честь святого Павла.

— Ах, как вы правы! — воскликнул он. — В старые добрые времена она так и называлась. Святой апостол Павел ступил на землю именно там, где она стоит, — на этом месте была гавань. Это позже море отступило. Пойдемте-ка со мной.

Он завел меня за церковь, в небольшой переулок, и показал круглую отметину на мостовой:

— Вы стоите на том самом месте, где святой Павел высадился на берег, прибыв из Малой Азии. Раньше здесь рос большой платан, — и дрогнувшим от гнева голосом он добавил: — Болгары спилили его.

— Но вы сказали, что когда-то церковь была посвящена святому Павлу. Почему же теперь она носит имя святого Николая?

Он ответил, что когда турки оставили Каваллу, понадобилась некоторая сумма денег, чтобы из мечети снова сделать христианский храм. Рыбаки согласились дать деньги, но они и слышать не хотели о том, чтобы церковь снова получила имя Павла. Христианские традиции здесь были разрушены веками мусульманского владычества, и святой Павел для местных рыбаков значил немного. Как и все греческие моряки, своим покровителем они считают святого Николая.

Кстати, святой Николай, помимо того что хранит моряков, детей, путешественников, торговцев, является еще и покровителем ростовщиков. Есть история, согласно которой один знатный человек из родного города святого Николая, Патары, разорился и не мог ничего оставить трем своим прекрасным дочерям. Святой Николай, узнав о его беде, пришел ночью и бросил ему в окно три мешка золота — достаточно, чтобы тот мог дать за дочерьми хорошее приданое. Золотые яблоки на изображениях святого — напоминание о тех самых трех мешках золота. И на вывесках ростовщиков — тоже золотые яблоки святого Николая.

Глава вторая Филиппы

В поездке на такси по Филиппийской равнине я нахожу стены города Филиппы.

Я нанял старое авто с ободранными пластиковыми бортами и отправился в путешествие за девять миль, по Филиппийским холмам. Дорога внезапно взмывает — неприступная и холодная гора Симболум отгораживает Филиппийскую равнину от моря. Симболум — часть древней Пангейской горной системы, и в античные времена славилась своими серебряными приисками. Дорога поднимается к вершине (высота 1670 футов), а потом спускается вниз, на огромную равнину, зеленеющую посевами и буреющую болотами, плоскую, как морская гладь. Дорога очень пыльная. Каждого, кто едет верхом, или в повозке, или идет пешком, сопровождает маленькое бурое облачко.

На этих широких равнинах, среди опасных болот, за сорок один год до рождения Христа пришел конец Римской республике: легионы Антония и молодого Октавиана разбили войска Брута и Кассия, и в честь этой победы здесь, на смертном ложе республики, основали колонию Филиппы.

Уверен, что каждый, кому в юные годы случилось сыграть какую-нибудь роль в школьной постановке «Юлий Цезарь», отнесется к Филиппийской равнине с особым интересом. Вот она, сказал я себе, реальность, которую мы в конце семестра тщетно пытались перенести на маленькую сцену около кабинета директора. Вот на этой обширной и пустынной равнине, так похожей на мое о ней представление, на этих болотах настоящие актеры исполнили свои роли в

величайшей трагедии и гибели. Мне показалось, что я слышу загробный голос Цезаря, которому так скоро предстоит погибнуть во Франции, предупреждающий меня в неверном свете рампы, что мы вновь увидимся в Филиппах...

Проехав около восьми миль, я остановился около небольшой гостиницы на правой стороне дороги, примечательной только тем, что в ее стену встроен римский памятник. Это громадный — около двенадцати футов высотой — надгробный камень. На нем выбиты имя и звание римского офицера, некоего Вибия. Пока я рассматривал надпись, из гостиницы вышел какой-то крестьянин и, заметив мой интерес, стал расхваливать камень и показывать мне, с какой стороны на него выгодней смотреть. Мне приходилось читать в «Македонском фольклоре» Дж. Ф. Эббота, что в народе еще помнят имя Александра Великого, но я не ожидал получить подтверждение этому так скоро.

— Что это за камень? — спросил я.

— Мы называем это место «кормушкой Буцефала», — ответил крестьянин.

— А что это за Буцефал? — спросил я, чтобы проверить, не просто ли он повторяет слова, как попугай.

— Буцефал — это конь Александра Великого, — сразу же ответил он.

Я попросил его рассказать мне о подвигах царя Александра, но он отрицательно покачал головой.

Проехав еще с милю, я добрался до конического холма с древней башней на вершине и не успел оглянуться, как оказался среди развалин города Филиппы. Современная дорога примерно совпадает с древней Виа Эгнатиа и протекает непосредственно через Филиппы. Развалины находятся на десять-пятнадцать футов ниже нынешнего города. Я поднялся на форум и увидел откопанные французскими

археологами фрагменты мраморных колонн, водосточные канавы, камни мостовой.

Единственное современное здание — домик сторожа на обочине. В остальном же город, который святой Лука с гордостью назвал «первым в Македонии», представляет собой пустыню, и его белые кости, освобожденные из-под слоя земли в десять футов, блестят на солнце.

Сторож вышел из своего домика и провел меня по мертвому городу. Больше всего впечатляют контрфорсы и ворота византийской базилики. До того как французы начали копать, видны были только руины этой церкви. Она стояла в чистом поле, одинокая, как межевой знак. Это был греческий храм, без сомнения посвященный святому Павлу. Сторож сказал мне, что местные называют его «дворцом Александра Великого».

Раскопав форум, поразились совершенству планировки. Дренажные рвы так хорошо сохранились с римских времен, что и сейчас выполняют свою функцию — в них набирается вода в дождливое время года. По ступеням с форума вы можете подняться на более высокие уровни и взглянуть на мраморные полы и основания колонн, оставшиеся от великолепных общественных зданий и храмов.

Везде камни с надписями там и лежат, где их откопали. Одна из них, на которой трудно что-либо разобрать, похоже, разъяснила ученым, кому посвящен храм; другие же, на могилах простых смертных, позволяют сделать вывод, что в Филиппах до глубокой старости не доживали. Поблизости от форума, рядом друг с другом, находятся два захоронения — Кассия Гемеллы и Антония Александра, умерших в возрасте двадцати пяти лет; и еще одно — Веллея Платона, умершего в тридцать шесть лет, успев позаботиться о гробнице для себя и своего родственника, судя по всему врача.

Самая интересная надпись — тринадцать строчек по латыни. Они такие четкие, как будто выбиты рукой каменщика только что, а не столетия назад. Сказано, что статуя воздвигнута воинами под командованием Татиния, начавшего свою военную карьеру рядовым в пехоте и дослужившегося до центуриона.

По заговорщическому виду, с которым сторож подвел меня к развалинам одного дома, я понял, что он собирается показать мне самую драгоценную реликвию. Он взял метлу, убрал несколько дюймов песка, и обнажился фрагмент красивейшего мозаичного пола, сложенного из маленьких красных, белых и черных тессер^[20].

Он еще немного поработал метлой — и я различил на полу изображения башен, арок, ворот, зубчатых стен.

— Стены города Филиппы! — патетически воскликнул он.

Я вспомнил, с какой гордостью святой Лука называет Филиппы «первым городом Македонии». Человек, которому давным-давно принадлежал этот дом, тоже гордился родным городом и украсил пол своего жилища изображением его башен и стен.

Сторож, убедившись, что я все разглядел, снова засыпал мозаику песком, и даже не надо было обладать очень живым воображением, чтобы метла его превратилась в косу, а сам он — во всемогущее Время.

Я бросил прощальный взгляд на развалины. Многие поколения выросли здесь и были убраны, подобно колосьям пшеницы, и не оставили после себя следа, кроме этой отметины на равнине. Но слова Посланий святого Павла к Филиппийцам так же горячи и полны жизни, как в те времена, когда по Виа Эгнатиа ездили скрипучие повозки, а пустынные сейчас улицы были шумными и оживленными.

Мы подъехали к железнодорожной станции Драма. Этот пыльный македонский городишко показался мне

краем земли. Несколько солдат, возвращавшихся домой из отпуска, сидели в кафе под навесом, и упорный армянин пытался продать им ковер.

Я тоже сел за столик и в ожидании поезда на Салоники два часа пил турецкий кофе — чашку за чашкой, и поглощал рахат-лукум — кубик за кубиком.

Горы постепенно изменили цвет. К станции подъезжали верхом люди, и каждого окружало облако серой пыли. И вот уже прибыл, отдуваясь, грязный состав.

Глава третья

Салоники

Останавливаюсь в Салониках, родном городе Кемаля Ататюрка. Осматриваю старый и новый город. Встречаю похоронную процессию и отмечаю большое количество вывесок на иврите.

Салоники находятся примерно в семидесяти милях от Филиппов, если ехать строго по прямой. Святой Павел добрался до них за три дня по Виа Эгнатиа, проходившей через Амфиполис и Аполлонию, два города, теперь исчезнувших с карты. Поезд, петляя между горами к западу от Драмы, проезжает, чтобы добраться до того же пункта, примерно сто пятьдесят миль. Дорога крутит, огибая крупный горный массив Бешик-Даг, на самой высокой вершине которого снег лежит до середины лета. Ее называют здесь Пилаф-Тепе — считается, что она похожа на блюдо с рисом.

Поезд пересекает долину реки Струм, бежит мили и мили вдоль подножий болгарских гор, совсем рядом с Югославией. Вообще-то, граница между Македонией и Югославией проходит по воде, по озеру Дойран. Две страны делят водоем пополам. Наши войска удерживали Дойранский сектор более двух лет, ведя тяжелые бои и поднимаясь все выше в горы. В этих холмах не одно военное кладбище.

В Салониках мне предоставили комнату с ванной, что в тот момент показалось верхом роскоши. Номер был с балконом, с которого сквозь переплетение телеграфных проводов я мог любоваться кораблями в гавани.

Очарование моего жилища состояло еще в том, что вода действительно лилась из крана, что на звонок отвечали, что существовала связь между выключателем и светом, а также между шторой и шнуром.

Отправившись утром на прогулку по Салоникам, я увидел город, который в древние времена, вероятно, был очень изысканным. Он стоит на холме, у голубого залива, за ним громоздятся горы, а далеко на юге из моря встает покрытая снегом вершина фессалийского Олимпа. Современные Салоники — это сразу два совершенно разных города. Новый был построен в низине по европейским стандартам. С ним покончил большой пожар 1917 года. Старый, турецкий город избежал пожара, потому что он взбирается вверх по склону холма. Он защищен мощными византийскими стенами с воротами и квадратными башнями. Единственные достопримечательности: арка Галерия — под ней проходит главная улица, и византийские храмы, благодаря которым для изучающих архитектуру и мозаику Салоники представляют не меньший интерес, чем Стамбул.

Самую интересную из этих церквей, посвященную Святому Димитрию, покровителю Салоник, поглотил огонь. К счастью, несколько самых красивых мозаик не пострадали. В 1919 году в восточном конце этой церкви обнаружили склеп IV века. В нем нашли круглую мраморную крестильную чашу, поддерживаемую колоннами. Здесь же захоронены тела четырех епископов, облаченные в подобающие сану одеяния. К несчастью, когда могилы открыли, тела рассыпались в пыль. Рабочий отвел меня в барак подрядчика, где среди черепков лежали уцелевшие металлические украшения. Я посмотрел на пряжку от пояса, на фрагменты византийской эмали и подумал, что если спешно не отдать эти вещи в музей, они легко могут вскоре

оказаться в кармане какого-нибудь случайного посетителя.

Старый город — лабиринт узких кривых улочек, с деревьями, торчащими в неожиданных местах, мечетями, заброшенными с тех пор, как по Лозаннскому договору отсюда выдворили турок, оставив Салоники грекам, армянам и испанским евреям. Когда светит солнце и дороги сухие, Салоники смотрят гордо; но стоит солнцу скрыться или, еще того хуже, пойти дождю, старый город становится просто скоплением плохо построенных, запущенных и неопрятных хижин.

На одной из улиц, круто поднимающейся к старому городу, на стене скромного маленького домика над лавкой горшечника я увидел доску. На ней написано, что именно здесь появился на свет Мустафа Кемаль Ататюрк. Надписи сделаны по-французски, по-гречески и по-турецки. Немного выше по той же улице я повстречал весьма примечательную похоронную процессию. Люди шли, раскачиваясь из стороны в сторону, вниз по улице, вымощенной булыжником. Впереди с торжественным пением шествовали два греческих священника. Человек во главе процессии нес крышку гроба, сзади ехал черный катафалк с открытым гробом, в котором лежало тело молодой женщины. Зрелище было тягостное, но, казалось, никого здесь не удивляло. Разве что дети прервали свои игры, да несколько мужчин сняли шапки, когда гроб проносили мимо них.

Мне говорили, что обычай нести гроб на кладбище открытым все еще соблюдается в сельской местности, но Салоники — довольно крупный город. Обычай восходит ко временам турецкой оккупации и соблюдался везде, пока Греция не вернула себе независимость. Турки, зная, что греки иногда имитируют похороны, чтобы контрабандой пронести оружие и амуницию,

издали закон, запрещающий хоронить умерших в закрытых гробах.

Студент, с которым я познакомился в Салониках, рассказал мне кое-какие подробности греческого похоронного обряда. В комнате усопшего три дня горит свеча: считается, что душа может блуждать где-то три дня, но потом возвращается в знакомые ей по земному существованию места.

— Около свечи еще кладут особый пирог, — сказал он, — намазанный медом.

Я вспомнил про кувшины с медом на погребальном костре Патрокла. Без сомнения, многие подобные ритуалы восходят к глубокой древности.

По прошествии трех лет останки выкапывают из земли. Жуткая на наш западный взгляд церемония, но греки придают ей большое значение, хотя и приступают к ней не без страха. Неподверженность останков порче, которая на Западе всегда считалась признаком святости усопшего, вызывает в Греции ужас и отвращение. Это означает, что на умершем лежит проклятье или что он сделался вампиром и, значит, злой дух следует торжественно изгнать, а тело расчленить. К счастью, такое случается нечасто. Родственники покойного несут на кладбище вино, но не для того, чтобы выпить его, а чтобы омыть в нем кости усопшего прежде, чем сложить их в деревянный ящик. На каждом греческом кладбище есть специальное здание для таких ящиков. На церемонии присутствует священник, который в том случае, если тело не разложилось, освобождает душу умершего от проклятия.

Приезжего поражают в Салониках газеты и вывески на иврите. Здесь, около порта, огромная еврейская колония. Но мне сказали, что она уменьшилась с тех пор, как город отошел к грекам. В турецкие времена Салоники часто называли еврейским городом. Однако

здешние евреи — это совсем не тот народ, который жил во времена Нового Завета. Это сефарды, они говорят на ладино — искаженном испанском. Они обосновались в Салониках после изгнания из Испании Фердинандом и Изабеллой.

Я пытался отыскать в Салониках хоть что-то напоминающее об авторе Посланий к Фессалоникийцам. Есть улица, ведущая вверх, в старый город, — ее название в переводе означает «улица Святого Павла». На вершине холма, среди кипарисов, стоит монастырь Влатадон, уютная постройка, говорят, тоже имеющая отношение к апостолу. Считается, что, придя из Филипп в Фессалоники, Павел посетил дом в этой части старого города и во дворе преклонил колени, чтобы помолиться. Это место отмечено круглым куском фессалийского мрамора — черный камень в центре белого креста. Не знаю, впрочем, достаточно ли древняя эта история.

Монастырь не очень старый, и я не смог найти никого, кто рассказал бы мне, какая церковь стояла на этом месте до него. Построили его братья Влата с острова Крит в XIII веке. Этот монастырь единственный, который пощадили турки в 1430 году, потому что монахи предложили научить их, как захватить Салоники, в обмен на обещание защищать их и уважать их права, когда город будет взят. Они сказали, что единственный способ сломить защитников города, — это перерезать водопровод, питающий весь город водой с горы Хортиати. Турки последовали разумному совету, и город был вынужден сдаться. Но население так возненавидело монахов, что предателей пришлось защищать, и султан оставил в монастыре турецкого воина — чауша. С того времени за Влатадоном закрепилось название «монастырь Чауш».

За муниципальной больницей есть маленькая часовня Святого Павла. Легенда гласит, что, когда апостола изгнали из Фессалоник, он провел одну ночь

здесь, за стенами древнего города, и что из пролитых им слез возник источник со святой водой.

Глава четвертая

Афины

По дороге в Афины во время стоянки судна посещаю Фермопилы. На закате морем прибываю в Афины. Останавливаюсь в отеле и знакомлюсь с жизнью современного города, вспоминая его историю. Посещаю Акрополь, люблюсь статуями кор. В таверне вместе с греками пью за Байрона.

1

Мы вошли в узкий канал со стоячей, как в деревенском пруду, водой, лежащий между двумя грядами холмов. На поверхности воды не было даже ряби. Она напоминала пленку разлитого растительного масла. Вода кишела бесчисленными желтыми медузами, передвигавшимися зловецим и отталкивающим способом — втягивая в себя, а потом выбрасывая воду. Таков Ламийский залив, где наш корабль простоял несколько часов у деревянной пристани маленького городка под названием Стилис.

Я сошел на берег, нанял около пристани старый автомобиль, и меня отвезли в Фермопилы. Когда в Грецию приходит настоящее лето, жара стоит ужасная. Люди, как мертвые, лежат под оливами; домашние животные скорбно стоят в тени ближайших стен, ожидая захода солнца. Зеленые холмы становятся бурыми. Цветы засыхают. Земля трескается от зноя. Над раскаленными белыми камнями в лощинах нависают высокие и совершенно бесполезные в это время года

мосты, а над всей этой беспомощной землей — небо, по которому, кажется, больше никогда не пробежит даже тень облачка.

Фермопилы выглядели как соляная пустыня Аризоны. Горячий воздух дрожал над равниной, усеянной холмиками пожухшей травы. Теперь трудно распознать знаменитое ущелье, которое Леонид и тысяча греков защищали от персидской армии. Может быть, я нашел бы его в прохладный весенний день, но в тропический полдень задача казалась мне непосильной. Землетрясения изменили рельеф, и река Сперхей нанесла столько ила, что образовалась широкая равнина между горами и морем. Сегодня в Фермопилах нет такого препятствия, которое батальон горцев не смог бы обогнуть за полчаса. Но побывать здесь стоило хотя бы затем, чтобы просто увидеть знаменитый холм, где царь Леонид и его воины пали один за другим, пронзенные стрелами мидян; хотя бы для того, чтобы через годы напомнить себе, что вы несколько минут постояли там, где спартанский воин Диенек произнес бессмертную фразу. Диенеку сказали:

— Врагов так много, что когда они начнут стрелять, их стрелы закроют солнце.

И Диенек ответил:

— Что ж, тем лучше. Значит, будем сражаться в тени.

Я отправился к серным источникам, которым Фермопилы обязаны своим названием^[21]. День был такой жаркий, что над ними даже пар не поднимался, и пахло здесь, как на курорте Харрогит. Под пологом побуревших от солнца виноградных листьев я пил вино с деревенскими жителями. Потом, собравшись с духом, снова вышел на жару и отправился назад в Стилис, к своему кораблику.

Пока мы шли на нем узким каналом между материком и островом Эвбея, опустилась ночь. А рано

утром я разглядел Марафон.

Сначала я увидел маленькую бухту и плоский берег, а за ним холмы. Где-то там полегли от персидских стрел афиняне. С холмов спустились десять тысяч афинян против сонмищ Дария и потеснили их к югу, к их кораблям. В этой самой бухте брат великого Эсхила Кинегир ухватился за борт вражеской галеры правой рукой; когда ее отсек саблей персидский воин, он ухватился левой; а когда отсеки и левую, вцепился в борт зубами. Марафонский холм раскопали в прошлом веке и, кроме обуглившихся костей, увидели там черепки посуды и другие предметы, более двух тысяч четырехсот лет назад положенные в могилу вместе с мертвыми.

Корабль подошел к скалистому мысу Сунион. За величественным утесом были серебряные рудники Лауриума — на добытое здесь серебро построили флот, разбивший персов при Саламисе. Когда мы обогнули мыс, нам открылся потрясающий вид. Именно этот пейзаж — мое лучшее воспоминание о Греции.

Высоко на утесе — белые руины. Это все, что осталось от храма Посейдона на мысе Сунион, в самой южной точке Аттики. В древние времена моряки, следуя из Малой Азии или Египта, ждали, не сверкнет ли в лучах солнца храм Суниона. Его построили, чтобы умиловить Посейдона, бога морей, который, как считалось, готовит злую судьбу всем кораблям, минующим мыс.

Когда корабли, следовавшие на запад, проплывали мимо храма Посейдона, моряки смотрели на холмы — ждали, когда покажутся Афины. И наконец замечали золотую вспышку на шпиге Акрополя. Чужим объясняли, что должен показаться наконечник копья бронзовой статуи Афины Промехос, чей шлем возвышается над сандалиями на семьдесят футов. Эта гигантская статуя продолжала стоять еще долго после того, как слава

Афин обратилась в прах. Король готов Аларих увидел ее в IV веке от Рождества Христова — и, говорят, развернул свой корабль и бежал.

Нет слов, чтобы рассказать о первом впечатлении от Афин. Вот корабль пересекает Фалернскую бухту и подходит к Пирею. Это один из лучших моментов путешествия.

Солнце садится за остров Эгина. Последние его лучи освещают склоны горы Гиметт. Милях в пяти от моря, на небольшом возвышении, раскинулся большой город с бежевými и белыми домами, и в центре его, так же высоко, как в Шотландии скала с замком Стерлинг, вздымается темный холм. Я сразу понял, что вижу перед собой Акрополь. Я уже различал колонны Парфенона.

Теперь, даже если Афины разочаруют меня, даже если окажутся жалким городом с громким именем, — я видел Акрополь, освещенный вечерним солнцем. Я увидел его именно таким, каким всегда представлял его себе: гордым, древним, величественным.

Не успел я утром ступить на берег и отойти на несколько шагов от пристани, как на меня набросилась толпа смуглых людей. Некоторые предлагали губки, другие — коробки с рахат-лукумом. Кому-то из них казалось, что я похож на человека, желающего приобрести куклу в форме эвзона — греческого гвардейца, другие предлагали почтовые открытки с видами Акрополя и ужасные гипсовые статуэтки Венеры Милосской. Все они очень громко кричали и сами, без каких-либо сигналов с моей стороны, быстро снижали цены от пятидесяти до сорока, тридцати, двадцати драхм. Те, что ничего не пытались продать, предлагали свои услуги в качестве гидов — найти самый лучший автомобиль, который домчит до Афин, и показать мне город.

Я смотрел на этих людей если не с удовольствием, то, по крайней мере, с пониманием. В наш век, столь богатый подделками, они были восхитительно настоящие и могли бы составить толпу и во времена Аристофана.

Я чувствовал себя костью, из-за которой дерется стая голодных собак, однако сохранил достаточную степень отчужденности, чтобы подумать: быть может, умытая, причесанная и уложенная красивыми складками Греция сэра Лоуренса Альма-Тадемы^[22] существовала только в воображении викторианского романтика, искавшего в Афинах Перикла того, чего ему не хватало в Шеффилде королевы Виктории. Еще я подумал, что, пожалуй, во все времена прибывавшего в Грецию встречали именно так, как встречают меня. Лицин в «Любовных элегиях» Лукиана говорит, что как только он ступил на Родос, «подбежали двое или трое жаждущих за скромную плату рассказать мне историю острова...»

Освободившись наконец от непрошенных гидов, я сел в первую попавшуюся машину и попросил водителя отвезти меня в Афины. Скоро мы оставили Пирей позади и, обогнув Фалернскую бухту с гидропланом компании «Империял эйрвейз», выехали на прямую дорогу к Афинам, до которых оставалось пять миль. Дорога проложена там, где когда-то была одна из Длинных стен Фемистокла — северная. Южная и северная Длинные стены в древности связывали Афины с побережьем. Когда мы были примерно в миле от города, показался Акрополь в утреннем сиянии, и это было самое величественное зрелище на свете.

Мы выехали на широкие прямые улицы современного европейского города — с хорошими магазинами, зелеными трамваями, ярко-зелеными омнибусами, автомобильной давкой, столиками кафе, расставленными прямо на тротуарах, газетными

киосками, городскими парками, где растут экзотические деревья и немецкие няни чинно прогуливаются с детьми, и, конечно же, на площадь Конституции, сердце современных Афин. Под ее вечнозелеными перечными деревьями современные афиняне с присущей грекам страстностью обсуждают последние политические новости.

У моего отеля оказалась плоская крыша — на нее можно было выйти, так что мне удалось посмотреть на Афины с высоты. Над городом доминирует скала с Акрополем. Со своей смотровой площадки увидел я и поросшую лесом гору Ликабет — укрощенный, одомашненный афинский вулкан. Честно говоря, меня поразили размеры Афин. А ведь этот большой город построили за какие-то сто лет.

Как странно сознавать, что Афины, столь знаменитые в древности и столь сильные сейчас, практически отсутствовали в истории со времен Павсания (II век) до наших дней. Ничего не известно о византийских Афинах, латинских Афинах, турецких Афинах. Этот могучий античный город просто исчез, чтобы вновь родиться в 1675 году турецкой деревушкой.

Первым англичанином, выразившим желание увидеть Афины, был Джон Мильтон, но осуществить мечту не удалось. Он отправился было в Грецию, но тут в Англии разразилась гражданская война, и он вернулся, поскольку «считал, что низко было бы как ни в чем не бывало путешествовать за границей, когда дома сограждане сражаются за свободу».

Первый англичанин, который действительно исследовал древние Афины и даже произвел некоторые измерения Парфенона, был Френсис Вернон, лондонец. Он родился в 1637 году и был наделен «ненасытным желанием наблюдать». Из-за такой любознательности он однажды попал в плен к пиратам, и его продали в рабство. В сорок лет Вернон был убит арабами в Персии

в драке из-за перочинного ножа. Записки об Афинах он послал другу в Англию, и думаю, они являются достоянием Королевского географического общества. Насколько мне известно, они не публиковались.

Самое раннее из опубликованного на английском написано сэром Джорджем Уэлером, который в 1675 году провел месяц в турецких Афинах. Его книга «Путешествие в Грецию» вышла в свет в 1682 году. Это удивительная и очень ценная книга, потому что ее автор, настоящий ученый и внимательный наблюдатель, дал завораживающее описание страны, до той поры не известной англоязычному читателю и не исследованной английскими учеными. Уэлер пишет, что Парфенон превращен в турецкую мечеть. Рядом с ней построили минарет, и ученый побывал на его вершине. В храме Ники Аптерос тогда хранили порох, а в Эрехтейон Уэлер вообще не смог попасть, «потому что один турок поселил там свой гарем».

В Афинах в то время жили примерно восемь-десять тысяч человек: три четверти — христиане, остальные — турки. Город не был обнесен стенами, но самые удаленные от центра дома стояли так плотно друг к другу, что служили своеобразными стенами. Ворота на ночь закрывались. Даже в те времена пираты так часто наведывались в город, что охрана всю ночь патрулировала Акрополь, громкими возгласами давая знать о своей бдительности.

Турки, несмотря на общепринятое мнение о них, оказались весьма толерантным и легким в общении народом, и Уэлер насчитал около двухсот христианских церквей, в пятидесяти из которых регулярно шли службы.

Его шокировало количество краски, которое наносили на лица греческие женщины. Он пишет, что они «весьма изящно одеты, но так жутко накрашены, что под толстым слоем краски трудно определить их

истинный цвет лица». Еще он замечает: «Когда девушку выдают замуж, ее приводят в церковь одетой настолько роскошно, насколько богаты ее родители, но лицо ее так намазано жирным гримом, что трудно определить, является ли она женщиной из плоти и крови или гипсовой статуей. Она приходит из церкви в дом мужа с большой позолоченной короной на голове, в сопровождении гостей и близких родственников. Они извлекают из дудок и барабанов музыку, которую способны извлечь. Новобрачную ведут так медленно, что еле заметно, что она вообще передвигается. Когда она наконец входит в дом мужа, из окон в толпу собравшихся около дома бросают мелко нарезанные засахаренные фрукты».

Пристрастие афинских женщин к яркому макияжу поражало всех ранних путешественников. Эта мода представляется мне интересной — вероятно, она пошла от античных и византийских времен. Классическая литература полна упоминаний о красках для век и ресниц, румянах и свинцовых белилах, которые были в ходу у афинянок.

Между исследованиями Уэлера и свидетельствами путешественников и ученых XVIII века — пропасть. Начиная со Стюарта и Реветта в 1751 году, англичане почти неосознанно готовили своих специалистов по классической филологии к борьбе за независимость Греции, которая развернется в следующем столетии. Стало принято идентифицировать современных греков с древними героями книг, прочитанных в отрочестве. «Афинские древности», четыре толстых тома Стюарта и Реветта, дают великолепное представление о городе, каким он был в период турецкого владычества.

Акрополь представлял собой лабиринт турецких улочек и садов. В тенистых уголках турки в тюрбанах и струящихся одеждах практиковались в стрельбе из лука и верховой езде. Когда Уэлер видел Парфенон, крыша

была еще цела. Но в 1687 году в нее угодили снаряды венецианского флота, порох загорелся, погибло триста турок. Потом крышу сорвало, а многие колонны были разрушены. Что характерно, турки не восстановили Парфенон, а построили вместо него мечеть. Эрехтейон, который уже не был турецким гаремом, как во времена Уэлера, представлял собой руину без крыши. Одной кариатиды не хватало. На Акрополе, судя по отметинам на здании, осело столько земли, что кариатиды всего лишь на два фута возвышались над улицами, так что почти половина храма находилась под землей.

В следующем столетии стало модно ездить в Афины. Байрон впервые увидел Грецию в 1809 году — более чем за десять лет до войны за независимость. Тогда ему было двадцать два года, и он путешествовал по Европе со своим приятелем по Кембриджу Джоном Кэмом Хобхаузом, впоследствии лордом Бротоном. Хобхауз оставил записки об этом путешествии — большой том под названием «Путешествие через Албанию и другие турецкие провинции в Европе и в Азии». Впечатления Байрона нашли отражение во второй песне «Чайлд-Гарольда». Двое друзей увидели все то, что и их предшественники, но еще, к ярости Байрона, — людей лорда Элгина, спокойно снимавших с Парфенона метопы и грузивших их на английское судно. Много плохого сказано, и возможно справедливо, о поведении лорда Элгина в Греции, но если сравнить два набора слепков, хранящихся в Британском музее, — снятые со скульптур Парфенона по приказу лорда Элгина, и другие, снятые пятьюдесятью годами позже, — то нельзя не согласиться, что уже в те времена износ фриза был довольно значительным. К тому же, не купи лорд Элгин у турок скульптуры Парфенона, они, конечно, продали бы их кому-нибудь другому.

Война за независимость в Греции началась спустя одиннадцать лет после приезда Байрона, но турецкий

гарнизон покинул Афины лишь в 1833 году. В 1834-м было решено сделать Афины столицей независимого греческого королевства.

Пригласили немецкого архитектора Эдуарда Шауберта, и он спроектировал широкие улицы, площади, бульвары. Так Афины, которые еще в 1834 году были деревней с населением пять тысяч жителей, в 1936 году стали городом с населением более четырехсот пятидесяти тысяч.

2

Я часами сидел на площади Конституции, этой агоре современных Афин, слушая, как греки обсуждают свою извечную тему — политику. Несмотря на примесь балканской крови, основные национальные черты грека остались прежними. Кажется, Демосфен изобразил греков шумящими на агоре, непрерывно задающими друг другу вопросы «Что нового?» или «Какие последние новости?» Те же вопросы звучат и теперь, стоит афинянам собраться в кафе на площади Конституции.

— Так что новенького?

Головы в черных фетровых шляпах, многочисленные газеты, которые немедленно отбрасываются, стоит появиться мальчишке с последними новостями подмышкой и восторженно выкрикнуть: «Ephemerides!»^[23]

Одна сторона площади занята огромным желтым чудовищем — дворцом короля Отто, где теперь помещается парламент. Эвзоны в албанских костюмах — жестко накрахмаленные белые килты, вышитые куртки, шерстяные чулки, красные туфли с загнутыми носами и помпонами — живописно опираются на свои винтовки, стоя в карауле у могилы Неизвестного солдата. Почувствовав, что их фотографируют, эти симпатичные

молодые парни инстинктивно принимают героические позы. Они, как и стража Уайтхолла, уже привыкли к этому.

Первое, что замечает приезжий в Афинах, это чистый воздух. Плутарх где-то говорит о воздухе, похожем на шелковую пряжу. Шелковый воздух заполняет Афины, одновременно приятно волнуя и создавая атмосферу уюта. В афинском воздухе разлито сияние счастья, он прогоняет плохое настроение и депрессию.

Не будем слишком педантичными — язык Аристофана идет в ногу со временем. Кругом реклама шоколада, сигарет, автомобильных шин... На двери вижу вывеску дантиста ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, а развернув афинские газеты, обнаруживаю, что ученики Асклепия, в отличие от своих британских коллег, не брезгают саморекламой. Киноафиши демонстрируют, что Греция обогатилась новыми героями. После некоторого замешательства догадываюсь, что ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ — это Марлен Дитрих; имя Греты Гарбо выглядит не менее замысловато — ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΝΟ; несколько минут у меня уходит, чтобы привыкнуть, что ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΙΜΠΛ — это Кларк Гейбл. Высоко на рекламном щите красуется слово ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ — граммофон. Оно — как вернувшийся на родину Одиссей.

Хорошо сидеть среди этой веселой, щебечущей толпы, смотреть и слушать. Иногда и слушать не обязательно, потому что греки все могут сказать жестами. Это всем известно. Разве можно лучше выразить недоверие, неприязнь, предупреждение? Человек зажимает правый лацкан пиджака между двумя пальцами и тихонько, почти незаметно, тербит ткань — туда-сюда, приговаривая при этом: «па-па-па-па». А жест, которым показывают, что все замечательно, превосходно, великолепно? Правая кисть — на уровне плеча, из большого и указательного пальцев сделано кольцо, ладонь обращена к лицу собеседника, и рука

несколько раз очень энергично и решительно опускается — работают только кисть и предплечье. А вот жест, изображающий богатство, изобилие, — открытая правая ладонь черпает воздух, как будто подгребает золото собеседнику. На площади Конституции, думаю, царят такие же праздность и веселье, какие царили на афинской агоре во времена Перикла.

Мне кажется, что в Греции богатые и бедные общаются чаще, чем в любой другой известной мне стране. Здесь нет титулов (кроме разве что нескольких венецианских, которые еще в ходу на Ионийских островах), нет элиты. Маленький чистильщик ботинок (шарканье их щеток — один из характерных афинских звуков) отвлечется на миг от тужель политика и, как равного, спросит его:

— Что вы думаете о политической ситуации?

Возможно, политика или офицера вопрос позабавит, он едва заметно улыбнется, но ответит вполне серьезно, как ответил бы собственному сыну.

Не много найдется государств, в которых члены правительства были бы так доступны для всяких просителей и других расхитителей времени. В других странах целая армия секретарей готова преградить дорогу к двери министра. В Греции это не сработает. Каждый, у кого есть какая-то проблема, считает своим святым правом лично переговорить с человеком, способным ее решить. Не знаю, является ли это врожденное демократическое чувство наследием Древней Греции, но это было первое, что меня поразило в этой стране. Удивительно, но когда человек, толкающий перед собой тележку с дынями, угрожает, что пожалуется премьер-министру, это, возможно, не пустые угрозы.

Георгий I, дедушка правящего ныне короля, прекрасно понимал эту сторону греческого характера. Он любил заговорить с кем-нибудь на улице. Однажды,

встретив пламенного республиканца, король спросил его:

— А вы по-прежнему хотите меня повесить?

— Разумеется, ваше величество, — ответил его собеседник. — Пока вы сидите на троне. Но если вы отречетесь от престола и станете республиканцем, я буду вам лучшим другом.

Разумеется, в греческом языке есть специальное слово для обозначения этой черты национального характера: *atomistys* — личность, индивидуальность. Каждый грек, пусть даже самого низкого происхождения, больше всего на свете дорожит и гордится своей *atomistys*. Разумеется, такой страной очень трудно управлять, но склонность греков свободно и независимо выражать свое мнение, отсутствие какого бы то ни было низкопоклонства бедных перед богатыми очень располагают к этому народу.

Каждый грек хочет жить в Афинах. Таким образом, здесь нет деревенской жизни, такой, например, как в Англии. Крестьяне есть, но нет землевладельцев. Нет загородных домов, как в Англии, замков, как во Франции, поместий, какие когда-то существовали в Испании.

Мечта обычного грека — сидеть в афинском кафе и читать газеты. По приблизительным подсчетам каждый грек прочитывает по десять газет в день. Так обстоит дело в Афинах и, я уверен, так же обстояло бы и в других областях Греции, если бы только где-нибудь за пределами столицы можно было достать десять наименований газет.

— Почему у вас по радио так плохо освещают политические новости? — спросил меня один грек. — Когда мне удастся поймать Лондон, о чем говорят? О крикете! О футболе! Вы что, больше ни о чем не думаете? Чтобы узнать английские политические новости, мне приходится ловить Берлин или Рим.

— Поймите: крикет и футбол в моей стране занимают то место, которое занимает политика в вашей, — ответил я. — Мы говорим об отборочных матчах и финальных встречах, и вы тоже. Только вы называете финалы революциями.

Сначала может показаться, что турецкие Афины исчезли. Но это не так. У подножия Акрополя вы найдете несколько узких улочек с ветхими турецкими лавчонками, владеют которыми, разумеется, греки. Можно прийти сюда — это место называется Башмачный переулок — и закупить столько поддельных танагрских статуэток, фальшивых греческих ваз, недавно отчеканенных тетрадрахм и тому подобного барахла, сколько позволит кошелек. Кстати, стоять все это будет недешево.

По переулку бродит призрак турецких Афин. Здесь можно увидеть, например, старика в европейской одежде, перебирающего янтарные бусины на нитке, — это четки *комбологион*. Заглянув в кафе, вы увидите грека, посасывающего, подобно сирийцам или туркам, мундштук *наргиле* (в переводе с персидского — кальян). На рынках, куда крестьяне привозят фрукты и овощи, вы заметите на шеях мулов или ишаков нитки с голубыми бусинами — мусульмане верят, что они оберегают животных от дурного глаза.

Этот аромат Востока — финиковые пальмы в парках, плов в ресторанном меню, небольшие стаканчики узо (то же, что арак в Сирии и Палестине), яркая жестикуляция жителей — придает Афинам особое очарование.

3

Я заплатил положенные десять драхм человеку в маленькой зеленой будочке около Акрополя и стал

подниматься по ступеням на Пропилеи. Все мы с детства по картинкам представляем себе Акрополь и Парфенон. Мы видели их в книжке, у викария в кабинете, в паровозных кассах. Мы получали открытки с их изображениями — от приятеля, который как-то отправился в Грецию.

Профессор Магаффи предупреждал меня, чтобы я не ждал слишком многого. Вот что он написал в книге «Прогулки по Греции»:

Где еще вы найдете развалины, которые сочетали бы в себе такую потрясающую красоту, такую великолепную четкость, такой огромный объем исторической информации. Никакие другие постройки в мире не выдержали бы такого груза величия. Первое посещение Акрополя, как правило, разочаровывает. Путешественник знает, что Греция — это кульминация культуры Древнего мира, Афины — самое значительное место Греции, Акрополь — Афин, Парфенон — Акрополя, и столько ассоциаций теснится у нас в мозгу, что мы неосознанно ищем, за что бы зацепиться, стремимся найти к чему привязать свои мысли, обрести точку, из которой можно было бы обозреть историю во всем ее величии. И сначала кажется, что наши надежды были напрасны: разбитые колонны, вывороченные цоколи — все это вовсе не потрясает. Путешественник вынужден с горечью признаться себе, что разочарован.

Держа все это в голове, я поднимался по ступеням на Пропилеи. Солнце так нещадно палило, что у меня заболели глаза. Древние афиняне очень гордились этим прекрасным строением. Один комедиограф пишет: «Они

всегда готовы восхвалять четыре вещи: свои мирты, свой мед, свои Пропилеи и свои смоковницы».

Пройдя через Пропилеи, я увидел перед собой огромную скалу, а на ее вершине, на фоне голубого неба, — Парфенон.

Честное слово, я в своей жизни ничего красивее не видел. Я почти боялся подойти ближе, чтобы не разочароваться. И как только доктор Магаффи мог писать такие странные вещи о Парфеноне! Если и есть на свете зрелище, превосходящее самые восторженные ожидания, то это, конечно, Парфенон. Вознесшийся высоко над Афинами, не имеющий в качестве фона ничего, кроме голубого летнего неба, гораздо крупнее, чем я себе представлял, и в то же время кажущийся странно невесомым, Парфенон, даже в виде развалин, выглядит так, как будто только что спустился с небес на вершину Акрополя.

Почему ни одна фотография и ни одна картина не могут передать величие Парфенона? Нелегко ответить на этот вопрос. Есть в этом храме какое-то особое равновесие, есть что-то истинно греческое в том, как отсечено все ненужное, — и это совершенно невозможно передать на бумаге или холсте, поскольку тут работает не зрение, а ум. Наверно, лучше всего было бы сравнить это здание с птицей в тот краткий миг, когда она уже складывает крылья, чтобы сесть, но еще находится в воздухе.

Колонны пентелийского мрамора со временем пожелтели до цвета, который обычно описывают как золотой. Но это не золотой. Это молочно-бежевый — цвет корочки девонширских сливок.

Не знаю, считали бы мы Парфенон столь же красивым в дни его наивысшей славы или нет. Думаю, что нет. Сейчас мы восхищаемся кремовым мрамором, облагороженным временем, а тогда все здесь блистало и сверкало золотом и яркими красками. Греки любят все

цветное и блестящее. Они часто раскрашивали статуи или покрывали их позолотой: волосы, скажем, были рыжие, одежды — зеленые, синие или красные; копья, сандалии, венки, уздечки, цепочки делали из бронзы или позолоченной бронзы. В полумраке Парфенона стояла высокая (сорок футов) статуя, ради которой все это и затевалось в свое время, — знаменитое деревянное изображение Афины. Богиня изображена в шлеме, в левой руке держит щит, в правой — фигурку крылатой Ники.

Эта статуя Фидия считается одним из самых замечательных творений античности. Несмотря на то что она была из дерева (статуи традиционно делали из этого материала), ни дюйма дерева не было видно. Лицо и руки покрывали пластинки из слоновой кости. В глаза были вставлены драгоценные камни, золотые косы ниспадали на плечи из-под золотого шлема.

Даже в те времена, когда люди умели создавать такие шедевры, как Парфенон и все, что в нем находилось, существовала на свете зависть, и далеко не всем было присуще благородство. Перикл, зная, что придет время и у Фидия начнутся трения с местными жителями, настоял на том, чтобы золотые пластины, которыми облицована статуя, при необходимости можно было снять.

И действительно, однажды Фидия обвинили в краже части золота, выделенного ему государством. Скульптор велел снять пластины и взвесить их — доказав таким образом, что обвинение ложно.

Парфенон — неувядаемая память о древних Афинах. Он парит высоко над современным городом, сквозь его колоннаду видно море, солнечные лучи нежно касаются кремового мрамора. Никогда еще люди не выбирали более изысканного места для здания. И никакому пространству никогда так не везло с застройщиками.

О «загадке женщины», вероятно, написано больше вздора, чем о чем-либо другом на свете. Улыбка Моны Лизы кисти Леонардо, очаровавшая стольких людей и вдохновившая литераторов на такие восторженные панегирики, — в действительности просто неотъемлемая черта этого лица. Тут дело не в душе, а в губах и веках. Очень возможно, она просто думает о том, что заказать на обед.

Многие женщины, обладающие подобным изгибом губ и такими круглыми лицами и тяжелыми веками, выглядят так, как будто решают мировые проблемы, хотя в действительности думают о том, какой счет за молоко им принесут в понедельник. Даже невероятно глупые женщины, обладающие именно этим набором черт, могут создать себе репутацию таинственных, — знай молчи и улыбайся.

Будучи в Париже, я много раз сидел и стоял напротив этой улыбки и потому имею основания утверждать, что знаю, о чем говорю. Мне известны также все эпитеты. Когда при мне говорят, что она «бесподобная», «загадочная», «возвышенная», «непредсказуемая», я чувствую себя, как муж из высшего общества, слышащий восхваления лица жены, которое ему случалось видеть покрытым самыми разнообразными масками, но на самом деле...

Если вы хотите замереть перед «тайной женственности», увидеть действительно загадочные улыбки, вам следует пойти в небольшой музей на Акрополе в Афинах и посмотреть на статуи кор.

Кора — в переводе с греческого — просто «молодая женщина». Статуи назвали так потому, что ученые профессора и археологи не знали, кто они, эти женщины. Нам известно лишь, что они жили в Афинах

примерно за шестьсот лет до рождения Христа. Но тайну, застывшую на прелестных губах, они принесли с собой в наш, современный мир.

Жаль, что нельзя раздать гипсовые слепки кор всем на свете музеям. Они были бы счастливы иметь их, но невозможно снять слепки, не нарушая цвета лиц и одежд оригиналов. Если бы существовал какой-нибудь способ делать это, не портя оригинал, они, эти изысканные женщины, пришедшие к нам из Древнего мира, везде пользовались бы заслуженным признанием.

Это не просто красота, запечатленная в мраморе, отмеченная элегантностью и изяществом. Это красота — упрек в недостатке достоинства и равновесия, в излишних притязаниях и вульгарной жизнерадостности, свойственных многим современным женщинам.

Прежде, чем описать этих чудесных созданий, я должен рассказать их историю. Когда персы в 480–479 гг. до н. э. разграбили Афины, они сожгли Акрополь и его храмы. Афиняне вернулись к дымящимся руинам. Мы не знаем, как выглядел первый Акрополь, нам известно лишь, что там был храм Афины.

При Перикле, когда персов разбили, поднялся великолепный мраморный город Афины. Казну набили трофеями персидской войны и серебром Делосской лиги. Перикл заставил всю страну работать, чтобы выстроить несколько зданий, равных которым не было в мире.

Во-первых, надо было восстановить разрушенное. До 1885 года никто не знал, как это было сделано. А в 1885-м при помощи экскаваторов раскопали великое множество древних статуй. Все они были повреждены, некоторые, вероятно, во время разграбления Афин персами, четырнадцать веков назад.

Видимо, во времена Перикла, обнаружив, что статуи прошлого века разрушены так, что их нельзя восстановить, строители использовали их просто как материал для фундамента новых зданий. Среди

обнаруженных статуй были и семнадцать изысканных кор.

Эти женские фигуры изваяны за сотни лет до появления хорошо всем известной греческой красавицы с прямым носом и округлыми формами. Они принадлежат периоду, когда скульпторы, которые раньше творили из дерева, потихоньку начинали осваивать мрамор, — поэтому статуи кажутся негибкими, застывшими.

У всех у них одинаковое мягкое выражение лица и приблизительно одна и та же одежда. У всех одна и та же поза. Складчатые одежды облегают фигуру, подчеркивая грациозный рисунок ноги от бедра к колену и заканчиваясь над лодыжкой.

Есть некоторые вариации в фасонах, говорящие о разных периодах. На некоторых короткие складчатые туники, ниспадающие от талии; другие — в роскошных гиматиях, красиво задрапированных на груди.

Все коры стоят одинаково: очень прямо, одной рукой изящно приподнимая складки длинных одежд, а в другой, согнутой в локте, держа какой-нибудь предмет или цветок. Прически древних красавиц говорят о том, что двадцать пять столетий назад женщины проводили перед зеркалом даже больше времени, чем проводят сейчас.

У них на головах настоящие архитектурные сооружения. На лбу и почти до самой макушки — мелкие кудряшки рядами, а длинные пряди — почти косы, перекинуты на грудь.

Должно быть, требовались часы, чтобы так уложить волосы. Один древнегреческий поэт так воспел своих современниц: «Они расчесывают свои кудри перед тем, как идти в святилище к богине. Они надевают красивые одежды, и туники их касаются пола. Их золотые кудри треплет ветер. В прическах сверкают золотые украшения».

Видимо, поэту повезло: он видел, как прекрасные коры направляются в храм.

Возможно, самое примечательное в корах — это их невероятные спокойствие и достоинство. Эти женщины твердо уверены в своем очаровании. Они не заботятся о том, чтобы произвести впечатление. Им незачем стараться. Они, подобно богиням, не сомневаются в своем могуществе.

Коры скорее очаровательны и грациозны, чем красивы. Венера Каллипига в Неаполе очень красива, но в ней нет того очарования, так же, как и в Венере Милосской. Это просто правильно сложенные, довольно тяжеловесные женские фигуры. Кора же присуща утонченность. Их полные губы изогнуты в легкой усмешке, миндалевидные глаза смотрят прямо и открыто.

Архилох из Пароса, который жил как раз тогда, когда ваяли эти статуи, говорил, что в его время мужчины ценили грацию больше всего на свете. Со временем начинаешь понимать, что очарование кор в том, что греки называли *charis*, или грацией, возведенной в искусство, в культ. Это исчезло из мира и не может быть подделано.

Странно: большинство мужчин восхищается корами, а женщины, как правило, их не ценят. И вряд ли именно такого шарма страстно желают для себя киноактрисы.

Когда я в последний раз был в музее, припорхнула стайка английских туристов и я слышал, как одна дама сказала:

— Какие страшные! Они похожи на стадо коров. Какие глупые лица! Какие идиотские улыбки!

Мужа, который попытался было возразить, что они довольно привлекательны, она резко оборвала:

— Не будь идиотом, Джордж! Они просто отвратительны...

Лично я считаю, что коры — самые привлекательные женщины в мире. Хотел бы я иметь возможность видеть их каждый день.

5

Я заметил, что в Афинах много закусочных, спрятанных в глубине узких боковых улочек. Крыша обычно увита виноградом, а в открытую дверь виден двор, где какой-нибудь мужчина в рубашке с короткими рукавами обязательно наливает вино из бочки.

— Пойдемте поедим в какой-нибудь таверне, — предложил я.

— Как хотите, — ответил Софокл.

Было девять часов вечера — время, когда афиняне обычно ужинают. В городе еще не схлынула жара, но уже подул морской бриз со стороны Фалернской бухты.

Мы покинули ярко освещенную главную улицу и нырнули в один из многочисленных боковых переулков, где громяют по булыжной мостовой неуклюжие повозки с винными бочками и пустые рыночные фургоны. Дверь в мощный дворик, заваленный бочками, была открыта.

Приветливый мужчина в рубашке с короткими рукавами, брюках и кожаных шлепанцах сидел около проволоочной ограды и кормил ручную овцу какой-то травой. Маленькая собачка вертелась рядом, изо всех сил стараясь обратить на себя внимание хозяина.

Навес над внутренним двориком, как принято здесь, увит виноградом. Весной лоза свежего зеленого цвета, но летом она становится бурой и ломкой. Из дворика можно попасть в три-четыре простые комнаты с белеными стенами и столами, накрытыми к обеду. Из торца дворика, из кухни, доносится аппетитный запах.

Заглянув в окно, можно увидеть повара, хлопчущего над большой жаровней.

— Будете ужинать? — спрашивает хозяин, поздоровавшись со мной за руку по греческому обычаю. — Проходите и выбирайте.

И ведет нас на кухню.

В греческих тавернах есть прекрасный обычай: вам показывают еду до того, как ее для вас приготовить. На кухне нас ожидало изобилие вина, овощей, мяса и рыбы. Здесь были лангусты, барабулька, которую называют *барбоуни*, и даже жутковатые каракатицы, которых подают тушенными в масле.

После того как мы выбрали себе еду, хозяин, в сопровождении ручной овечки и собаки, отвел нас в одну из ниш, где мы все трое уселись за стол. Овечка покусывала края наших штанин, так что скоро ее пришлось прогнать, к огромной радости собаки.

Принесли маленькие стаканчики узо и закуски, которые обычно к нему подают (греки никогда не пьют, не закусывая): квадратики хлеба с красной икрой, хрустящий жареный картофель, фисташки, нарезанные огурцы.

Хозяин поднял свой стакан, заверил меня в том, что глубоко уважает Англию и англичан и что для него большая честь принимать нас в своей таверне. Выпив, он поднялся и пошел проследить за приготовлением еды.

— Говорят, правительство решило... — начал Софокл.

— Если вы не возражаете, Софокл, — прервал его я, — давайте сегодня не будем говорить о политике. Давайте лучше о еде. Это гораздо здоровее. Расскажите мне, что едят греки...

По мере того как он рассказывал о своих любимых блюдах, я все больше убеждался в том, что редкое греческое блюдо по своему происхождению не является турецким. Турки явно позаимствовали свою кухню, как и многое другое, у греков. Но названия блюд — как раз

турецкие, только с добавлением греческого аффикса. Например, пилав превращается в *пилафи*, долма становится *долмадес*. Почти все греческие сладости — это хорошо известные турецкие сладости и печенья.

Вернулся хозяин. Он принес нам оранжевые ломтики дыни.

— А это откуда? — спросил я.

— Это из Лариссы, столицы Фессалии, — ответил он.

Я вспомнил величественные холмы Фессалии, окружающие гору Олимп, — я их видел с корабля. О городе Ларисса мне было известно, что он веками чеканил на своих серебряных монетах голову нимфы Аретузы работы Кимона.

— Лучшие красные дыни — из Лариссы, — сообщил хозяин, — а лучшие желтые — из Аргоса.

Он поставил на стол кувшин с рецинированным вином.

— Это в вашу честь, — он поклонился мне. — Сделано из нашего винограда.

Рецинированное вино, называемое еще рецината или рецина, — столовое вино, очень распространенное в Греции. Приезжим, как мне рассказывали, оно обычно не нравится. Им кажется, что оно отдает скипидаром. Пока вино молодое, в него кладется сосновая смола в качестве консерванта. Так делали в Греции с древнейших времен. Возможно, это единственное, что осталось от античности в современной греческой жизни. Тонкая палочка, с которой всегда изображают Диониса на барельефах и вазах, это тирс — скипетр, увенчанный сосновой шишкой.

— За ваше здоровье!

Мы чокнулись и выпили. Греки всегда тронуты и польщены, когда иностранец пьет рецину без содрогания.

Покончив с фессалийской дыней, мы принялись за лангусту, нарезанную ломтиками, с приправой из уксуса

и оливкового масла. Мне сказали, что моллюсков привезли сегодня утром из Оропа, что неподалеку от острова Эвбея. Потом нам подали телятину и салат из огурцов и помидоров.

Когда мы с Софоклом уже просто беседовали над руинами этого пиршества, дверь открылась, и вошел небритый, мертвенно-бледный человек с горящими глазами. Он помедлил у двери, потом внезапно сделал несколько шагов вперед, трагически простер руку и начал декламировать высоким, напевным голосом.

— Кто это? — спросил я.

— Бродячий поэт, — прошептал Софокл. — Он ходит из таверны в таверну.

— Я его не понимаю. Что он говорит?

— Он читает стихи, которые сочинил о нынешней политической ситуации. Очень умно написано, и вашим и нашим. Ни та ни другая сторона не обидится.

— Тогда вряд ли он грек.

— Да нет, он грек, — заверил меня Софокл. — По произношению видно, что афинянин.

Поэт закончил и попросил у меня сигарету. Прикурил — и тут же прочитал стихотворение, в котором жизнь сравнивалась с сигаретным дымом. Затянулся, выпустил в воздух клубы дыма и наконец красиво бросил окурочек под ноги и растоптал ее — жизнь то есть — на каменных плитах.

Завершив свою программу, поэт подошел к нашему столу и согласился выпить стакан вина. Вошли несколько рабочих и ремесленников, каждый — со свежей вечерней газетой, и тоже спросили вина. Тут же завязалась яростная дискуссия о политике.

Когда они допили вино, Софокл предложил им распить с нами большой кувшин рецины. Они обступили нас, и каждый, прежде чем осушить свой стакан, чокнулся со мной — с «американским гостем». Многие греки не видят разницы между американцем и

англичанином. Однако, когда я поправил их, они послушно встали и стоя выпили за Англию. «Америка, — сказали они, — это очень хорошо, но Англия! Ах, Англия!»

Последовала череда самых разнообразных тостов. То один из сотрапезников, то другой вставал и предлагал выпить за что-нибудь. В воздухе уже опять запахло дискуссией о политике, так что я страшно обрадовался, когда кто-то вдруг предложил выпить за «Вирона».

В каком восторге был бы Байрон, если бы увидел, как мы душным вечером пьем за него как за спасителя Греции.

— Ви-и-рон! — восклицали они, сдвигая стаканы.

Я понял, что вряд ли вспомню какого-нибудь греческого политика, чье имя вызвало бы такое же единодушное одобрение, как имя Байрона. Поэтому я решил просто проявить себя грекофилом.

— За Перикла! — воскликнул я.

— Что он говорит? — спросил один из них Софокл.

Получив разъяснения, они встали и выпили... из вежливости.

Дверь открылась, и вошли трое музыкантов. Взяв забавно высокий тон, они спели и сыграли несколько песен.

— Пойдемте, — сказал Софокл, — а не то проведем здесь всю ночь.

— Все греки так дружелюбны и разговорчивы? — спросил я его. — И каждый знает, как осчастливить Грецию?

— В этом проклятье моей страны, — сокрушенно покачал головой Софокл. — Мы все это знаем. Каждый из нас думает, что управлял бы страной гораздо лучше, чем те, кто ею управляет. Любой думает, что будь он у власти, сразу исчезли бы все проблемы. Каждый грек мысленно правит Грецией.

Хозяин стоял в дверях таверны — со своими верными овечкой и собачкой. Он налил нам еще по стаканчику рецины.

— Эта, — сказал он, — особенно хороша. Попробуйте, пожалуйста.

Я поднял стакан.

— Да здравствует Англия! — воскликнул хозяин.

— Да здравствует Греция! — отозвался я.

И обменявшись последним рукопожатием, мы нырнули в узкую афинскую улочку.

Глава пятая

Олимпия

*В лесу над развалинами Олимпии
вспоминаю о греческих Олимпийских
играх и нахожу мраморный желоб, от
которого стартовали бегуны.*

Развалины Олимпии находятся в сосновом лесу, в Алфейской долине. Равнина с протекающей по ней рекой — зимой это бурный поток, а летом — каменистое пересохшее русло — поднимается к окружающим холмам со всех сторон, кроме запада, где река впадает в море.

В этом призрачном лесу, где, ступая по земле, шуршишь сосновыми иголками, белеют, как человеческие кости, остатки храмов, бань, алтарей, развалины огромного гимнасия, в котором атлеты тренировались перед самыми знаменитыми соревнованиями античности.

Редко какие греческие древности настолько испорчены для нас фотографическими снимками, как Олимпия. На фотографиях, которые мне случилось видеть, этот город напоминает мастерскую каменотесов. Фотографии такие скучные и невыразительные, что я сначала даже решил избавить себя от тяжелого и утомительного путешествия сюда.

Однако стоило попасть в этот волшебный мир, и я убедился в том, что Олимпия и Дельфы — самые романтические руины в Греции.

Говорят, Олимпийские игры — единственное античное празднество, которое было бы понятно современной толпе. Возможно, это так. Если бы раздобыть машину времени, выдуманную Гербертом

Уэллсом в его романе, было бы интересно в качестве болельщиков из северной Англии побывать на какой-нибудь финальной игре.

Интересно, как бы им понравились игровые виды спорта. Если не считать жертвоприношений — кабанов в начале празднества и быков в конце его, — в Олимпийских играх не было ничего, что болельщик из Хаддерсфилда не оценил бы с такой же готовностью, что и зритель из Итаки или Фессалии.

Конечно, англичанина удивила бы нагота участников, но так как в Древней Греции мужчины много времени проводили на солнце и так часто умащали кожу маслом, что были загорелыми чуть ли не до черноты и их нагота не слишком обескуражила бы северян.

Как ни странно, обнаженное человеческое тело кажется более неприличным, если оно бледное, а не загорелое. Греки сами открыли это: когда солдаты Агесилая раздели пленных персов, бледная нагота их буквально шокировала.

Лукиан в одном из своих диалогов говорит, что первейший долг атлета — подставлять свое обнаженное тело всем природным стихиям и стойко переносить любую погоду. Этому правилу, которое шокировало как римлян, так и варваров, мы обязаны совершенством греческой скульптуры. Художники тех времен частенько бывали в гимназиях и наблюдали человеческое тело в движении.

Современного болельщика не поразили бы в Олимпии соревнования в беге и прыжках. Он ведь воспитан на роскошных голливудских гонках на колесницах. Ему понравилась бы борьба — зрелище, которое, возможно, ужаснуло бы его предков, живших в прошлом столетии, которые сами-то травили привязанного быка собаками, — в сущности, это ведь те же бои без правил.

Его не удивило бы кипение страстей вокруг состязаний. Разве не то же самое творится сейчас на любом футбольном матче?

Но его, безусловно, поразила бы странная смесь религиозности и спортивного азарта, сочетание атмосферы паломничества с духом Дерби, присущее празднествам в Алфейской долине.

Через каждые четыре года в греческом мире объявляли священное перемирие. Воевавшие государства откладывали в сторону оружие и переключались на Олимпийские игры.

Разные государства специализировались на разных видах спорта. Спартанцы были традиционно сильны в тех, которые требовали выносливости. Ионийцам удавались более красивые виды. Беотия славилась борцами, остров Эгина — кулачными бойцами, и так далее.

По дорогам, ведущим в Олимпию, по жаре, в пыли, двигались целые толпы — бегуны, борцы, наездники, возничие на своих колесницах и, конечно, тысячи и тысячи зрителей, жаждавших поболеть за любимую команду или спортсмена. Каждый надеялся, что именно его фаворит получит вождеденный оливковый венок.

Атлетам предстояло доказать, что не зря они десять месяцев упражнялись в гимнасии. Потом они должны были поселиться в Олимпии и под наблюдением судей тренироваться тридцать дней. К их услугам были великолепные бани и гимнасии.

Не пройдя этого предварительного испытания, атлет не мог быть допущен к участию. Как только имена избранных появлялись на белой доске в Олимпии, пути назад уже не было. Если по какой-то причине человек снимал свою кандидатуру, его объявляли трусом и штрафовали, как и за самое презренное преступление — попытку подкупа.

Кулачные бои — дикий спорт. Вот такая эпиграмма написана про него:

Спустя двадцать лет Улисса узнал его пес
Аргос, но тебя, Стратофон, после четырех часов
кулачного боя, не узнает не только твоя собака,
но и твои сограждане.

Возможно, больше всего уродовала участников смесь борьбы и бокса — такие состязания назывались панкратиум. В них разрешались любые приемы, и часто схватка кончалась смертью одного из противников.

Сегодня в Олимпии можно увидеть фундамент великого храма Зевса — почти в том же состоянии, в каком он был в античные времена. Кое-где сохранились фрагменты пола. Колонны лежат так, как они упали во время землетрясения тысячу четыреста лет назад.

В этом храме стояла огромная статуя Зевса работы Фидия, одно из семи чудес света. Она была покрыта пластинами из слоновой кости, одежды Громовержца отливали разными оттенками золота. Античный автор так восхваляет статую:

Даже тот, чья душа уязвлена страданием,
кто перенес множество бед и несчастий, кто не
может забыться сном, — думаю, даже такой
человек, оказавшись лицом к лицу с этой
статуей, забыл бы все несчастья и невзгоды
земного существования...

Что же случилось с этим великолепным произведением искусства? Как хотелось бы, чтобы оно сохранилось даже после разрушения всего античного мира! Однако после запрещения Олимпийских игр в 394 г. н. э. статую перевезли в Константинополь, где она позже погибла при пожаре.

Но немцам, откопавшим Олимпию из-под слоя земли толщиной в двадцать футов, повезло найти другое величайшее сокровище древнего мира. Эта статуя все еще лежит среди развалин, разбитая и сломанная. Это изысканный Гермес Праксителя. Его можно увидеть в музее неподалеку от развалин. Ни одна репродукция или картина не может передать красоту и изящество молодого бога с младенцем Бахусом на руках.

Но я буду вспоминать не храмы Олимпии и не статуи богов, а неглубокий мраморный желоб, проложенный в сосновом лесу около насыпи высотой двадцать футов.

Это черта, от которой стартовали бегуны. За высокой насыпью лежит огромный стадион.

Неподалеку я обнаружил дикую оливу. Думаю, когда-то это дерево посадили здесь, а потом оно одичало. А может, оно — потомок знаменитых деревьев, которые когда-то росли в священной роще Альтиса. С них золотым серпом срезали ветви, чтобы сплести венки для победителей.

Венок из ветвей дикой оливы — единственный приз, который получал победитель Олимпийских игр. В безмолвном сосновом лесу листья оливы все еще отбрасывают тень на руины алтарей.

Глава шестая

Эпидавр

*Встреча с аркадским пастухом у
развалин Эпидавра. Осматриваю
амфитеатр и размышляю о культе
Асклепия.*

У дороги стоял старик, а за его спиной громоздились горы, отделяющие Аркадию от Арголиды.

Этот аркадский пастух большую часть жизни бродил по горам со своим стадом и с ружьем на плече, защищавшим от диких зверей.

Я увидел этого человека под конец изнурительного дня, который начался для меня задолго до рассвета. Вид его вознаградил меня за три прокола шины, неполадки с индуктором и неисправную заднюю рессору. Он сочетал в себе строгость человека преклонных лет с достоинством того, кто никогда в жизни не бывал в больших городах. Все, что было на нем и при нем, за исключением разве что двустволки, изготавливается в его хижине в горах: домотканная одежда, мокасины из овчины, посох из ясеня.

Он с терпеливым достоинством выдержал фотосъемку. В нем не было этого албанского, восточного страха перед объективом, и хотя, как я узнал, его никогда раньше не фотографировали, позировал он с непринужденностью хорошего актера. Дать ему деньги значило бы оскорбить его, поэтому я решился предложить ему первое, что пришло мне на ум, — полупустую пачку английских сигарет.

Один из кратчайших путей к сердцу городского грека — сигареты с виргинским табаком. Этому старику они были не нужны. Однако при виде плоской жестяной

коробочки глаза его загорелись. Он открыл ее, вынул сигареты, любовно потер коробочку о рукав. Он рассматривал ее на свет, улыбаясь от счастья, как девушка, радующаяся новому украшению.

Странно было наблюдать, как этот почтенный старый Нестор трясется над пустой жестянкой. Я вернулся к машине, нашел там еще две таких и отдал ему. Его восторгу не было пределов.

Мы пожали друг другу руки, и я по крутой горной дороге отправился вниз, к «сухому Аргосу, где пасут лошадей», с его девонской, красной землей. Восточнее, у моря, лежат развалины Эпидавра.

В Эпидавре есть развалины самой древней больницы. Но люди приходят взглянуть не на них, а на великолепный амфитеатр, самый лучший из сохранившихся в Греции.

Он еще и самый удачно расположенный греческий театр, за исключением, может быть, амфитеатра в Дельфах и очень изысканного театра Джераш (Герасы) в Трансиордании.

Но мне кажется, что разбросанные тут и там развалины огромных «медицинских учреждений», бань, гимнасиев, залов, храмов, столетия назад превратившие Эпидавр в подобие греческого Харрогейта (или, возможно, Лурда), интереснее.

Требуется развитое воображение, чтобы представить себе Эпидавр таким, каким он был в античные времена, поскольку он сильно пострадал от грабителей и ненасытных собирателей строительного материала, готовых стереть с лица земли храмы, дороги, акведуки, — так термиты едят дерево.

Ничто так не способствует сохранению древнего памятника, как землетрясение, достаточно серьезное, чтобы население покинуло объект и ничего потом не восстанавливало. Тогда статуи, дома, храмы будут

аккуратно сохранены и запечатаны — до прибытия французских или немецких археологов.

Эпидавр же ломали на кусочки столетие за столетием. Его колонны и скульптуры растаскивали все, кому было не лень, так что сегодня сохранился разве что план первых этажей.

Для интересующихся медициной Эпидавр, разумеется, самое интересное место в Греции. Это центр культа Асклепия, бога врачевания, и Рим, а в свое время и английская медицина, в том числе и Королевская медицинская служба, унаследовали его эмблему — жезл и священную змею.

Обследуя развалины, я думал о том, являлся ли Эпидавр просто, так сказать, оздоровительным центром или здесь занимались и медицинской наукой.

Многие обнаруженные тут надписи похожи на «случаи исцелений», опубликованные в Лурде. Они рассказывают о людях, страдавших болезнями, излечить которые были бессильны лучшие доктора Греции. Проведя ночь в храме Эпидавра, люди проснулись совершенно здоровыми.

О, благословенный Асклепий-бог врачевания, — гласит одна из надписей, — Диофант надеется, что благодаря тебе избавится от упорной и жестокой подагры, что больше не будет передвигаться подобно крабу и ходить, словно по шипам, но станет ступать по земле твердо, как Ты ему повелел.

Хорошо, если великая вера, побудившая пациента заказать эту табличку еще до исцеления, принесла свои плоды.

Обычная процедура великолепно описана Аристофаном в комедии «Плутос»: больной проводит

ночь в храме, и бог посещает его во сне. Сон прерывают жрецы, которые и назначают лечение.

Подобные обряды совершаются и сегодня — например, в храме на острове Тенос. Ежегодно толпы страждущих приходят к чудотворному изображению Богоматери, но до начала лечения обязательно надо провести ночь в храме.

Я знаю одного грека, который уверяет, что, переночевав в церкви и помолившись перед иконой, он исцелился от рака.

Исцеление во сне практикуется также в Сирии и Трансиордании, в церквях, посвященных святому Георгию, — святому покровителю безумных и, между прочим, Англии. Считается, что сумасшедший исцелится, если проведет ночь в храме, прикованный цепями к столбу, специально установленному там для этой цели^[24].

Несмотря на множество суеверий, окружавших культ Асклепия: прирученные змеи, которым давали трогать раздвоенным язычком больное место, собаки, которым давали лизать его, исцеление во сне и тому подобное, — настоящую медицинскую помощь здесь, видимо, тоже оказывали, иначе хорошая репутация не закрепилась бы на много веков.

Медицина в Греции была более развита, чем думают многие, и если из двух зол выбирать меньшее, то я предпочел бы, чтобы мне ампутировали ногу в Древней Греции, чем в Англии во времена Трафальгарской битвы.

Весьма интересны выставленные на обозрение в афинском музее медицинские инструменты, которые использовались за несколько веков до рождения Христа. Они выглядят удивительно современно. Греки успешно пользовались пинцетами, зондами, шприцами.

Гомер упоминает о болеутоляющем действии растения непентес. Геродот говорит о скифской конопле, с помощью которой делали анестезию, а

другой автор пишет, что для обезболивания хирурги пользовались мандрагорой.

Я слышал от врачей, что два трактата о переломах и вывихах в «Гиппократовом сборнике», составленном в 600 г. до н. э., — не уступают современным научным трудам на эту тему, разумеется, с некоторыми оговорками. Видимо, в Эпидавре удивительным образом уживались настоящие медицинские знания и суеверия.

Например, что это за таинственный лабиринт под храмом? Некоторые ученые считают, что это змеиная яма, где больного оставляли в полной темноте. Пока он лежал там, трепеща от страха, одна из безвредных желтых змеек — такие еще сохранились в Эпидавре — подползала к нему и прикасалась к его телу своим язычком — знак, что бог исцелит его.

Можно, конечно, посмеяться над этим суеверием.

— Как странно, — сказал один английский турист, побывав на развалинах, — что народ, породивший Платона и Перикла, мог верить в такую чепуху.

— А вы давно были в современной аптеке? — спросил я его. — Разумеется, культ Асклепия внушает не больше доверия, чем бесчисленные шарлатанские снадобья, в которые сегодня верит столько народу. А кстати, знаете, сколько сегодня в Лондоне предсказателей?

По-моему, мой ответ вызвал у него раздражение. Он горделиво отошел, а когда мы столкнулись вновь, притворился, что не узнал меня.

Глава седьмая

Дельфы

Старик со свирелью на склоне скал в Дельфах. Встреча с молодыми атлетами на Дельфийском стадионе. Ущелье Дельфийского оракула. Встреча с албанским крестьянином.

1

Кто-то на полуденной жаре играл на свирели. Кроме этого звука и стрекота цикад в оливковой роще, других звуков не было.

Как всякая музыка, близкая к восточной, мелодия была заунывная, трогательная и печальная, но не мрачная, диковатая, но не грубая. И еще в ней был привкус античности, словно в стакане рецины или спартанском фасолевом супе.

Казалось, этот старый-старый звук сочится сквозь трещины в томимой жаждой почве Греции, казалось, это поет чей-то прах, или древний меч, зарытый в землю, или кольцо с женской руки.

Кто же играл в полуденном зное? Может быть, сам Пан — для своих коз? Точно — не Орфей. Слишком детская, простая, земная музыка для Орфея. Именно Пана — толстые губы приоткрыты, волосатые пальцы бегают по дырочкам свирели — можно было застигнуть здесь за игрой.

Сияющий полдень лежит на склонах дельфийских холмов, желтоватые горы рвутся к небу, их бока напоминают стенки печей, парнасские орлы медленно описывают круги в голубом небе, козы прячутся в тени

олив, ящерицы греются на горячих камнях, открыв рты, словно хватая жаркий воздух.

Каждая нота набухает, подобно пузырьку, и лопается.

За выступом скалы сидел на камне старик в балахоне, какие в Греции носят горцы, и играл на свирели. Маленькую круглую шапочку он сдвинул чуть-чуть набок. Я некоторое время наблюдал за ним, прежде чем он меня заметил. Тогда он сдержанно поклонился, на секунду отняв от губ свирель, и тут же заиграл снова. Не так часто старики в полуденный зной играют на свирели. Молодые пастухи иногда развлекаются этим, сидя в тени оливы. Но старики обычно просто дремлют. Я спросил его, почему он играет здесь, сидя на солнцепеке.

— Для богатых гостей, которые придут с моря, — ответил он, указывая своей дудочкой в сторону порта Итея на берегу Коринфского залива.

— Богатые гости с моря?

И тут я понял. В порт должен был прийти пассажирский лайнер. Сотни людей поедут через оливковые рощи в горы. На один день тишина в Дельфах будет нарушена. Туристы побродят по развалинам, а потом уедут, так же внезапно, как появились, и станет еще тише, чем было до их появления.

Я не мог сдержать улыбки при мысли об этой как будто бы безыскусной игре на свирели среди развалин.

— О, вы только посмотрите на этого милого старика! — Я будто слышал голоса туристов. — Какой славный! Марджори, где твой фотоаппарат? Как ты думаешь, дать ему десять драхм — будет много?

Потом, когда туристы уйдут, «славный старик» быстренько заберет свою свирель и тоже уйдет — а вернется, когда следующая партия начнет карабкаться по холмам.

Я оставил старика и пошел обследовать — как делал это уже весной и летом, при свете солнца и при лунном свете — самое волшебное место в Древней Греции — святилище Дельфийского оракула.

Столетие тому назад на развалинах стояла деревушка Кастри. Додуэлл в 1806 году долго и тщетно искал Дельфы, а они все это время лежали под тем самым домом, в котором он спал. Первое, что сделали французские археологи, когда решили найти святилище, — передвинули деревню. И вот постепенно стали появляться из-под земли сокровища. Откопали Священную дорогу, пролежавшую между когда-то великолепными храмами, в знак почтения и благодарности подаренными государством оракулу; храм, где пифия произносила свои предсказания; красивейший маленький театр, где ставили пьесы во время Пифийских игр.

Высоко над развалинами высечен в склоне горы Дельфийский стадион. Его длина — почти шестьсот футов, и тысяча каменных мест, ярус за ярусом, находятся почти в таком же прекрасном состоянии, в каком были века тому назад, когда стадион во время Пифийских игр заполняла толпа.

Я сидел, смотрел, как солнце освещает поросшую травой арену, и думал, что мало найдется развалин в мире, от которых бы исходила такая магия, как от этих. Что может быть более мистическим, чем тысяча пустых мест, ожидающих зрителей! Много сменилось столетий, много империй родилось, достигло расцвета и обратилось в пыль, с тех пор как на этом стадионе в последний раз состоялись Пифийские игры. Но когда сидишь здесь в летний день, то непременно ощущаешь себя одним из сотен зрителей, которые вскоре, громко разговаривая, поднимутся на холм.

Я еще раз взглянул на арену. Не сошел ли я с ума? Не случился ли со мной солнечный удар? Два молодых

атлета стояли на арене и обводили глазами ярусы пустых мест, словно отвечая на аплодисменты зрителей. Потом, смеясь и перекидываясь шутками, они катали что-то тяжелое, похожее на каменное ядро. Да они чуть ли не жонглировали такими ядрами!

— Спорим, я тебя обгоню?

— Спорим!

Раздевшись, они остались в белых шортах. Их тела были бронзовыми от загара, обретенного в средиземноморском круизе.

Приняв старт, они не очень быстро побежали по кругу мимо рядов пустых кресел. Их загорелые потные тела блестели на солнце. И мне показалось, что призраки древнегреческих зрителей смотрят на них с каменных ярусов. Они бежали серьезно и торжественно, как будто стадион был заполнен, и наконец остановились, тяжело дыша и смеясь, перед креслом, где сидел обычно судья, вручавший оливковый венок. В этот момент мне показалось, что душа этого места наполнила тела двух молодых англичан.

Мне тоже надлежало сыграть свою роль. Поднявшись со своего места в тени смоковницы, я несколько раз хлопнул в ладоши, и эхо аплодисментов разнеслось по холмам.

— Боже мой, что это! — воскликнул один из атлетов, тревожно оглядывая амфитеатр. Наконец он увидел меня.

— Вы сильны и мускулисты, — сказал я, — и все-таки подозрительно напоминаете призраков.

— Да, — согласились они. — Здесь все призрачно.

Мы вместе спустились вниз, пройдя через развалины храма Аполлона Дельфийского, и в конце Священной дороги, где паломники складывали золото и серебро, принесенное в дар пифии, наткнулись на старика со свирелью.

— Боже мой! Какой славный! Ты его сфотографировала?

Старика обступила группа девушек. Его шапка была полна серебряных монет.

2

Посидеть одному среди дельфийских развалин, не спеша посмотреть на эти пустынные места и, главное, увидеть их при свете полной луны — это незабываемый опыт. Доктор Фарнелл сказал, что «ни одно другое место в Европе не оказывает на религиозное чувство такого сильного воздействия, как Дельфийское ущелье».

Здесь, кажется, обитают призраки, и даже современный человек попадает под влияние их чар. Если это так сегодня, когда Дельфы — всего лишь остов города, существовавшего когда-то на склоне горы, то как же все это действовало на умы тех, кто посетил Дельфы в период расцвета, кто верил в предсказания оракула, внимал пифии, говорившей загадками.

Путешественники поднимались из тени оливковой рощи на открытые солнцу склоны гор, над которыми царил Парнас. На высоте две тысячи футов над равниной их ждал город, словно высеченный в склоне горы, со сверкающими на солнце храмами, статуями из золота, серебра, бронзы, мрамора. Про воздух в Дельфах Плутарх говорил, что он «нежный, как шелк». В этом чистом, прозрачном воздухе город сиял на фоне стремящихся к небу желтых гор.

Все греческие государства, движимые благодарностью оракулу, всячески способствовали украшению Дельф. По краям Священной дороги, ведущей к храму Аполлона, стояли святилища, полные золота, серебра и прекрасных статуй.

Статуи, изваянные по обету, толпились вокруг, и каждая словно стремилась превзойти другие красотой и богатством. Государства состязались друг с другом в щедрости. Не было в Дельфах Фидия, который потребовал бы от скульпторов слаженности и творческого сотрудничества. На Священной дороге разные века состязаются друг с другом в благочестии. Она, бесспорно, красива, ибо в ее создании участвовали лучшие художники и скульпторы, но больше напоминает тесное кладбище, чем строго упорядоченный акрополь.

И над этой национальной сокровищницей высился храм Аполлона, где пифия, сидя на своем треножнике, упражнялась в уклончивости.

Что же такое Дельфийский оракул? Говорят, в незапамятные времена один пастух бродил по этим горам и наткнулся на расщелину, испускавшую одурманивающие испарения. Надышавшись, он впал в транс и начал пророчествовать. И всякий, кто приближался, начинал пророчествовать; и все они впадали в транс, входили в пещеру и исчезали.

Потом над расщелиной установили треножник и построили храм Аполлона. Жрица, пифия, садилась на треножник, впадала в транс и произносила слова, которые считались внушенными ей самим Аполлоном, богом предсказаний. Ее высказывания потом толковали жрецы.

Пифия — в ранний период это всегда была девственница из Дельф — не имела права выходить замуж. Однако после того, как одна из предсказательниц влюбилась в молодого паломника из Фессалии, в пифии стали брать только женщин за пятьдесят, но одеваться они должны были как молодые девушки.

За три дня до «сеанса» предсказаний пифия начинала готовиться и поститься. В назначенный день она спускалась в пещеру под храмом. Там она разжигала

костер из листьев лавра, ячменной муки и, возможно, мирры. Потом поднималась к треножнику. Скоро начинались судороги, черты лица искажались, вырывались бессвязные выкрики. Симптомы, как свидетельствуют древние авторы, — те же, что и у медиума, находящегося в трансе. А за треножником стоял жрец, который записывал и толковал горячечный бред пифии. Ее изречение, переложенное на гекзаметр, вручали просителю в запечатанном сосуде.

Послание обычно бывало загадочно. Никогда не давалось никаких пояснений. Посетителю приходилось расшифровывать его самому.

Разумеется, можно рассматривать Дельфийский оракул как проявление досадного суеверия. Но как тогда объяснить то, что более тысячи лет он оказывал благотворное влияние на один из самых разумных в мировой истории народов и заслужил уважение величайших мыслителей древности? Все колониальные завоевания Греции направлялись оракулом, и это исторический факт. Ни одна греческая колония не была основана без «благословения» Дельф.

Императоры и цари преодолевали крутой подъем, чтобы спросить у пифии совета в важных государственных делах. Оракул чинов не разбирал, и пифия обычно рубила сплеча. Она часто оказывалась на стороне слабого, раба например.

Даже если оказывалось, что совет пифии погубил вопрошавшего, ее правота никогда не подвергалась сомнению. Например, Крез, обеспокоенный нашествием персов, отправился в Дельфы за советом. Ему было сказано: «Переправившись через Халис, разрушишь великую империю». Вдохновленный советом, царь форсировал Халис. Но оказалось, что царство, которое он погубил, — его собственное! Пифия была большая мастерица в неоднозначных предсказаниях.

Если бы кто-нибудь написал правдивую историю Дельфийского оракула, я уверен, что мы бы узнали о первоклассной системе шпионажа, действовавшей в античном мире. Дельфийские жрецы обладали высочайшей квалификацией. Их толкования прорицаний пифии основывались на глубоких политических познаниях. Без сомнения, в их архивах имелись полезные данные о всяком, кто мог обратиться к Дельфийскому оракулу. Если кто-то приходил в Дельфы без предупреждения, то за время предварительных очистительных церемоний жрецы успевали навести справки и выяснить, зачем явился проситель. То, что казалось простодушному человеку чудом, могло быть всего лишь результатом налаженной работы спецслужб.

В последнем прорицании оракула есть подлинные величие и пафос. В IV в. после Рождества Христова император Юлиан Отступник, ненавидевший христианство, отправил в Дельфы своего эмиссара. Хотел перестроить святилище и возродить былую славу Оракула.

Посланец императора застал лишь бледную тень древних Дельф. Их грабили веками. От бывшего богатства и власти не осталось и следа. Оракулы вышли из моды. Дельфам больше не на что было рассчитывать. И все же разожгли священный огонь, и пифия печально и устало воссела на свой треножник.

— Передай императору, — сказала она, — что святилище разрушено, и богу негде преклонить голову. Что лавр увял, а воды, которые говорили, иссякли.

В этих, быть может, самых трагических словах античности Дельфийский оракул признавал победу христианства.

Я бродил по руинам в Дельфах и думал, что оракулу все же еще есть что сказать человечеству. При входе в храм всякий мог прочесть три изречения: «Познай

самого себя», «Ничто не слишком много», «Будь умеренным во всем».

3

Рано утром дельфийские крестьяне спускаются в долину реки Плейст, где оливы даже в самый жаркий день дают прохладную тень. Женщины, сидя во вьючных седлах, умело управляют мулами, маленькими лошадками или осликами, и те спокойно преодолевают головокружительные спуски. Мужчины и юноши идут сзади пешком. Каждую семью сопровождает какая-нибудь собачонка непонятной породы, а частенько еще и пара коз, и любимая овечка.

Очень забавны греческие собаки, которых козы научили бодаться. И пусть щенок превратился в серьезного взрослого пса, а козленок — в старую козу, они то и дело останавливаются на пути вниз, в оливковую рощу, упираются лбами, и принимаются бодаться.

Я наблюдал эту смешную картинку много раз, причем ни разу никто из противников не воспользовался своими природными преимуществами: коза не лягнула собаку, а та не поддалась искушению схватить ее зубами за бороду. Так они предаются своим безмятежным детским забавам. Каждый раз, глядя на это, представляю себе фриз какой-нибудь греческой вазы.

Я уверен, что дельфийские собаки — самые счастливые в Греции. И это в стране, где люди в принципе не проявляют жестокости к животным.

Собаки гордо разгуливают по Дельфам, виляя хвостами, — уверенные в себе, деловитые, упитанные. Даже в полнолуние вам не приходится бодрствовать полночи из-за собачьего лая и воя. Луна плывет над

Дельфами в тишине, нарушаемой разве что уханьем совы, а дельфийские собаки, утомившись дневными заботами, мирно спят в домах, с людьми, овцами и козами.

Я привык определять нрав поселения по поведению собак. Поглядев на этих животных в Дельфах, я сразу понял, что здесь не встречу мулов с натертыми седлами спинами, прихрамывающих под своей ношей осликов, истощенных лошадей. И я оказался прав.

Горцы, живущие в окрестностях Дельф, — сдержанные, самостоятельные и счастливые люди. Они очень преданы своей общине, и всякого человека из другой области воспринимают как иностранца. А их доброта и гостеприимство по отношению к иностранцу — особенно, если он англичанин-путешественник — граничат с безрассудством.

Однажды мы с приятелем-греком прогуливались по холмам в окрестностях Дельф и наткнулись на весьма живописного индивида в национальной одежде: блузе, доходящей до колен, толстых шерстяных рейтузах, закрепленных под коленями ремешками, и шлепанцах без каблуков с помпонами и загнутыми носами. На его морщинистом коричневом от загара лице красовались усы, похожие на рачьи. Голова, покрытая коротким жестким ежиком волос, напоминала кокос. Как и во многих жителях здешних гор, в нем текла албанская кровь. Настоящий грек — не земледелец. Он по складу характера торговец, лавочник. Его тянет в город. Албанец же по природе своей земледелец и пастух.

Мы сели рядом с крестьянином. Мой друг задал ему несколько вопросов: об урожае олив, о ценах на оливы, об оливковом масле. Тот отвечал вежливо. Он представил нам своих сыновей, которые как раз направлялись в рощу, вооружившись чем-то вроде хлыстов длиной в двенадцать футов, чтобы сбивать плоды с оливковых деревьев. Потом крестьянин спросил:

— А ваш друг — из Европы?

— Он из Англии.

— Чем он занимается?

— Писатель.

Крестьянин посмотрел на меня с уважением. Потом, скрестив ноги и удобно обхватив одну из них, покачиваясь, спросил:

— А сколько он зарабатывает?

За этим последовали новые вопросы:

— Он купил свою одежду в Англии? И сколько он заплатил за нее? У него есть дети? Мальчики или девочки? Сколько им лет?

Потом наш новый знакомый настоял на том, чтобы мы выпили молока. Он держался как вельможа XVIII века, который настойчиво приглашает гостей в свой замок. Мы последовали за ним по горной тропе в его хижину.

Крестьянский дом в Греции — это место, где только спят. Весь день семья проводит на улице. Постель, в дневное время сваленную кучей в углу, вечером расстилают на полу, и все прямо в одежде укладываются спать. Никакого комфорта, никакой обстановки, никаких украшений.

Семья всем обеспечивает себя. Питаются хлебом грубого помола, оливками, чесноком, яйцами. По праздникам, например на Пасху, забивают ягненка. Если выращивают виноград, делают свое вино. В цилиндрических ульях — мед, заменяющий в Греции сахар. Рядом с многими хижинами можно увидеть ткацкие станки. Женщины сами ткут и шьют. Некоторые крестьяне даже держат шелковичных червей, которые вырабатывают достаточно шелка, чтобы сшить праздничные платья и покрывала для женщин.

Такие семьи независимы в единственно верном смысле этого слова.

Греческий крестьянин и араб-сириец переживут крушение любых империй.

Пока хозяин ходил за козьим молоком, мы ждали около дома. Мой друг отпил из кувшина. Я глубоко вздохнул и последовал его примеру.

Крестьянин предложил приготовить для нас яйца. Мы отказались, пообещав еще как-нибудь зайти. Теперь, когда все формальности были соблюдены, мы пожали друг другу руки и хотели уйти. Но оказалось, что так не полагается. Горец настоял на том, чтобы проводить нас до пыльной дороги, а потом мы еще некоторое время стояли и махали ему, пока он не скрылся из вида.

Глава восьмая

Элевсин

*Я отправляюсь к развалинам Элевсина,
хранящим тайны мистерий.*

Винный погребок на Священной дороге был полон мужчин самого разбойного вида. Они потягивали вино и пускали кольца дыма. Мулы, привязанные к столбам навеса, шевелясь, грозили обрушить его на головы завсегдатаев. Здесь было темно и прохладно, а снаружи, над милями и милями скал и оливковых рощ, пульсировала белая жара.

Я вошел, покрытый с ног до головы белой аттической пылью. Разбойники посмотрели на меня с уважением. Они оценили мою эксцентричность. Чем дальше на Восток путешествует европеец, тем более эксцентричным он представляется местным. Я ведь иностранец, следовательно богат. Непонятно, с какой стати ходить пешком человеку, достаточно обеспеченному для того, чтобы ездить верхом. По их лицам было понятно, что именно так они и думают.

Не успел я блаженно опуститься на стул, как два бородатых погонщика мулов послали мне стакан рецины от своего стола.

Именно такими поступками, свидетельствующими о доброте и хорошем воспитании, греческие крестьяне сразу располагают к себе путешественника. И еще я заметил, что чем более свирепый у грека вид, тем он добрее к чужим.

Я встал со стула и поблагодарил их. Пока я пил вино, они улыбались и дружелюбно, словно добрые лохматые псы, мотали головами. Я в ответ тоже послал им вина и несколько кубиков рахат-лукума. Теперь считалось, что

мы друзья. Древние формулы вежливости были соблюдены.

Сидя в тени и глядя на раскаленную сковородку, которую представляла собой дорога на Элевсин, я думал о том, какая глупость с моей стороны — пройти пешком тринадцать миль из Афин в такой день. Явно нарываюсь на солнечный или апоплексический удар.

Как славно сидеть в тени и потягивать резкую на вкус рецину! Правда, сильно досаждали мухи, воняло потом, чесночной похлебкой и прокисшим вином. Но, по крайней мере, здесь была тень.

В соседней пыльной оливковой роще мальчик-пастух гнал свое звякающее колокольчиками стадо к источнику у обочины. Хорошенькая девушка с голыми смуглыми, как у арабов, ногами тоже пошла к источнику от ближайшей гостиницы, чтобы наполнить... нет, не кувшин, а канистру из-под бензина. По белой дороге в клубах пыли проехали на рынок в Афины повозки, нагруженные капустой, баклажанами и огромными арбузами.

Именно общаясь с простыми греками — рыбаками, погонщиками мулов, пастухами, крестьянами, — понимаешь, как встречали гостей во времена Гомера и Феокрита. Эти люди очень похожи на древних греков — мягкие, спокойные, не склонные ни к пьянству, ни к обжорству, но зато необыкновенно говорливые, яростные спорщики, гордые, тщеславные, всегда готовые торговаться.

Итак, я смотрел на Священную дорогу, вернее на широкое шоссе, ведущее из Афин в Элевсин, одну из лучших дорог в Греции. Она более или менее следует древнему пути, по которому каждый год при свете факелов шли толпы народа, чтобы принять участие в Элевсинских мистериях.

Потягивая отдающее сосновой смолой вино в придорожном погребке, я думал: как странно, что при

наличии стольких людей, посвященных в эти самые мистерии, никто никогда не распространялся о них. И в древности хватало насмешников и скептиков, и, наконец, были писатели-сатирики вроде Лукиана. И тем не менее ни один из них не нарушил обет молчания, который давали все допущенные, никто не оставил описания происходившего ночью в Элевсинском храме. Даже величайшие греческие мыслители, такие, как Платон, испытывали глубокое уважение к церемонии, которая, по словам Цицерона, учила людей «не только жить счастливо, но и умирать с надеждой на лучшее».

Храм Элевсинских мистерий хранит чудесный миф о Персефоне, объясняющий чудо ежегодного прихода весны и обновления природы. Несомненно, участникам мистерий давали надежду на счастье в Царстве теней.

Собирались в Афинах осенью. Но наставники готовили к великим мистериям уже весной. Участвовать разрешалось всем, кроме убийц и варваров.

Глашатаи возвещали о священном перемирии. Толпы мистически настроенных людей спускались к морю, чтобы очиститься. Каждый приносил в жертву свинью. Затем в условленную ночь процессия отправлялась по Священной дороге, то и дело останавливаясь для того, чтобы принести жертвы на разных алтарях, расположенных вдоль дороги от Афин до Элевсин.

С песнопениями, при свете факелов, процессия переваливала через холм Дафнии и спускалась на равнину, где сверкали в свете звезд воды Элевсинского залива. Древние авторы называли церемонию «ночью факелов», а один из них, нарушив молчание, окружавшее все, что связано с мистериями, сравнил факелы со светлячками, горящими вдоль контуров бухты.

Пока люди отдыхали с дороги, жрецы вносили в святилище «предметы культа». Их несли под

покрывалами, выставляли на обозрение только в ночь инициации и никогда о них не упоминали.

Итак, я раздумывал обо всем этом, глядя на Священную дорогу, а погонщики мулов тем временем вставали и выходили на солнце, приходили другие и занимали их места за столами. Среди вновь пришедших я заметил молодого человека в поношенном костюме и фетровой шляпе. Он вел себя с неприятной развязностью — побывал в Америке. Подошел ко мне и сказал:

— Слушай, босс, эти парни хотят знать: ты англичанин или американец?

Оказалось, он работал в нью-йоркских отелях, в закусочных на Бродвее, где подавали дары моря, в греческих ресторанах. Все это внушило ему презрение к собственной стране.

— Они тут не умеют работать, — все повторял он.

Сам же он скопил достаточно денег, чтобы вернуться, жениться на родине и купить такси в рассрочку. На мое счастье, его машина стояла в сарае за погребком.

— Отвезите меня в Элевсин, — попросил я.

— Конечно! — согласился он.

Через двадцать минут мы ехали вниз по склону холма к прекраснейшему Элевсинскому заливу, похожему на озеро: казалось, остров Саламис перекрывает выход в море.

Вдалеке, на границе с голубой водой, мы увидели маленький городок Элевсин.

Развалины занимают значительную часть равнины у подножия холма. Еще пятьдесят лет назад они были погребены под современной деревней. Теперь вы можете видеть сотни колонн и опор. Мраморные глыбы лежат вокруг в сбивающем с толку беспорядке. Подойдя к руинам ворот, я увидел на мостовой глубокие колеи от колесниц, проехавших здесь века назад.

Разумеется, главная достопримечательность — развалины великого храма Мистерий. Он не похож ни на один греческий храм. В Древней Греции поклонялись богам и приносили им жертвы на открытом воздухе, а храм был просто святилищем божества. А в Элевсине храм построен так, что может вместить около тысячи человек.

Стоя в большом зале Мистерий, я размышлял о том, какие же тайны поверяли пришедшим сюда. До того как раскопали эти развалины, ученые верили, что жрецы вели посвященных по подземным ходам, полным призраков, символизирующих все ужасы подземного царства Аида. Предполагалось, что для таких устрашающих инсценировок применялись довольно сложные механизмы. Но в ходе раскопок не обнаружили ни подземных ходов, ни шахт. Похоже, все происходившее в храме Мистерий разворачивалось в присутствии всех собравшихся, которые рассаживались, как в театре, и смотрели.

Что же они такое видели? Просто инсценировку сошествия Персефоны в Царство теней и ее воскрешения? Руины не дают ответа. Они хранят свой секрет, как хранили его всю жизнь те, кто побывал в этом храме и пообещал молчать о том, что здесь видел.

Молодой грек-американец ждал меня в тени. По длинной белой дороге мы с ним вернулись в Афины.

Глава девятая

Марафон

Встреча в дороге с валлахскими пастухами. Я осматриваю Марафонскую равнину.

Первой дорогой, проложенной в Греции после того, как столетие назад закончилась война за независимость от турок, стала дорога длиной в тридцать миль, соединившая Афины и Марафон. Ее проложили, потому что каждый интеллигентный человек, путешествуя по Греции, хочет увидеть место знаменитой битвы. Немного наберется сражений, чьи названия известны буквально всем, вошли в обиход, и Марафонское — одно из них. Еще Фермопилы. И третье — Ватерлоо.

Марафон — самая героическая из всех античных битв. О ней писали, говорили, спорили на всех европейских языках столько веков, что каждое сказанное слово уже само в состоянии за себя постоять.

Но море есть, и горы, и долины,
Не дрогнул Марафон, хоть рухнули Афины. [\[25\]](#)

Эти звучные строки Байрона, пожалуй, самые известные. И многим людям, ничего не знающим о Марафоне, кроме того, что это как-то связано с бегом на длинные дистанции, знакомы слова Вордсворта: «Человеку с жалкой душой нечего делать на Марафонской равнине».

Еще недавно, перед самой войной, на Марафонскую равнину было непросто попасть. Нужно было проехать день или два верхом, и путешественникам советовали

захватить с собой еду и одеяла. Сегодня можно просто взять такси в Афинах и велеть водителю ехать в Марафон; и все путешествие займет несколько часов — от полудня до того, как стемнеет.

Я отправился туда утром, в сопровождении молодого греческого журналиста, хорошо знакомого с историей своей страны.

Оставишь позади афинские окраины — а дальше дорога идет между двумя большими горами: Гиметтом справа и Пентеликом слева. Передо мной открывался великолепный вид на поросшие деревьями склоны Пентелика, и в бинокль я разглядел — или мне только казалось, что разглядел — каменоломни, где греки в античные времена добывали мрамор.

— Вам следует подняться в эти каменоломни, — посоветовал мой молодой друг. — Там можно посмотреть на куски мраморных колонн и капителей, вырубленные почти две тысячи лет назад. Все ждут, когда их отнесут в храмы, а храмы давно превратились в руины или совсем исчезли. Заодно посмотрите на скаты, устроенные древними греками, чтобы спускать мраморные глыбы к подножию горы...

Теперь перед нами был пасторальный пейзаж: стада овец мирно паслись под оливами. Пастухи — самые живописные персонажи из всех, кого я встречал в Греции. Кажется, они сошли с античного фриза или с греческой вазы. Высокие, довольно свирепого вида мужчины в плащах из бурой овечьей шерсти с капюшонами.

Я попросил водителя остановиться и вышел из машины, что вызвало сильное беспокойство у моего греческого друга. Скоро я понял почему. Два крупных свирепых пса, оскалив зубы, приближались ко мне огромными прыжками. Это вам не мирные сторожа британских овец — в Македонии стада от волков охраняют дикие чудовища.

Когда я стал уже подумывать об отступлении, один из пастухов, стоявших поблизости, что-то крикнул собакам, и они, поджав хвосты, потрусили к нему, а потом улеглись у его ног, покорные, но бдительные.

Мы заговорили с пастухами. Правда, мой друг понимал их с трудом.

— Эти мужчины — самые таинственные люди в Греции, — объяснил он. — Это пастухи-влахи. У них свой язык. Говорят, это более древний и чистый греческий, чем тот, на котором мы говорим сейчас. Синтаксис там странный, многие ученые даже думают, что этот язык происходит от латыни. Считается, что влахи — потомки римских легионеров, посланных в Дакию Траяном в 106 г. н. э. О них мало что известно. Чужих они не любят. Весну влахи со своими стадами проводят на равнине, а летом уходят в горы. Живут по своим законам.

Я напомнил моему другу, что германские племена называли этих кочевников влахами или валлахами, что, собственно, и означает «чужие».

Когда саксонцы вторглись в Англию, они стали называть романизированных бриттов, которые там жили, валлийцами. То же самое слово. Как древних бриттов изгнали из цивилизованных римских городов в горы Уэльса, так и этих, греческих римлян отправили в горы, где они стали кочевниками и пастухами.

— Как интересно! — воскликнул мой друг. — Значит, Ллойд Джордж — влах?

Заведи в Греции разговор о ботанике или пчеловодстве — и оглянуться не успеешь, как он перекинется на политику! К счастью, прибытие в Марафон помешало нашей беседе войти в это русло.

Марафонская равнина — зеленые поля и красные пахотные земли, спускающиеся к морю. Мили и мили оливковых рощ и виноградников. Небольшие искривленные лозы ровными рядами лежат на красной

земле. Как был прав Байрон: «Горы смотрят на Марафон, а Марафон смотрит на море»!

Мы дошли до холма, под которым лежат кости ста девяноста двух афинян, погибших в битве с персами в 490 г. до н. э. Героев похоронили там, где они пали. Когда в прошлом веке раскопали могильник, нашли их обгорелые кости и черепки посуды, положенной в могилы более двух тысяч четырехсот лет назад.

Сам по себе холм ничем не примечателен. Высота его — всего лишь сорок футов, длина окружности — около двухсот футов. У подножия цветет дикая груша, по склонам тут и там разбросаны кусты асфоделей. Мы стояли на вершине холма, и я предложил:

— Ну, давайте посмотрим, что нам известно о Марафонской битве. Начинайте.

— Она была в сентябре 490 года до Рождества Христова... — начал грек.

— Нет, — возразил я. — Надо начинать с того, что было за два года до этого. Персы завоевывали мир. Восстали греки в Азии, афиняне отправили двадцать кораблей в помощь соотечественникам. В ответ персы послали флот против афинян. Этот флот был разбит у горы Атос за два года до Марафонской битвы. Персы снарядили новый флот, и великий царь Дарий заставил слугу каждый день садиться напротив него и повторять: «Помни об афинянах». И вот в сентябре 490 г. до н. э. новый флот вошел в залив, чтобы разбить афинян, это маленькое государство, осмелившееся бросить вызов могущественному Дарию... Ваша очередь!

— Когда афиняне прослышали, что персы высадились там, они, как сказали бы у вас в Англии, «завелись». Послали гонца по имени Фидипид в Спарту с просьбой о поддержке. Этот человек пробежал сто тридцать пять миль за два дня, причем по горной дороге. Спартанцы ответили, что не окажут помощи, пока не наступит полнолуние. Тогда афиняне — их было

десять тысяч против вдвое большего войска персов — пришли в Марафон приблизительно той же дорогой, какой мы приехали из Афин... Ваша очередь.

— Персы удивились, увидев афинян. Греки, когда на них кто-нибудь нападал, обычно оставались в своих городах и держали осаду или дрались прямо за городскими стенами. Они редко преодолевали такие большие расстояния, чтобы принять бой. Персы стояли на равнине, спиной к морю. Афиняне обосновались выше, на холмах. Когда персы увидели тяжелую афинскую пехоту, идущую на них, они решили, что противник сошел с ума. Персы не привыкли к нагрузкам, которые несет пехота. Они, как арабы, предпочитали короткие стычки: выстрелить из своих луков — и умчаться прочь. Тактика греков ошеломила их. Им пришлось отступить на свои корабли. Греки сражались с ними уже в воде. Храбрость и выносливость греков и греческие копья победили персидскую кавалерию, невзирая на превосходство в численности. Вот что показала Марафонская битва.

— А еще, — перебил меня, воодушевившись, грек, — помните ли вы историю о Кинегире, брате Эсхила? Он ухватился правой рукой за борт персидской галеры. Когда персидский воин отсек ему правую руку, он ухватился левой, а лишившись и ее, вцепился в борт зубами.

Одиноким высящийся на равнине Марафонский холм, поросший асфоделями, с дикой грушей у подножия — вечное напоминание о греческих героях.

Глава десятая

Суний

После радушного угощения в греческой гостинице, я уснул у подножия храма Посейдона, перенесясь в древние века. Пробуждение вернуло меня в реальность.

Храм Посейдона, стоящий высоко над морем на холме Суний, вызывает какие-то туманные ассоциации. «Чего-то не хватает. Чего же, чего?» — мучительно спрашиваете вы себя, слушая, как волны внизу бьются о скалы. Сквозь выветрившуюся колоннаду храма видны очертания Киклад. Но чего-то все же не хватает. Чего же? Медленной музыки. И балета. Храм на мысе Суний, преступив границы Природы, вторгается в опасную область Искусства.

Только в Друри-Лейн или Ковент-Гардене можно увидеть столь совершенные развалины. Именно так представляет себе греческий храм поэт-романтик или живописец. Храм Посейдона стоит в гордом сознании своей значительности под медленно плывущими облаками, и его грациозные дорические колонны — действительно «белые, как снег». И яркие маргаритки растут из щелей в полу. Этот храм мог бы быть спроектирован группой театральных художников — он слишком хорош, чтобы быть настоящим. На одной из колонн — автограф Байрона.

Суний — самая южная точка Аттики, и море так бурно и дико нападает на этот клочок земли, что в древние времена моряки верили, что Посейдон наказывает все корабли, пришедшие сюда. Стремясь отвратить несчастья лестью и жертвоприношениями,

они воздвигли на холме чудесный храм из белого мрамора, который даже сейчас, находясь в упадке, выглядит так, словно готов в любую минуту воспарить в небеса.

Однако мои первые впечатления о Сунии носили менее возвышенный характер — здесь готовят самую лучшую в Греции печеную кефаль.

У подножия холма стоит маленькая уютная гостиница, которую финансирует, как я понял, греческое правительство. Это делает ему честь. Путешественнику хочется, чтобы подобных гостиниц было побольше. Стоило мне войти, как на меня, бойко щебеча по-гречески, накинулось целое семейство, завладело моей шляпой и тростью и проводило меня в маленькую столовую. Потом они начали спорить друг с другом, чем бы меня накормить.

Дочь хозяев хотела зарезать курицу. Кто-то еще предлагал тушеные бобы. Пока все это с большим жаром обсуждали, одна милая девушка, у которой оказалось больше здравого смысла, чем у всех остальных, молча принесла кувшин вина и налила мне. Удивительно, какое сильное впечатление производит женщина, которая вместо того, чтобы суетиться, просто делает что-то конкретное.

В самый разгар спора, когда я уже начинал свыкаться с мыслью, что поесть вообще не дадут, открылась дверь, и появился мальчик с огромной рыбиной. Ее выловили как раз под храмом Посейдона. Мне удалось выговорить по-гречески, что эта рыба — безусловно, дар Бога морей, но меня никто не понял, красивая фраза пропала зря.

Как бы там ни было, я был рад уже тому, что они намерены запечь для меня эту рыбину. Мать семейства крепко обняла юного рыбака, расцеловала его в обе щеки, что, кажется, удивило его, после чего они отправились готовить.

О результате их совместных усилий могу сказать только одно: пока вы не попробовали приготовленную по-гречески, да еще, к тому же, только что выловленную у мыса Суний рыбу, вы не имеете права высказываться о кефали.

В самом благостном расположении духа я попрощался с этим добрым семейством и, вскарабкавшись по склону, поросшему миртом и мускари, добрался до белого храма и прилег в тени мраморной колонны. Вокруг не было ни души, кроме козы с черной длинной бородой. Она подняла на меня глаза, явив лик Пана, и продолжила щипать траву. В цветах гудели пчелы. Мне было слышно, как волны разбиваются о скалы внизу...

Должно быть, я уснул. И был мне сон: девы в белых одеждах, поднимающиеся ко мне по склону холма с первыми плодами. А вот пробуждение мое было гораздо более прозаичным и достаточно обычным для того, кому случалось уснуть в греческом храме. Два резких женских голоса беседовали по-английски. Первый: «Это здесь!» Второй: «Нет, не здесь». Тогда первый спросил: «Да где же это? Мы обязательно должны найти. Глупо проделать такой путь и не найти!»

Я выглянул из-за своей колонны. Произошло самое худшее, что только могло произойти: две пожилые дамы беседовали, указывая сложенными зонтиками на храм Посейдона. И очень скоро мне стало казаться, что храм исчез, а вместо него передо мной лежит главная улица курортного Челтенхема.

Бывают пожилые леди с таким сильным характером, что куда бы они ни отправились, одетые в твидовые костюмы, в пенсне на носу, с зонтиками в руках, они привозят с собой маленький кусочек Англии. Они терпеливо переносят достойные сожаления странности местных жителей, у которых вызывают граничащее со страхом уважение. Это женщины необыкновенной

храбрости. Они без колебаний одернут какого-нибудь дикого мужика, увидев, что он, например, бьет своего осла, да еще пригрозят подать на него жалобу в местное отделение Общества защиты животных, не заботясь о том, существует оно здесь или нет. Они умывают чумаzych детишек в фонтанах и читают перепуганным молодым матерям, не понимающим ни слова по-английски, краткие страстные лекции о здоровье младенцев. Если им попадется безнравственный гид и приведет их в дансинг или кабаре, они сидят очень прямо, прихлебывают черный кофе, и само их присутствие создает атмосферу респектабельности в самом сомнительном заведении, мгновенно воскрешая в памяти какое-нибудь собрание прихода в Англии.

Именно такие дамы стояли сейчас у храма Посейдона, тыча в разных направлениях своими зонтиками. Они явно что-то разыскивали. Увидев меня, лежащего у колонны, одна из них, вымученно улыбаясь, ненатуральным голосом произнесла:

— Pardon, monsieur, mais voulez vous avoir l'obligeance...[\[26\]](#)

Потом, возможно обратив внимание на мои старые брюки из фланели и твидовый пиджак, она смущенно улыбнулась, как будто я случайно застал ее за чем-то предосудительным, и попросила извинения за то, что приняла меня за иностранца.

— Прошу извинить меня, — сказала она уже нормальным своим голосом и добавила: — Мы хотели спросить, не знаете ли вы, где тут вырезал свое имя лорд Байрон?

Я не имел ни малейшего представления. Не потрудился выяснить. Байрон, этот вечный школьник, любил везде писать свое имя. Я знал только, что оно вырезано на какой-то колонне среди множества прочих имен.

Мне показалось в высшей степени странным, что два человека из далекой страны приезжают в это чудесное место, чтобы отыскать выбитое в камне имя третьего человека. Их нисколько не интересовал ни этот чудесный храм, ни красивейшая маленькая бухта, где в старые времена находили убежище греческие корабли с грузом пшеницы. Возможно, их и Байрон не слишком интересовал. Они то и дело смотрели на часы и еще беспокойно стреляли глазами по сторонам, будто обронули здесь паспорт или кошелек.

Наконец мы нашли эти шесть букв — «БАЙРОН», — наверно, пришлось изрядно потрудиться, чтобы выбить их на камне. Должно быть, он принес с собой специальный инструмент. Буквы были в четверть дюйма глубиной.

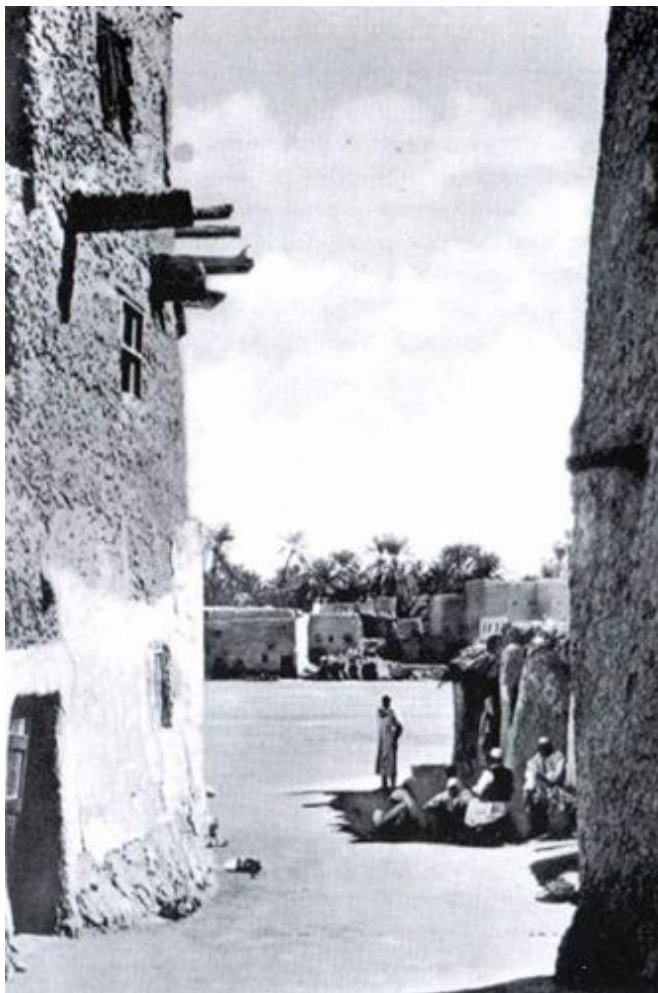
— Ах, как интересно! — воскликнули дамы. — Большое вам спасибо. Всего доброго!

Я хотел спросить, читали ли они что-нибудь Байрона и помнят ли хоть строчку из его стихов. Мне кажется, тень поэта возликовала бы, если бы две пожилые английские дамы в твидовых костюмах и грубых башмаках уселись на склоне Суния и продекламировали бы какое-нибудь хрестоматийное его стихотворение. Но не принято просить о таком благовоспитанных леди.

При помощи зонтиков нащупывая дорогу среди обломков мрамора, дамы спустились с холма. У подножия их ожидал автомобиль. Мне вдруг показалось, что мимо кустов мирта проехал на велосипеде викарий.

Я встретил здесь закат. Я видел, как собираются на горизонте золотистые облака, как бледнеют в вечернем тумане Киклады. Прошел мальчик-пастух со стадом коз, и на мгновение белый храм наполнился звяканьем их колокольчиков.

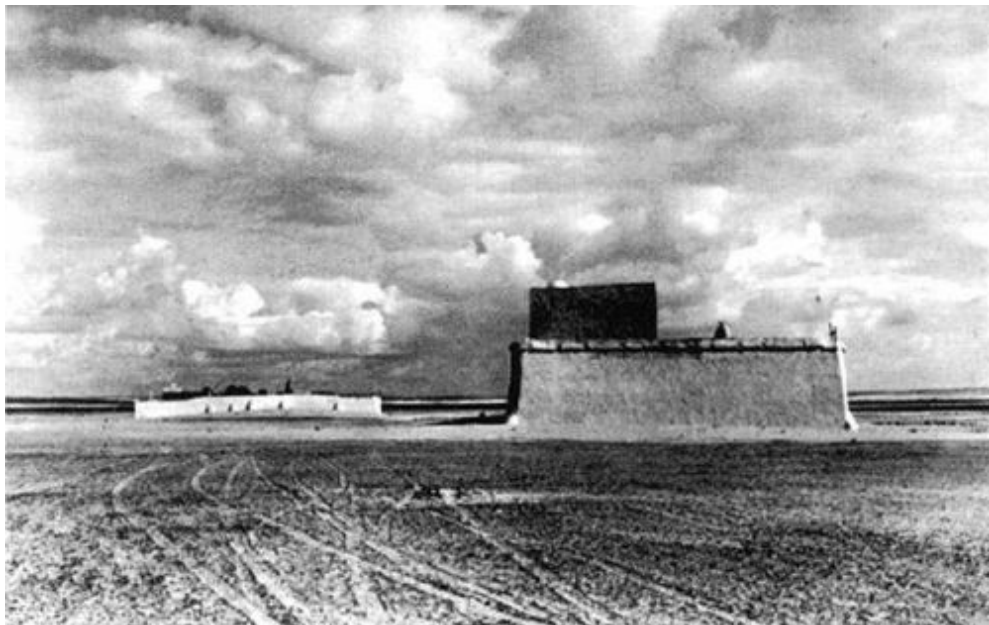
Иллюстрации



Оазис Сива



Мерса Матру



*Монастыри Дэйр эс-Сириани и Дэйр Авва Бишой.
Вади-Натрун*



На Евфрате



«И Вавилон будет грудой развалин» (Иер 51, 37)



Кавалла. Македония



Улица в Конье. Турция



Турецкий пастух. Эфес



*Покрытая снегом гора Белеш на границе Югославии
и Болгарии*



Дельфийское ущелье



Аркадский пастух



Девушки Тасоса



Дом в Солониках, где родился Кемаль Ататюрк



Вид на Акрополь. Афины

notes

Примечания

1

Перевод И. Трояновского.

Перевод В. Левика.

Когда начались бои в Западной пустыне, сокровища гробницы Тутанхамона были взяты из музея и зарыты в землю — ирония судьбы. — *Примеч. автора.*

В сухой атмосфере кожные железы гиппопотама выделяют розоватый секрет, предохраняющий поверхность тела от высыхания и растрескивания. — *Примеч. перев.*

О других монастырях Вади-Натруна можно прочитать в книге — «Святая земля. Путешествие по библейским местам». — *Примеч. автора.*

Уильям Хит Робинсон (1872–1944) — британский художник-карикатурист, известный кроме прочего юмористическими рисунками сложных вымышленных механизмов. — *Примеч. перев.*

Траурный танец (*фр.*).

8

Мф 28, 19.

С тех пор, как это было написано, мне стали приходить письма со всего мира, из которых я узнал, что эти «бесы» — тропические патогенные микроорганизмы. — *Примеч. автора.*

Из «Когда мы жили в Иерусалиме» Эстел Блайт
(Джон Мюррей). — *Примеч. автора.*

Имеется в виду английский перевод Библии 1611 года. — *Примеч. перев.*

Мустафе Кемалю были присвоены титулы Гази — «борца за веру», а позже Ататюрк — «отец турок». — *Примеч. автора.*

Йорук — дословный перевод «кочевники». Люди, которые проводят лето на высокогорных плато, где прохладно, а зимой спускаются в долину. — *Примеч. перев.*

Когда в 1939 году началась война, их сочли слишком тяжелыми, чтобы перевозить в безопасное место, — так они и остались в пустой галерее, обложенные мешками с песком. — *Примеч. автора.*

«Дочь мадам Анго» — комическая опера Шарля
Лекока. — *Примеч. автора.*

16

Дежурное блюдо (*фр.*).

Господа, баре (*нем. презр.*).

Сэмпсон Лоу. Чедомил Миятович о Константине, последнем греческом императоре. Марстон & Со., Лондон. 1892 г.

Бунчук — древко с привязанным конским хвостом, служившее в XV–XVIII веках знаком власти. — *Примеч. перев.*

Тессера — кубик мрамора, стекла или смальты размером приблизительно 1 кв. см. — *Примеч. перев.*

Фермопилы — в переводе с греческого — «Горячие врата». — *Примеч. перев.*

Сэр Лоуренс Альма-Тадема — британский живописец, голландец по происхождению (1836-1912). — *Примеч. перев.*

Здесь: ежедневные газеты (*греч.*).

Сумасшедших до сих пор приковывают к столбу в коптской церкви Мар Гиргис (Святого Георгия) в Каире и ждут, чтобы святой исцелил их во сне. — *Примеч. автора.*

Перевод В. Левика.

Извините, месье, не будете ли вы так любезны...
(фр.)